**Мухтар Ауэзов**

**Путь Абая. Том 1**

**ПЕВЕЦ НАРОДА**

Выдающегося казахского советского писателя, крупнейшего ученого — академика Академии наук КазССР, доктора филологических наук, профессора и видного общественного деятеля Мухтара Ауэзова знают не только в его родной советской стране, но и далеко за ее пределами. С интересом и любовью читают ныне его произведения миллионы читателей на разных языках народов мира.

В 1957 году тепло отмечался юбилей, связанный с шестидесятилетием со дня рождения и сорокалетием творческой деятельности замечательного писателя. Он был награжден высшей правительственной наградой нашей страны — орденом Ленина.

За сорок лет плодотворной творческой деятельности Мухтаром Ауэзовым созданы десятки рассказов, повестей, литературоведческих статей, учебники литературы и монографии, около тридцати пьес, либретто и- сценариев, переведены на казахский язык многие произведения русской и мировой классики. Вершиной творчества Ауэзова является многотомный исторический роман «Путь Абая», единодушно признанный первой казахской эпопеей.

Примечательно, что творческий путь Ауэзова полностью охватывает по времени тот исторический путь, который прошла казахская советская литература за славное сорокалетие, и характеризует одну из главных черт и тенденций ее развития.

Большой и своеобразный талант художника слова совершенствовался вместе с родной литературой. То, что создано Ауэзовым, обогатило родную литературу, развило и выдвинуло вперед такие жанры, как проза и драматургия, расширило их границы и возможности. Его многогранное творчество явилось ярким выражением национального характера и своеобразия казахской литературы, выражением как лучших традиций казахского национального народного искусства, так и новаторских стремлений молодой советской литературы. Первое его произведение написано в 1917 году, *в*  год свершения Великой Октябрьской социалистической революции.

Это пьеса «Енлик — Кебек», созданная молодым писателем на основе народной легенды о жертвах жестокого феодально-патриархального произвола, о трагической любви молодых, красивых и сильных духом людей из народа.

Написанная еше в ауле, она впервые была поставлена в юрте Айгерим, вдовы Абая Куманбаева. Аул Абая, откуда, впрочем, происходит и сам Мухтар Ауэзов, стал, таким образом, родиной не только казахской письменной поэзии, но и казахской драматургии.

Он предвещал по сути дела рождение национального театра драмы, открывшегося впервые в 1926 году постановкой названной пьесы М.Ауэзова «Енлик— Кебек». Следует отметить, что эта пьеса в обновленном виде до сих пор не сходит со сцены. Наряду с тем она прочно вошла в репертуар областных театров и кружков самодеятельности. Правда, в первоначальном варианте пьеса «Енлик — Кебек» содержала в себе не совсем правильную концепцию в показе социальных противоречий дореволюционного казахского аула. Этим отчасти страдали некоторые рассказы и повести писателя, написанные в начале двадцатых годов.

Коммунистическая партия и советская общественность помогли писателю преодолеть идейные шатания, понять существо социалистического реализма и тем самым способствовали его творческому росту и совершенствованию.

Уже в начале. 30-х годов Ауэзов подверг существенной переработке свои прежние произведения («Енлик — Кебек», «Под тенью прошлого», «Караш-Караш»). Одновременно он создал новые произведения: пьесы «Борьба», «Айман—Шолпан», «Ночные раскаты», «На границе», «В яблоневом саду», «Абай», рассказы «Крутизна», «Плечом к плечу», «Переживания Хасена» и многие другие.

Наряду с созданием оригинальных драматургических и прозаических произведений Ауэзов плодотворно работал в эти годы и в области художественного перевода классических произведений мировой и русской драматургии, В его переводе были поставлены на сцене казахского драматического театра «Отелло», «Укрощение строптивой» Шекспира и «Ревизор» Гоголя. К числу творческих удач относится и перевод «Любови Яровой» К.Тренева.

Рост и развитие таланта М.Ауэзова, основанные на овладении марксистско-ленинской идеологией, на глубоком изучении жизни, на постоянном обращении к неиссякаемым источникам казахского народного творчества и к классическим образцам русской и мировой литературы, а также литератур братских республик, укрепили писателя на позициях социалистического реализма и подготовили почву для создания новых больших произведений. К ним относятся трагедия и романы об Абае Кунанбаеве, великом казахском поэте.

Трагедия «Абай», написанная Ауэзовым в соавторстве с Леонидом Соболевым, охватывает последний период жизни Абая. Правдиво, с большой эмоциональной силой показан здесь образ поэта и мыслителя казахского народа, защитника всего нового и прогрессивного в жизни родного края.

Но делом жизни Ауэзова, бесспорно, явилось создание многотомной эпопеи о великом Абае.

В 1942 году, в самый тяжелый год военных испытаний, вышла в свет на казахском языке первая книга романа «Абай» Мухтара Ауэзова. Она раскрыла перед читателем образ Абая-юноши, процесс формирования личности любимого поэта казахского народа и яркие картины жизни казахской степи в прошлом столетии. Не прошло после того и пяти лет, как вышла вторая книга этого романа, показывающая становление поэтической фигуры Абая и сложный процесс перехода его на сторону народных масс. Несмотря на военные лишения и трудности, рождение нового замечательного произведения было горячо встречено казахской общественностью. Переведенный вскоре на русский язык, роман «Абай» нашел путь к сердцу миллионов читателей.

Взыскательные ценители искусства высокой правды по достоинству оценили это весенней свежести произведение казахской литературы, и оно в 1948 году было удостоено Государственной премии 1-й степени.

«Роман «Абай» Мухтара Ауэзова, — писала тогда газета «Правда», — большое событие не только в казахской, но и во всей советской литературе».

С тех пор минуло десятилетие новых всемирно-исторических побед советского народа в строительстве коммунистического общества. За это время написаны еще две книги эпопеи, названные «Путь Абая». Таким образом, закончен многолетний труд выдающегося казахского писателя — четырехтомный цикл романов о великом поэте-демократе Абае Кунанбаеве («Абай» и «Путь Абая»), который в 1959 году под общим названием «Путь Абая», среди выдающихся произведений социалистического реализма, удостоен Ленинской премии.

Это поистине великий труд, явившийся плодом не только большого таланта, мужавшего от книги к книге, но и большого писательского подвига, стоившего автору мучительных поисков и дерзаний, кропотливой работы и глубоких творческих размышлений в течение пятнадцати лет.

Создание такой замечательной эпопеи в казахской литературе, которая сорок лет назад вообще не знала еще настоящего романа, — знаменательное событие, исполненное особого, неоценимо важного историко-литературного значения.

Трудно переоценить это значение. Оно состоит не только в том, что Ауэзов увековечил великого казахского поэта, создав его величавый, полный жизненной правды образ, и не только в том, что он дал энциклопедию бытия казахского народа на протяжении полувека. Значение эпопеи заключается в том, что она стала подлинно народным произведением, в котором с большим проникновением прослежены глубочайшие процессы формирования казахского национального характера и обнаружены, как золотые жилы в кряжах, те богатые духовные силы, которые всегда жили в народе и стали залогом его светлого будущего. Стоит прочесть эпилог романа, вслушаться в последнюю песню Айгерим и в прощальную клятву Дармена у могилы Абая, охватить мысленным взором собравшиеся там народные массы, вглядеться в лица учеников и поклонников великого певца, и каждый, даже неискушенный читатель, почувствует могучую силу пробуждающегося для исторических деяний народа.

Романы о жизни Абая — бессмертного народного поэта, просветителя и композитора — это многоплановая эпопея, охватывающая огромный и важный в истории казахского народа период. В первой книге мы встречаем Абая пытливо любознательным подростком, скачущим на иноходце в родной аул, а в последней — как бы принимаем незримое участие в панихиде по скончавшемуся на шестидесятом году жизни и оплакиваемом народом прославленном поэте-борце. Большая и напряженная жизнь незаурядного человека проходит перед читателями на точно и красочно зарисованном историческом фоне.

Нарисовать живую натуру выходца из эксплуататорского класса, ставшего пламенным народным заступником, — нелегкая творческая задача. Автор показал Абая в центре сложного переплетения социальных явлений второй половины прошлого столетия, кричащих противоречий патриархально-феодального общества. Выразительно выписанный образ поэта, шедшего в «тернистых местах без проторенной тропинки», много и плодотворно размышлявшего над мрачным настоящим и грядущими судьбами родного народа, высоко поднявшего в эпоху господства варварской жестокости знамя справедливости и человечности, народности и свободолюбия, знания и труда, убеждает и покоряет читателя. Борьба Абая против феодально-байской, мусульманской реакции, против закостенелых обычаев и традиций изображена М. Ауэзовым конкретно и исторически правдиво.

Художественному воспроизведению характера Абая в эпопее М. Ауэзова не чужды элементы романтизма, которые подчеркивают одухотворенность образа центрального героя. Этот образ отнюдь не сведен к простой сумме положительных черт. В нем проникновенно средствами искусства воссозданы глубоко индивидуальные качества, присущие Абаю, делающие его исполинской фигурой в истории Казахстана. И вместе с тем эти неповторимо индивидуальные черты, обладающие исключительной силой убедительности и эмоционального воздействия, порождены не только конкретными фактами биографии данной личности, но и — можно сказать без всякого преувеличения — чаяниями народа, исторической — необходимостью, создавшей условия для появления такого деятеля, каким стал Абай Кунанбаев.

Современная Абаю эпоха гринесла много изменений в жизнь казахского народа. Добровольное присоединение Казахстана к России повлекло за собою такие прогрессивные социально-экономические последствия, как начавшееся строительство городов, железных дорог в казахской степи, открытие базаров и ярмарок, развитие торговли, расширение экономических и культурных связей казахов с соседними народами, и особенно с русскими. Все это приводило к распаду прежних патриархальных устоев кочевого аула, к усилению классового расслоения, способствовало развитию национального общественного сознания. Определенное положительное влияние оказали и революционно-демократические идеи, которые, проникнув в казахскую степь, благодаря передовым русским людям, нашли в ней своих последователей — таких, как Чокан Валиханов, Ибрай Алтынсарин, Абай Кунанбаев.

Абай не сразу сформировался как поэт и борец за народное счастье. Но на протяжении всего жизненного пути он не оставался одиночкой. Число его сторонников, сначала весьма незначительное, со, временем возрастает.

первой книге романа «Абай» автор вводит читателя в разгар ожесточенной межродовой борьбы. Он показывает подобных шакалам родовых верховодцев, из корыстных целей разжигающих эту борьбу в феодально-патриархальном обществе. Читатель вместе с Абаем видит неотомщенную обиду ни в чем не повинных людей, которые становятся жертвами жестоких злодеяний; видит тяжкие страдания бедняцких оседлых аулов, муки и горе бесправных батраков. Он переживает все эти печальные картины вместе с чувствительным, справедливым юным Абаем.

Но если в первой книге мы видим только всходы, молодую поросль от семян добра и справедливости, то в последующих книгах эти ростки буйно развиваются, крепнут и зреют. Абай решительно порывает с родным отцом и его жестокосердными приближенными; он клеймит отца позором и выносит ему безоговорочный обвинительный приговор.

Так Абай переходит на сторону народа, начинает бороться за его интересы.

Различные периоды жизни Абая, события, в которых он принимал деятельное участие, смена взглядов, понятий, изменчивость чувств, — все это в многогранном художественном повествовании не есть нечто, не связанное между собой, расплывчатое, распыленное; нет, все это запоминается как единое целое, внутренне связанное, отражающееся в характере Абая, в сложном процессе формирования. В этом и сказалось литературное мастерство М.Ауэзова — мастера социалистического реализма. Он и нас заставляет на все смотреть глазами Абая, чувствовать, понимать и оценивать по-абаевски. Вчитываясь и вдумываясь в эпопею, мы вместе с Абаем печалимся и восторгаемся, ненавидим и любим, впадаем в раздумья, страдаем, трепещем…

Есть еще одна важная сторона образа Абая. Это его поистине восторженное отношение к русскому народу, к России Пушкина и Белинского, Лермонтова и Чернышевского. Это отношение сложилось у Абая не сразу, не явилось к нему в готовом виде. Оно формировалось постепенно, вместе с целеустремленным становлением Абая на демократических позициях передового мыслителя-просветителя.

Россия для Абая не однолика. В романе показаны и чиновники царского правительства, назначенные для управления казахской степью, для проведения колонизаторской политики царизма, и представители передовой русской интеллигенции, сосланные в Казахстан, и русские крестьяне-переселенцы. Так узнает Абай, с одной стороны, царскую, буржуазно-помещичью Россию, которая вкупе с местной феодальной верхушкой угнетает народы, а с другой — Россию Ломоносова и Радищева, Пушкина и Лермонтова, Чернышевского и Некрасова. Восставая против жестокой «тюрьмы народов», Абай, вместе с тем мечтает, чтобы судьба его родины была навеки связана с Россией вдохновенного революционного порыва и дерзновенной прогрессивной мысли.

Однако достоинства тетралогии не исчерпываются лишь образом Абая. Перед читателем проходит великое множество людей, хороших и плохих, поддерживающих поэта-бойца и противодействующих ему. И даже в тех случаях, когда перед нами возникает эпизодический персонаж, он почти всегда написан зримо, объемно и достоверно.

Так показаны друзья Абая — Михайлов и Долгов, угадавшие его поэтический талант и поверившие в него. Именно они внушили поэту убеждение, что поэтическое творчество правдолюбца является благородным путем служения народу и что он должен самоотверженно идти по этому пути, пробуждая в чутких душах окружающих высокое сознание своего человеческого достоинства и своей силы.

Так показаны представители той пламенной молодежи — с новыми, прогрессивными взглядами, с новыми мужественными и морально прекрасными стремлениями, — которые окружали Абая на избранном пути.

Вот сын Абая — Абиш, европейски образованный человек, помощник и советчик отца, демократ, непримиримый враг старых устоев жизни, насилия и невежества. Или Дармен — родственник мудрого старца Даркембая, ученик Абая, на которого учитель возлагает большие надежды. Это талантливый поэт, человек смелых дерзаний, нежных чувств и кристально чистой души. Дармен — это как бы завтрашний Абай, воплощение его чаяний и надежд, заботливый садовник абаевского сада разума и гуманизма.

Взволнованные слова Дармена на могиле Абая звучат клятвой:

«Родной брат мой, Абай! Семена, посеянные тобой, не увяли, не погибли. Пусть пока они еще не стали густой дубравой, раскидистым садом… Но они уже растут по всей необъятной степи, по просторам широких долин и дают много поросли. И будут расти с каждым годом… Во имя этого я клянусь; всю свою жизнь, до самой смерти, свято хранить в своем сердце твои драгоценные слова, заветы, оправдать твое отеческое воспитание, мой любимый брат!».

Это была клятва от имени грядущих поколений, от имени народа — истинного наследника поэзии Абая.

Представители народных масс, всю свою жизнь испытывающие бедность, нужду, насилие и произвол, реалистически показаны в эпопее. Характеры Даркембая и Базаралы яснее всего позволяют увидеть, как тщательно и глубоко М.Ауэзов-художник исследовал жизнь этой среды, любовно раскрыл золото души трудящегося человека.

Образ Даркембая, честного, отважного человека, бесстрашного заступника попранных прав казахской бедноты, выписан с особым проникновением, Даркембай не испытывает страха перед свирепым одноглазым властелином Кунанбаем, чьи руки обагрены кровью; напротив, он уличает его во лжи, клеймит за совершенные злодеяния, открыто и решительно вступает в борьбу с его многочисленными сильными сторонниками. С Даркембаем поэта связывает тесная испытанная дружба. Абай не только многому учит его, но и сам учится у Даркембая.

В галерее образов, созданных М.Ауэзовым, особое место занимают удивительно обаятельные образы женщин. Если мудрая и сердобольная бабушка Зере и добрая, умная мать Улжан, олицетворяющие воплощение честности, справедливости, человечности и сострадания, способствовали, так сказать, закладке фундамента лучших душевных качеств будущего поэта-гуманиста, то прелестная девушка Тогжан, предмет первой романтической любви молодого Абая, изумительно ярко раскрывает перед нами сокровенные движения большого человеческого сердца, способного любить горячо и страстно, самозабвенно и нежно. Обаятельная Ангерим, прекрасная певица, дорога сердцу Абая тем, что многими чертами напоминала ему любимую Тогжан, способствует пробуждению в Абае увлекающего чувства любви к народной музыке. Обогащают духовную натуру поэта и умная Салтанат, и поэтесса Куандык, и одна из носительниц исконной народной мудрости старуха Ийс, забитая нуждой, унижениями и непосильным трудом. Своеобразен облик Дильды, жены Абая, на которой он женился без любви, выполняя волю своего властного отца; знакомясь с нею, мы еще полнее ощущаем обаяние самого Абая и его любимых — Тогжан и Айгерим.

Особо следует остановиться на том, как показывает М.Ауэзов в своей эпопее противников Абая — корыстолюбивых хищников, заклятых врагов справедливости и правды. Мухтар Ауэзов понимает, что победа в битве со слабым, беспомощным врагом не делает чести победителю. Если бы представители враждебного окружения, с которыми Абай вел неустанную борьбу, были изображены бессильными, оглупленными, не такими, какими они выступали в действительности, то социальные устремления, глубокий ум Абая, его духовная сила в борьбе за светлые идеалы были бы обеднены. Но М.Ауэзов сумел с художественной объективностью наделить и приверженцев старого мира очень сильными характерами.

Самый сложный образ в этой весьма обширной веренице отрицательных героев — образ Кунанбая. Его типичность, цельность, эмоциональная наполненность — вне всякого сомнения. По мощи художественного обличения образ Кунанбая не имеет себе равных среди всего, что написали писатели Казахстана о темных антинародных силах, порожденных прошлым социальным устройством нашей страны. Много в этом характере причудливых складок, извилин и тайников. Кунанбай, воплотивший в себе дух жестокости, интриг и коварства, отнюдь не односторонен, не схематизирован и не мелкотравчат. Он по-своему могуч и монолитен в своей классовой сущности и определенности. Его ум изворотлив, его коварство безгранично, его деспотические злодеяния рождены беспредельной жестокостью в преодолении всего, что стоит на пути достижения поставленной им цели.

И вот против этого матерого хищника выступает Абай. Трудности борьбы заключаются не только в том, что Кунанбай — ага-султан, а Абай — лишь незрелый, неокрепший юнец, но и прежде всего в том, что Кунанбай — его родной отец. Поэтому в своем сопротивлении неограниченно властному султану Абай постепенно переходит от внутреннего несогласия к открытой борьбе и в этой борьбе, постепенно завоевывая симпатии и поддержку народа, в конце концов торжествует и одерживает победу. Но старый мир не признает себя побежденным и всеми возможными средствами отстаивает свое еще не поверженное господство. Место дряхлеющего Кунанбая занимают феодалы той же закваски: Уразбай, Жиренше, Такежан, Азимбай. Волчьей стаей набрасываются они на борющегося за справедливость, за народные интересы Абая.

Верные выкормыши Кунанбая словно разделили между собой черты характера своего наставника. Уразбай заимствовал у Кунанбая его тиранство, произвол самодура, Жиренше — коварство, хитрость, лукавство. Такежан унаследовал жестокосердие отца… Подобные хищники давно уже канули в вечность. Казахский народ избавлен от них всем ходом своей истории после победы социалистической революции. Но, воссозданные умным и страстным художником, они остаются в литературе живым страшным напоминанием о прошлом, помогая новым поколениям осознать, как шла ожесточенная длительная борьба между старым и новым миром. Эти запечатленные силой искусства образы помогают глубоко познать жизнь прошедших поколений и вместе с тем имеют определенное значение для нашей сегодняшней жизни. Хотя Кунанбая сейчас не встретить на просторах социалистически преобразованного Казахстана, но в сознании некоторых наших современников все еще сохранились как пережиточные явления отдельные элементы «кунанбаевщины». Разоблачать природу пережитков, распознать родимые пятна эпохи частнособственнических отношений, знать их нормы, а следовательно, и уметь с ними бороться — учит нас галерея созданных М. Ауэзовым отрицательных образов. И это качество также делает для нас его эпопею неоценимым оружием в воспитании новых людей. Созданные воображением истинного художника, образы Кунанбая и кунанбаевцев как глубоко индивидуализированные типы представляют из себя не только познавательную ценность, но и источник эстетического восприятия. Они отталкивают нас, вызывают в нас чувство презрения и ненависти к отвратительным чертам их характера и в то же время изумляют силой своей правдивости и художественной убедительности, восхищают мастерством лепки и изображения.

Итак, вершина положительных образов — Абай, вершина отрицательных— Кунанбай. Один подобен восходящему солнцу, разгоняющему мрак, другой — вековечному мраку, тщетно старающемуся воспрепятствовать восходу солнца. Если мы говорим, что эта эпопея — панорама полувековой жизни казахской степи, то с полным основанием можем сказать, что из этих двух систем образов одна бросает лучи света на панораму, другая падает на нее тенью.

Ожесточенные схватки передовых сил казахского аула с Кунанбаем и его сторонниками, разжигающими межродовые распри, способствовали пробуждению классового самосознания трудящихся.

Бедняцкие аулы, некогда поддающиеся подстрекательствам главарей родов, начинают понимать, что межродовая рознь выгодна только родовой верхушке.

В этой книге происходит как бы скрытая подготовка будущих больших схваток между представителями двух миров.

В романе «Путь Абая» М. Ауэзов изображает новую среду, новые события: злодеяния хазретов, халфе, ишанов, мулл, безрадостное прозябание городских трудящихся и рабочих затона; эпидемию, голод и другие стихийные бедствия, обрушившиеся на народ; налоги и поборы, взимаемые с населения царским правительством, произвол чиновников; жизнь джетысуйских казахов; новые враждебные заговоры против Абая, его сближение с рабочими, стихийное выступление казахов-рабочих рука об руку с русскими крестьянами против угнетателей; новые картины, новые образы: Акишева, Сармоллы — из духовенства; Абена, Абды, Сеила, Сеита — из рабочих; Павлова и Александры Яковлевны — русских друзей поэта.

При выходе в свет первых книг романа раздавались упреки в адрес автора: он, мол, не показал нам классовую борьбу. Но ведь классовая борьба не есть нечто застывшее, она изменяется и развивается в зависимости от исторических условий. В первых книгах романа «Абай» показаны ни в чем не повинные жертвы жестокой межродовой борьбы: жатаки, постоянно терпящие нужду и лишения, батраки Кунанбая, из-за обглоданной кости мыкающие горе у его порога. Все они — порождение социального неравенства и противоречий казахского аула. Разумеется, здесь еще явно выраженной классовой борьбы и проявлений гневного протеста и возмущения нет, еще сильна над угнетенными власть патриархально-родовых пережитков. Тем не менее в первых книгах уже ясно чувствуется непреодолимо растущий протест против эксплуататоров, пробуждающееся классовое самосознание трудовых народных масс.

В романе «Путь Абая» отражена другая эпоха, когда классовая борьба носила уже иной характер, и борьбу между двумя мирами писатель стремится показать более резко, контрастно, в тех ее новых формах, которые уже появились и утверждались в общественной жизни.

Именно в том, что писатель, постигая сложную диалектику исторического процесса, сумел отобразить действительность исторически правдиво и убедительно, освоил ее как художник, состоит одно из главных достоинств произведения. М.Ауэзову чужд схематизм в изображении прошлого, в создании системы образов и картин. Он неотступно руководствуется принципом идейно-образного обобщения жизненного материала. Отдельные факты и детали, добытые из документальных источников, из воспоминаний стариков и архивов, не заслоняют око писателя, не заставляют его эмпирически следовать им, а наоборот, всецело подчиняются властной воле художника социалистического реализма. Сам автор свидетельствует: «В моих романах, например, множество добытых мною фактов жизненной биографии Абая остается в стороне. Одни факты я развернул, другие вовсе опустил, потому что они не имеют существенного значения в том историческом здании, которое я стремился возвести в своих книгах».

Некоторые критики упрекали М. Ауэзова в том, что иные его герои в жизни были другими; что, например, Такежан таких набегов не делал, что некоторыми произвольными чертами наделен образ Абая и т. д. Но ведь суть дела не в частных вполне возможных расхождениях. Главное состоит в том, что художник оперировал фактами так, чтобы они помогали ему полнее и правдивее отобразить большую правду жизни, взятую в ее противоречивом развитии.

Были и другие произведения в казахской литературе до романов М.Ауэзова, отразившие историческую жизнь казахского народа. Но ни одно произведение еще не воссоздало живо, глубоко и всесторонне дореволюционную казахскую жизнь, как всеобъемлющая эпопея. Трудно указать на какую-либо существенную сторону или даже характерную особенность жизни казахов в быту и нравах их, в психологии людей и в окружающей природе, которые бы не нашли своего изображения на большом эпическом полотне Мухтара Ауэзова. Зоркий глаз художника не оставил вне поля своего внимания интересные с точки зрения исторической значимости явления, как процесс развития капиталистических элементов и формирование казахского рабочего класса в специфических условиях патриархально-родовых и феодальных отношений.

Замечательное словесно-изобразительное искусство Мухтара Ауэзова характеризуется тем, что он умеет органически сплетать биографическую нить повествования о главном герое с многочисленными социальными явлениями и событиями жизни. В кажущейся пестроте и разнообразии лиц и картин, которые многообразной чередой проходят перед читателями, чувствуется глубокая внутренняя связь, продуманность идейного замысла, цельность и стройность сюжета.

Говоря о большой масштабности и сюжетно-композиционном мастерстве Мухтара Ауэзова, нельзя не подчеркнуть и другие стороны его многогранного таланта: тонкий лиризм и напряженный драматизм многих изображенных положений, коллизий. В связи с этим восхищает нас богатство интонаций и изобразительных средств в художественном арсенале автора. То спокойный, чуть взволнованный тон повествования (например, в описании многолюдного сборища в ауле Уразбая на Консенгире для переписи населения), то нежное лирическое излияние, то потрясающая драматическая напряженность речи попеременно владеют чувствами читателя. Углубленный психологизм в раскрытии характеров персонажей, строгий реализм с едким сарказмом в обрисовке отрицательных героев и эмоциональная романтическая окраска в правдивом рисунке положительных образов, особенно поэтических личностей Абая, Абиша, Шоже, Биржана и обаятельных женских образов — Зере, Улжан, Тогжан, Айгерим, Салтанат, Айши и других, — вот что составляет отличительные черты стиля романа М. Ауэзова.

Отдельные особенности художественно-повествовательной манеры Мухтара Ауэзова тесным образом связаны с устно-поэтическим творчеством народа. Прекрасный знаток казахского фольклора, он черпает из его сокровищ яркие образы, эпитеты и сравнения, афоризмы, пословицы и поговорки, которыми писатель уместно оснащает диалог своих героев. Таким образом персонажи получают меткую и выразительную характеристику.

Богат, гибок и красочен язык романа также в ремарках, в рассказе, **в**  передаче психологии, в обрисовке портретов персонажей, в описаниях пейзажа. Знаток живой народной речи, Мухтар Ауэзов умело использовал ее колоссальные возможности в своем романе: обнаружил несчетное количество слов и выражений, ставших уже «архаизмами», и придал им новое значение. Вообще можно смело сказать, что казахский литературный язык, благодаря роману М.Ауэзова, сделал значительный шаг вперед в своем развитии как в смысле расширения словарного фонда, так и в смысле стилистики.

Упоминая о стилистике М. Ауэзова, нельзя не указать еще на такие важные и характерные стороны его художественного мастерства, как способность писателя четко и выпукло нарисовать портреты своих героев, органически включить портретную заоисовку в состав психологических характеристик этих героев.

«У отца продолговатая, словно вытянутая голова. Его череп напоминает гусиное яйцо. И без того длинное лицо его удлиняется клином бороды; оно кажется Абаю равниной с двумя холмами, поросшими лесом бровей. Единственный глаз Кунанбая зорким часовым стал у левого холма — суровый, недремлющий страж… Он не знает отдыха, от него ничего нельзя утаить… Этот единственный глаз не прячется за веком: большой, выпуклый, он смотрит остро и зорко, точно пожирая все окружающее. Он даже моргает редко».

В этом ярком, неповторимо оригинальном художественном рисунке заключена по сути дела вся сущность кунанбаевского образа, квинтэссенция его жестокого характера.

С этакой же психологической меркой подходит художник и к изображению картин природы, которые не являются у него самоцелью, а служат необходимым фоном для событий или гармонируют с настроениями персонажей, оттеняя их психологические переживания.

«Взволнованный, он поднял лицо к звездному небу. С гор доносилось ароматное дыхание весны. Абай жадно вздохнул его свежую струю.

Луна была в ущербе. Она медленно поднималась к зениту, недоступно высокая, уплывающая вверх. Она манила и сердце туда, в высоту, ясную и безоблачную. Лунный свет проникал в душу и наполнял ее радостью и грустью…

Лунная ночь словно купается в молоке. Грудь Абая не вмещает могучего прибоя чувств, трепещет и замирает его сердце. «Что же это? Как разгадать? Что со мной?» Перед его глазами — белые руки Тогжан, ее нежная шея. Она — его утро!

Ты встаешь в моем сердце, рассвет любви…

Это поет сердце. Первая песня первой любви посвящена ей, Тогжан… Он повторяет про себя эту песню. Слова льются легко, свободно».

Здесь тончайшее переплетение эмоционально волнующей картины лунной ночи, любовного экстаза и процесса рождения песни создает прекрасную панораму, в которой получили удивительное сочетание и картинность, и поэзия сердца, и чудные звуки песни.

Не только пейзаж и портрет, но и все компоненты и художественные средства произведения подчинены единой цели: яркому изображению характера героев. Даже названия служат этой цели. Так, например, название глав первой книги «Абай» («Возвращение», «В вихре», «В пути», «В дебрях», «По предгорьям», «На подъеме», «В вышине») выражают последовательные этапы жизни и формирования личности юного Абая, а названия глав второй книги («Перед бродом», «На жайляу», «Взгорьями», «По рытвинам», «На перевале», «На распутье», «На вершине») соответственно обозначают характерные моменты жизни и становления характера Абая как поэта.

Даже присутствие в произведении элементов аллегории и символики очень удачно служит задаче более глубокого и эмоционального ракрытия образов. Таков, например, образ могучего чинара, символизирующий образ Абая. Он вырос на голой каменистой земле и в конце второй книги стоит окрепший, сильный и стройный, а в конце четвертой книги чинар этот, поднявший вершину свою в сверкающую высь, рухнет. Такова также развернутая аллегория с воображенным кораблем Абая, плывущим к светлому будущему народа.

Эпопея об Абае — монументальный, титанический труд. Конечно, в этом колоссальном труде есть и кое-какие шероховатости, в столь разнообразных многочисленных главах есть и бледные, вялые места, в галерее разнохарактерных персонажей не все портреты обрисованы одинаково ярко. Вполне естественно, что эстетическое, эмоциональное впечатление от каждой из четырех книг эпопеи неравноценно. Создавая такое сложное многоплановое произведение на протяжении пятнадцати лет, писатель сам постоянно развивал свое художественное мастерство и вместе с тем должен был показать динамику характеров своих героев. К тому же задача изображения разных периодов исторической действительности (середины и конца прошлого столетия) требовала разных форм художественного освоения. Эти обстоятельства не могли не создать некоторого разноречия в стиле частей эпопеи.

Тем не менее читатель всегда с признательностью ощущает величие авторской мысли, грандиозность осуществленного замысла.

Говоря о познавательных и художественных достоинствах казахской эпопеи, нельзя не отметить ее все возрастающую славу, давно уже перешагнувшую пределы нашей родины, нельзя не подчеркнуть со всей силой то неоценимое значение, которое сыграл при этом язык великого русского народа, не только позволивший сохранить в переводе всю красоту и достоинства оригинала, но и открывший для произведения выход на мировую арену. Переведенная первоначально на русский язык, эпопея М. Ауэзова была вскоре переведена с русского текста на языки всех братских республик, а затем на многие языки мира: немецкий, английский, французский, венгерский, болгарский, польский и другие.

Ныне казахское произведение обходит весь земной шар, привлекая все новых и новых читателей. Характерно, что первыми, кто горячо откликнулся на эпопею об Абае, были Назым Хикмет, Мао Дунь, Луи Арагон, Анна Зегерс, лучшие писатели мира, выразители дум и чаяний прогрессивного человечества.

Возрастающая популярность романа «Путь Абая», который справедливо называют энциклопедией дореволюционной казахской жизни, еще больше расширяет и укрепляет славу неизвестного раньше народа. Очень показательна в этом отношении заметка, помещенная в журнале «Нозерн Нейборс» по поводу изданного в Канаде романа «Абай» Мухтара Ауэзова:

«Это наш первый автор-казах. Читатели наши, мы с гордостью предлагаем вам впервые изданную нами на английском языке первую книгу романа о великом поэте казахского народа Абае — «Абай».

Всем пресытиться может душа,

Только песня всегда хороша…

— так, оказывается, писал свои пламенные стихи поэт. И, видимо, с любовью внимал народ словам своего замечательного сына. Какой смелый, какой великодушный, какой талантливый народ эти казахи. И как жаль, что мы раньше почти ничего не слышали о них…»

Удивительно меткая и яркая характеристика поэта и его народа! Так верно и проникновенно оценить великого Абая, так живо и непосредственно представить себе жизнь казахского народа можно было только поистине народному произведению, обладающему высокими художественными достоинствами. Об этом и говорит канадский автор: «Через художественно ярко обрамленный, полно, глубоко и взволнованно повествующий о народе роман «Абай» вы познакомитесь с жизнью казахов».

Блестящие идейно-художественные качества романа, высокая правда жизни и человеческих характеров, истинная народность, партийная страстность и поэтическая взволнованность, озаренные светом современности, великим чувством дружбы народов, обеспечили роману исключительную популярность во всех концах мира.

Особенно понятен успех эпопеи среди народов Азии и Африки. Тот путь, который прошел казахский народ от феодализма и патриархальщины к социализму, от невежества и отсталости к вершинам мировой культуры, оказывается вдохновляющим примером для колониальных и полуколониальных народов Азии и Африки, которые борются ныне за свободу и национальную независимость.

В 1958 году во время Конференции писателей стран Азии и Африки в Ташкенте в номер гостиницы, где остановился Мухтар Ауэзов, зашел с переводчиком молодой африканец. Взволнованное лицо, живые сверкающие глаза говорили о чувстве, которым был охвачен этот энергичный, темпераментный «черный» человек. Он ясно и четко произнес два слова: «Мухтар Ауэзов!» Нас было в номере несколько человек. Мы стоя встретили гостя, а Мухтар Омарханович жестом дал знать, что это он. Африканец быстро сказал еще что-то нам непонятное, кроме единственного имени Абая, потом бросился к Ауэзову и стал крепко пожимать его руки. Это был 27-летний писатель из Камеруна Бенжамен Матип, кстати сказать, покоривший многолюдную конференцию своим продуманным, страстным и поистине выстраданным выступлением. Он произнес на французском языке пламенную речь, смысл которой переводчик передал нам примерно так:

— Я никогда раньше не слышал о казахах. А теперь знаю их очень хорошо, знаю, потому что недавно читал на английском языке чудесную книгу Мухтара Ауэзова. Я познакомился с замечательным человеком и поэтом казахского народа Абаем, с его мудрой бабушкой Зере и матерью Улжан, с любимыми девушками — Тогжан и Айгерим, с друзьями Абая — добрыми и смелыми людьми. Я полюбил этих героев, полюбил так, будто жил долгие годы, делил их горе и радости. У меня даже такое ощущение, что я сейчас среди них и дышу воздухом ваших степей. В самом деле, какой прекрасный народ — казахи! И как прекрасно написано о нем в романе «Абай!» Я от души завидую вашему счастливому народу, а вас поздравляю с бессмертным произведением.

Затем завязалась беседа, и африканский писатель рассказал об ужасах колониального рабства, о том, как его народ лишен возможности даже говорить на родном языке. В заключение Бенжамен Матип сказал, что, отправляясь на конференцию, мечтал встретиться с автором покорившей его книги и он счастлив, что мечта его сбылась.

Присуждение ныне эпопее «Путь Абая» Ленинской премии — выдающееся событие не только культурного, но и политического значения.

Оно свидетельствует о многом, но прежде всего — о величии и мудрости Коммунистической партии и ее ленинской национальной политики, освободившей и приобщившей к строительству новой жизни ранее угнетенные народы нашей страны, раскрывшей в них богатырские силы и таланты, способные создавать художественные произведения мирового значения. Будучи плодом казахской литературы, роман «Путь Абая» утверждает мировую славу советской многонациональной литературы, как самой передовой литературы мира.

Вместе с тем он утверждает одну из знаменательных побед социалистического реализма, как главного метода советской литературы, демонстрирует богатейшее разнообразие его форм, стилей и средств. Эпопея М.Ауэзова опрокидывает ложное измышление ревизионистов о том, что социалистический реализм якобы исключает, игнорирует национальное своеобразие художественного творчества наших народов. Одно из главных достоинств эпопеи в том и состоит, что в ней найдено счастливое и во многом поучительное решение проблем национальной специфики. Здесь гармонически сочетается глубокое социалистическое содержание с богатой национальной формой. Здесь национальные особенности авторского видения мира, особенности обстановки и характеров героев не противоречат коммунистической идейности, исторической достоверности и правдивости произведения, а способствуют их раскрытию.

В ярком казахском колорите, в неповторимом национальном своеобразии — одно из главных достоинств этого произведения, которое дышит ароматом казахской степи и в котором ощущаешь во всей полноте целый мир материальной и духовной жизни казахского народа; его радости и горести, его специфический быт, психологический уклад, мысли и чувствования.

Роман «Путь Абая» служит неопровержимым доказательством того, что подлинно национальное, истинно народное и партийное произведение чуждо национальной ограниченности, оно интернационально, общечеловечно по духу своего идейного и эстетического воздействия. Возникший на национальной почве, казахский роман понятен и близок всем народам мира, потому что воплощенные в нем идеалы перекликаются с лучшими порывами и стремлениями передового человечества. Здесь мировой читатель находит мотивы и идеи, родственные тем, которые воплощены в бессмертных образах Шекспира, Гете, Бальзака, Анатоля Франса, Ромена Роллана, а также классиков русской литературы, — те идеи, которые Белинский называл «общечеловеческими».

Одним из ведущих мотивов романа является окрыляющее чувство дружбы народов. Тяга лучших сынов казахского народа в прошлом к русской культуре, братское внимание и сочувствие передовых русских людей к судьбе казахских трудящихся показаны в эпопее с мастерством и принципиальностью тончайшего художника. Правдивый и убедительный показ с высоты сегодняшней нерушимой дружбы советских социалистических наций истоков исторически сложившейся дружбы казахского народа с великим русским народом, их совместной борьбы против темноты и невежества, против насилия и угнетения, за национальное возрождение — вот что делает казахскую эпопею произведением остро современным и интернациональным. В ней бьется пульс советского писателя, освещающего историю светом коммунистического мировоззрения и решающего все проблемы с точки зрения марксизма-ленинизма. Философия марксизма-ленинизма дала возможность писателю познать и правдиво воспроизвести в образах полувековую жизнь казахского народа в перспективе ее исторического развития, показать народ, как движущую силу истории, сделать его основным героем своей художественной эпопеи.

А яркость, скульптурность образа Абая объясняется тем, что он показан в разнообразных отношениях с народом, к которому шел сложным и мучительным путем, начатым в белой юрте султана Кунанбая и продолженным среди чабанов и жатаков в гуще простого народа.

На этом пути Абай сроднился со своим желанным будущим, нашел миллионы наследников своего поэтического творчества. Очень много способствовал этому роман «Путь Абая», о чем правильно заметил недавно сам Мухтар Ауэзов в беседе с корреспондентом «Литературной газеты»:

«Часто возвращаюсь мыслью к Абаю — моему любимому герою и уважаемому наставнику. Радуюсь за него, радуюсь, что он, известный читателям собственными стихами, стал им еще ближе, понятнее, роднее благодаря моему скромному труду. Он обрел миллион друзей, и это самое главное, ибо он всегда стремился к людям, искал друзей, а был окружен врагами, люто, неистово ненавидевшими его».

Традиции Абая — это традиции служения своему народу с полной отдачей всех своих сил и способностей. Эти традиции в наше время продолжают, развивают и обогащают советские писатели. Мухтар Ауэзов сумел показать в своем произведении эту идейную общность выразителей дум народных, созвучие поэзии Абая и его идеалов с нашей героической современностью. Вот почему роман «Путь Абая» воспринимается как актуальное, современное произведение, несмотря на то, что материал его почерпнут в историческом прошлом.

Это обстоятельство опять же свидетельствует о том, что социалистический реализм располагает такими возможностями, при которых и на основе обращения к исторической тематике можно создать вполне современное захватывающее произведение, удовлетворяющее духовные запросы строителей коммунизма.

Следует в связи с этим особо отметить, что немаловажную роль в творческом успехе М.Ауэзова сыграли традиции советского исторического романа, особенно опыт романов о творческих личностях Пушкина, Грибоедова, Навои и других. Не только удачи, но и недостатки, ошибки этих романов пришлось учесть автору романа об Абае, чтобы сделать шаг вперед на пути развития жанра советского исторического романа. «Поучительной для меня оказалась критика по адресу «Смерти Вазира-Мухтара», — пишет М. Ауэзов в своей статье «Как я работал над, романами «Абай» и «Путь Абая», — главная беда этой книги в том, что Грибоедов в ней предстает по существу оторванным от народа».

Если взять шире и всесторонне почву создания казахской эпопеи, то не трудно увидеть в ней следы благодатного влияния также и классических социально-психологических романов русской и мировой реалистической литературы, следы, обнаруживающие себя и в постановке проблем, и в обрисовке характеров, и в художественно-изобразительных средствах. Вместе с тем необходимо сказать, что роман Ауэзова является крупным плодом, выросшим на основе замечательных достижений казахской советской литературы и закономерным этапом в развитии многогранного творчества самого Ауэзова как интересного и своеобразного художника слова. Вот почему данное произведение мы должны рассматривать не как случайное и исключительное явление, а как естественный результат расцвета казахской литературы социалистического реализма.

Говоря о причинах международной популярности эпопеи об Абае, нельзя упускать из виду ее высокие художественные достоинства. Николай Тихонов в своей статье, помещенной в «Правде» по поводу произведений, удостоенных Ленинских премий, писал:

«Роман-эпопея М. Ауэзова о великом казахском поэте-демократе и просветителе Абае Кунанбаеве является выдающимся произведением не только в творчестве этого автора, крупнейшего советского писателя, но ярко выделяется своими художественными достоинствами во всей нашей многонациональной литературе».

Хорошая тема, замечательная идея, большие проблемы произведения много теряют в силе и долговечности социального воздействия, если они не выражены художественно совершенно. Значение темы, идеи и проблемы тем важнее, чем с большей художественной впечатляемостью они раскрыты, воплощены и разрешены мастером слова. В. И. Ленин в статьях о Л.Н.Толстом, определяя мировое значение его творчества, всегда выдвигал на первый план тезис о Толстом как великом художнике, подчеркивал величайшую художественную мощь его произведений: «Л. Толстой сумел поставить в своих работах столько великих вопросов, сумел подняться до такой художественной силы, что его произведения заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе».

Нет сомнения, что в международном успехе казахской эпопеи решающее значение имеют не только постановка близких сердцу всех народов животрепещущих вопросов и идей, не только выражение родственных всем прогрессивным людям мира заветных мыслей и чувств, но и то, что все это сделано с оригинальным мастерством зрелого писателя. Недаром Михаил Шолохов на Втором Всесоюзном съезде советских писателей роман «Абай» М.Ауэзова относил к действительно талантливым произведениям советской литературы, которые «еще резче подчеркивали художественное убожество и недолговечность произведений-поденок».

Подлинно талантливое произведение искусства, одухотворенное высокой, благородной идеей, не знает ограничений ни во времени, ни в пространстве. Оно не стареет, не забывается, а, преодолевая все преграды, пробивает себе путь к миллионам читателей мира. И разве не об этом свидетельствует примечательный факт, о котором рассказала в мае 1959 года газета «Литература и жизнь» в информации «Абай» на Парижском книжном базаре».

«На стенде Л. Арагона рядом с его собственными книгами были выставлены три новые переводные книги с предисловиями Арагона, председателя Национального Комитета французских писателей. Эти книги Арагон, как и свои, надписывал покупателям. Это были книги замечательного казахского писателя Мухтара Ауэзова «Юность Абая», чехословацкого писателя Отченашека «Ромео, Джульетта и тьма» и молодого киргизского писателя Чингиза Айтматова «Джамиля».

Еще в своей книге «Советские литературы» Луи Арагон дал высокую оценку творчеству Мухтара Ауэзова. А в своем обстоятельном предисловии к парижскому изданию первой книги казахской эпопеи под названием «Юность Абая», осуществленному в конце 1958 года при самом ближайшем содействии Луи Арагона, всемирно признанный писатель-коммунист утверждает:

«Я считаю большой честью **для**  себя быть в моей стране популяризатором его (Мухтара Ауэзова. — М.К.) произведения. Эпический роман «Абай» в моем представлении одно из наиболее высоких произведений XX века. Оно вводит в мир воображения и мыслей, порождает множество глубоких раздумий. Недостаточно сказать, что оно вписывается в первый ряд произведений советских литератур, **даже**  в остальном мире трудно найти произведение, равное этому».

Луи Арагон сопоставляет эпопею М. Ауэзова с такими шедеврами мировой **литературы,**  как «Дон-Кихот» или «Робинзон Крузо». А в сопоставлении с антинародными произведениями современной буржуазной романистики казахская эпопея несоизмеримо выделяется своим органическим сочетанием жизни и поэзии. Буржуазные реакционные писаки уже не в состоянии, по мнению Луи Арагона, показать такую полноту здоровых человеческих страстей, исканий, искреннего чувства любви, каким привлекают страницы книги М. Ауэзова.

Такая оценка, выражающая общее мнение прогрессивного человечества, — лучшая награда автору, прославившему не только бессмертного поэта, но и весь казахский народ, автору, который только благодаря советскому общественному строю и смог создать это чудесное художественное полотно социалистического реализма.

Представим себе образ взмывающего в небо большого орла.

Его могучие крылья распахнуты на полутораметровую ширину, и упругие перья их свистят, как туго натянутая тетива. Он разрезает воздушную толщь крепкой грудью и, стремительно делая круги, поднимается все выше и выше — и нет вокруг живого существа, которое могло бы состязаться с ним в покорении высоты, откуда открывается весь безбрежный травяной океан. Только **он,**  житель **неба,**  может смотреть не мигая на слепящее, достигшее зенита солнце. Его магические зоркие зрачки с невероятной выси видят не только всадника или пешехода, **но**  и все живое в степи, вплоть до мелкой пичужки, до росяной былинки.

Взлетев выше снежных вершин, он повисает в синем пространстве и рассыпает оттуда гортанный клекот, оповещая степные пределы: все вижу, все знаю, обо всем догадываюсь… Орлиное зрение, как счастье, встречается и у редчайшего из людей, и тогда этот человек видит современников своих, молодых и старых, их прошлое, настоящее, будущее, и если, случается, берет перо в руки, то из-под пера выходят книги мудрые и прекрасные, обогащающие ум и сердце, открывающие бескрайние горизонты.

Таким по-орлиному дальнозорким был на древней земле казахов мастер человековедения, гранильщик алмазных слов, писатель Мухтар Ауэзов.

1959–1977 г.г.

МУХАМЕДЖАН КАРАТАЕВ.

Часть первая

ВОЗВРАЩЕНИЕ

1

Мальчик спешил домой. Он готов был на все, чтобы третий день пути был и последним. На ночевке в Корыке[1] он затемно разбудил Байтаса — родственника, приезжавшего за ним в город, и уговорил своих спутников выехать, едва занялась заря. Весь день он подгонял коня, держась впереди провожатых на расстоянии пущенной стрелы, Байтас и старый Жумабай только восклицали:

— Ну и торопится же мальчуган в аул!

— Бедняга!.. Видно, всю зиму пропадал в медресе[2] со скуки!

И оба шевелили коней, то рысью, то вскачь догоняя его, — Жумабай— зажимая под коленом свой черный шокпар,[3] Байтас — придерживая носком сапога длинный березовый соил.[4] Возле урочища Такирбулак Байтас, умеряя пыл подростка, крикнул ему:

— Не скачи без нас! В Есембаевом овраге воровской притон!

— Разбойники, наверное, следят за тобой, — прибавил Жумабай. — Скажут: «Ишь, храбрец, скачет один!» Стукнут тебя по голове!

— А вы на что?

— Ойбой! А что мы сможем с ними сделать? Нас двое…,

— А их — целая шайка, — поддакнул Жумабай. — Хорошо, если примут нас за сородичей, — проскочим. Нет — дело плохо! — заключил Жумабай, запугивая подростка.

Но эти слова только подзадорили мальчика.

— Ну, раз и вы ничего не сможете сделать, так не все ли равно, один я буду или с вами? Я поехал!..

Он ударил коня, поскакал вперед и до самой лощины Есембая ни разу не оглянулся назад.

Два первых дня пути старшие двигались не спеша и совсем вывели мальчика из терпения. Теперь он был рад, что хоть в последний день нашел средство заставить их торопиться: он решил до самого аула скакать впереди.

Спутники почти потеряли его из виду, но он все скакал. Путь пролегал по буграм и сопкам. Когда аулы откочевывают в горы Чингиз, здесь становится совсем безлюдно. С каждого холма можно отлично следить за проезжими, и охотникам до чужого добра нетрудно нападать на них из оврагов и лощин.

Байтас сокрушенно покачал головой:

— И как это мальчуган не боится? О господи, да есть ли у него рассудок?..

Жумабаю, который тоже не сумел справиться с мальчиком, оставалось только поддержать своего приятеля:

— Весь в отца! «Я — сын матерого волка», — вот что говорит он своими выходками… Ничего не поделаешь, Байтас, не отставать же нам!

И оба помчались, обгоняя друг друга. Под Байтасом был черногривый скакун самого Кунанбая. Жумабай тоже ехал на хозяйском коне—на рослом белоснежном скакуне по кличке Найман-хок. Один перевал мгновенно остался позади, кони помчались к другому. Всадники вылетели на гребень холма, но мальчика все еще не было видно. Они поскакали дальше, и, когда начали спускаться в лощину, Жумабай услышал слева четкий цокот копыт, как раз от перевяла Есембая. Хуже того — прямо нз Есембаева оврага…

«Ох, вылез, нечистый! С мальчиком расправился и гонится за нами! — мелькнуло в мыслях Жумабая, и, вне себя от страха, он погнал коня, даже не смея оглянуться на всадника. Но тут же он услышал грозный гнусавый оклик:

— Закрывай глаза!

Жумабай оглянулся: лицо всадника было завязано платком, — в этих местах грабители всегда поступают так при дневных налетах. Байтас молча скакал в сторону во весь опор. Значит, кому суждено страдать, так только ему, Жумабаю… «Отобьюсь во что бы то ни стало», — решил он, хватаясь за шокпар, зажатый под коленом, но тут его поразила страшная догадка, что и тот может ударить его по голове шокпаром, — и он пригнулся к гриве коня.

Незнакомец, не дав времени вытащить из-под колена дубинку, налетел на старика и быстро надвинул ему на глаза его широкополую черную шапку. Жумабай не смел поднять головы. Схватиться с противником он не решался, а выскользнуть из его рук и ускакать было уже невозможно. Грабитель воспользовался его растерянностью и нагло выхватил у него шокпар. Найман-кок вдруг остановился на всем скаку, точно налетев на препятствие. Жумабай осторожно выпрямился и, весь дрожа, сдвинул со лба шапку.

Не мерещится ли ему? Перед ним на коне — мальчик!.. Так вот кто налетел на него, отобрал шокпар, остановил коня и теперь заливается смехом, не в силах вымолвить слова. Нет, Жумабай не ошибся: перед ним действительно был «волчонок Кунанбая»—Абай.

И стыд и злость на самого себя за безрассудный страх перед мальчишкой охватили Жумабая.

— Ой, сынок, накличешь ты беду своими шутками! Нашел место — в самом воровском логове, — сказал он с досадой.

Смуглое лицо подростка раскраснелось от сдерживаемого смеха и он, опустив голову, начал вывертывать свою шапку. Как разбойник с большой дороги, Абай заранее вывернул наизнанку чапан и малахай, а лицо завязал платком и, догоняя Жумабая, кричал ему, как опытный вор, изменив голос и гнусавя, чтобы тот не узнал его.

Байтас уже возвращался к ним. Трудно было сказать, испугался ли он. Теперь, поняв проделку Абая, он подъезжал с веселым смехом:

— Посмотри-ка, он даже лысину своему буланому затер! Жумабай только сейчас увидел, что мальчик обмазал отметину на лбу коня глиной. Но Жумабай привык пользоваться всеобщим уважением и вовсе не желал стать посмешищем. Он решил сам обернуть в шутку все происшедшее, и, натянуто улыбаясь, сказал:

— Ох, и уродится же такой — весь в отца! И кереи и уаки вечно стонут: «Тобыктинцы — прожженные воры, тобыктинцы— грабители!» А как же им не стонать, когда в Тобыкты[5] даже молокососу известны все воровские повадки?

Абай уже давно замечал, что отец уважает старика. Он не знал точно, зачем Жумабай ездил в город, но из разговоров обоих спутников понял, что тот приезжал по важному делу, порученному самим Кунанбаем. Мальчик перестал смеяться и подъехал к Жумабаю.

— Нам еще долго ехать, — я пошутил, чтобы разогнать скуку. Простите меня, Жумаке!

Слова его прозвучали ласково, и Жумабай, довольный этим, только молча посмотрел на Абая. А Байтас стал шутить с подростком, как со взрослым:

— Натворил дел, а потом «простите меня!» Совсем как в моей песне:

Нагрузи верблюда в поход—

Терпеливо он все снесёт.

Но боюсь и подумать я:

Ойкала как стерпит моя?

Абай не понял.

— Как вы сказали, Байтас-ага? Кто это— Ойкала?

— А ты разве не помнишь Ойке, мою жену?

— Конечно, помню. Ну и что же?

— В прошлом голу я прогулял все лето, гостил по всем аулам, веселился с девушками и молодыми женщинами. А когда пришел конец беспечному житью, у меня не хватало духу войти в свой дом и взглянуть в лицо жене. Ну. я и решил заранее смягчить ее сердце: сложил эту песню, чтобы жена через моих друзей-певцов еще за месяц до моего возвращения услышала мое покаяние…

Байтас был признанным певцом и красавцем. Абай посмотрел на него с нескрываемым восхищением. И сама Ойке и друзья Байтаса, которых Абай знал с прошлого лета, — веселые неутомимые певцы с чудесными голосами, — живо встали в его памяти. Он жадно слушал его рассказ, с нетерпением ожидая развязки. Пользуясь тем, что нынче Байтас шутил с ним, как с равным, он решился спросить:

— Ну и что же сказала Ойке. Байтас-ага? Байтас засмеялся, но тут же принял серьезный вид.

— А что тут скажешь? Разве сердце бедной женщины может выдержать, когда издалека, да еще в песне, ей посылают мольбу о прощении? Подъехал я к дому, она вышла навстречу и стала привязывать коня, а песня моя пошла гулять по свету. Вот и все, — сказал он и подмигнул Жумабаю.

Во время разговора Найман-кок перешел на ровную быструю рысь, увлекая остальных лошадей. Мальчик встрепенулся. Чувство, которое влекло его к родному аулу, вновь вспыхнуло в нем, и, ударив коня, он рванулся вперед. Спутники снова попытались его удержать:

— Перестань, говорят тебе, сынок! Загонишь коня!

— Поскачешь один — и в самом деле попадешь в руки грабителям.

Но мальчика, только что вырвавшегося из города, из снотворно скучного медресе, с такой силой тянуло к родным, к милому его сердцу аулу, что он и не слушал этих увещеваний. Да и не так уж страшны ему Есембаев овраг и воры, наводящие ужас на его спутников! Чем в конце концов отличаются они от остальных казахов? Разве только поношенным платьем и плохой сбруей да тем, что в руках у них — соилы… Абаю не раз приходилось видеть таких людей, он помнит и рассказы стариков о них, бывают минуты, когда он даже мечтает испытать сам, что такое налет грабителей.

Караульная сопка. Тайное ущелье — все эти места знакомы Абаю не хуже, чем родной аул. Два раза в год — весной и осенью — аул Кунанбая прикочевывает сюда и надолго здесь располагается. Каждое ущелье, овраг, лощина, места, где привязывают жеребят или ставят юрты, овечьи пастбища на возвышенности, что видна с дороги, — все это знакомо и мило Абаю. В прошлом году, когда на бохрау,[6] во время стрижки овец, он отправлялся в город учиться, ему пришлось выехать как раз отсюда, из Есембая. И все кажется ему здесь родным, все дышит непередаваемой теплотой. Недавно еще он веселился здесь, бегая с мальчишками наперегонки, устраивая скячки на жеребятах-однолетках, играя в бабки. И когда там, в городе, нападала на него тоска по родному аулу, в его воспоминаниях не раз вставали незабываемые дни, проведенные именно здесь, в Есембае.

И теперь, когда говорят: «Здесь воровской притон, опасное место, здесь гнездо всяких бед», — ни одна из этих угроз не находит я нем отклика. Мирные желтые сопки, зеленые луга, необъятный простор серебристого ковыля, подернутый вдали дрожащей дымкой, стелются перед ним. С нежностью и волнением смотрит Абай на окружающий его мир — на бескрайную степь, на простор, на сопки. где он родился и где провел детство. Ему хочется обнять все это и покрыть горячими поцелуями. Какая нега в прохладном степном ветерке, не знающем ни бурных порывов, ни мертвого затишья! Сочная тучная степь вся колышется от этого ветерка, и пологими волнами переливается на ней ковыль. Да нет, не степь это, — бескрайное море, сказочное норе… Абай не может оторвать от него глаз. Он безмолвно погружается взором в вольную ширь. Она ничуть не пугает его, если бы он смог, он охватил бы ее всю, прижался бы к ней и шептал: «Я так соскучился по тебе! Может быть, другим ты кажешься страшной — только не мне! Родная моя, милая степь!..»

И мальчик скачет вперед, чуть видный среди зелено-серебряных просторов. Удержать его невозможно.

— Неужели мы так и будем плестись за ним, как подводчики за чиновником? Прибавим ходу, Жумаке, это же позор! — сказал Байтас и, ударив чалого, пустился вскачь.

Жумабай волей-неволей последовал за ним, и скоро все трое мчались наперегонки.

Мальчик добился-таки своего: от самого Корыха путники не сделали ни одного привала. Весь день они были в пути, кони их измылились, и к закату, перед самой вечерней молитвой, они подъехали наконец к аулу Кунанбая на Кольгайнаре, где жила и родная мать Абая — Улжан.

Кольгайнар славился своим прозрачным неиссякающим родником, но большим урочищем его не назовешь. Обычно здесь по пути на жайляу в горы Чингиз останавливаются три-четыре аула Кунанбая.[7]

Возле юрт самого Кунанбая теснились юрты его родных, Дыхание жизни оживляло вечернюю степь. Лай собак, окрики пастухов, блеяние овец и ягнят, топот коней, скачущих на водопой и поднимающих золотистую дымку пыли, ржанье жеребят, только что спущенных с привязи и мечущихся по степи в поисках маток… Дым, поднимающийся от костров к прозрачному вечернему небу, висит над юртами сплошной темно-серой завесой… Вот о чем тосковал в городе мальчик! Вот что заставляет его сердце биться в радостном волнении, подобно играющему скакуну, вот что властно захватывает все его чувства!..

Путники подъехали к аулу, расположенному у самого родника. Пять юрт стояли впереди. Это было многолюдное жилище двух младших жен Кунанбая — Улжан и Айгыз. Старшая — Кунке — жила в другом ауле.

Всадников сразу же узнали. Пробивая себе путь сквозь стадо овец, тянувшееся на вечерний выпас, они направились прямо к большим белым юртам. Первыми заметили их женщины среди отары. С ведрами в руках, подоткнув подолы за пояс и повязав большие передники, они доили овец. Вглядываясь в приезжих, они наперебой заговорили:

— Это из города! Из города вернулись!

— А вот Абай!.. Абай, голубчик!

— Ну да, это Телькара! Боже мой, Телькара![8] Побегу скорей, порадую его мать! — и молоденькая женщина, бросив ведра, кинулась к Большой юрте.

Улжан истомилась, ожидая сына. С той самой минуты, когда Байтас выехал за ним в город, она считала дни и часы. Прикннув время на дорогу туда и обратно, она ожидала путников сегодня. Восклицания женщин мгновенно донеслись до нее.

Улыбаясь всем своим полным лицом, на светлой матовой коже которого почти не заметно было морщин (хотя Улжан перевалило за сорок), плавно неся потучневшее тело, она вышла из юрты, бережно ведя под руку свекровь. Старая Зере всю зиму ждала любимого внука, ни на миг не забывала его и поминала в молитвах.

Между Большой юртой, к которой подъехали всадники, и Гостиной юртой их уже ожидала большая толпа. Подошли многочисленные невестки и женщины соседних юрт, несколько старух и стариков, копошившихся поблизости; примчались со всех ног мальчишки. С разных концов аула приближались мужчины.

Абай жадно вглядывался в толпу, не заметив даже, что опередил обоих спутников. Едва он спешился, коня его кто-то увел. В многолюдной толпе мальчик сразу увидел родную мать. Он бросился к ней, но Улжан остановила его:

— Э, свет мой, сыпок, посмотри — вон стоит твой отец! Сперва отдай салем[9] ему!

Абай быстро оглянулся и только теперь заметил отца. Кунанбай стоял с несколькими стариками поодаль, позади Гостиной юрты. Смущенный своей оплошностью, мальчик пошел к отцу. Байтас и Жумабай, спешившись и ведя коней в поводу, тоже шли к Кунанбаю. Высокий, коренастый, с седеющей бородой, Кунанбай даже не удостоил их взглядом своего единственного глаза, странно сверкавшего на бледном, словно застывшем лице. С другой стороны аула к нему приближались несколько всадников, тучных, богато одетых, на хороших конях. Насколько можно было судить, все это были старейшины. Кунанбай, видимо, ожидал их — он напряженно смотрел на подъезжавших.

Байтас и Жумабай еще подходили, когда Абай был уже возле отца. Кунанбай повернул голову, принял приветствие, но не двинулся с места. Он только окинул Абая быстрым взглядом и сказал:

— Ты вырос и возмужал. Выросли ли твои знания, как ты сам? Насмешка это или сомнение? Действительно ли отец хочет знать о нем?.. С самых ранних лет мальчик привык следить за движениями бровей отца, — так опытный пастух следит за облаками в год джута,[10] — и за эту наблюдательность отец ценил его больше остальных детей. Сейчас было понятно, что Кунанбай думает совсем не о сыне, а о приближающихся всадниках. Но Абай знал и то, что отец не выносит, когда не отвечают на его вопрос, и поэтому сказал сдержанно, но с достоинством:

— Слава богу, отец, — и, помолчав, добавил: — Занятия еще не кончились, но вы прислали за мной, хазрет[11] благословил, и я вернулся домой.

Возле отца стоял со своим слугой Майбасар — младший брат Кунанбая, сын одной из четырех младших жен Кунанбаева отца. Став в этом году ага-султаном,[12] Кунанбай поставил Майбасара волостным управителем Тобыкты.

Довольный ответом Абая, Майбасар было начал:

— Он уже совсем взрослый стал…

Но Кунанбай прервал его, коротко сказав:

— Ступай, сынок, поздоровайся с матерями!

Абай только этого и ждал. И когда он повернулся к женщинам, которые, негромко переговариваясь, ревниво следили за ним, лицо его снова приняло жизнерадостное мальчишеское выражение. С детской торопливостью Абай бросился к матери, но кто-то схватил его, обнял, и тотчас на него посыпались поцелуи множества пожилых женщин и мужчин. Значит, он для них все еще ребенок?… Мальчик даже покраснел от смущения, не зная, как быть: то ли сердиться, то ли радостно отвечать на ласку? У некоторых старух на глазах были слезы.

Вырвавшись наконец из объятий. Абай направился к матери. Родная его мать, Улжан, и третья жена Кунанбая, красавица Айгыз, стояли рядом. Айгыз сказала:

— Ну вот, всякие грязнули заслюнявили все лицо нашему мальчику, и поцеловать некуда! — И она с высокомерной усмешкой поцеловала Абая в глаза.

Когда наконец он прильнул к родной матери, та не поцеловала его: она только крепко обняла и прижала сына к груди, жадно вдыхая запах его волос. Невозмутимая сдержанность и хладнокровие отца уже давно передались матери, мальчик знал это и не ждал большего. Но в этом молчаливом объятии он почувствовал такую теплоту и любовь, что сердце сильно-сильно забилось в груди…

Улжан не стала долго задерживать его.

— Подойди к бабушке. — сказала она и повернула мальчика к двери Большой юрты.

Старая Зере, опираясь на палку, уже ворчала на Абая,

— Негодный, не прибежал ко мне сразу! К отцу пошел, негодный! — бормотала она. Но едва внук оказался в ее объятиях, упреки сменились самыми нежными, самыми ласковыми словами. — Светик мой, ягненочек маленький, Абай, сердечко мое! — говорила бабушка, и прозрачные крупные слезы навернулись на ее глаза.

В юрту Абай так и вошел в объятиях старушки. Он просидел здесь долго. Уже совсем стемнело. Матери потчевали его то кумысом, то холодным мясом, то чаем, но Абаю было не до еды, — он не чувствовал голода, хотя не ел с самого утра.

Обе матери и невестки неперебой засыпали мальчика вопросами:

— Окончил ученье?

— На муллу уже выучился?

— А по ком больше скучал?

Абай на все давал односложные ответы. Но последний вопрос заставил его встрепенуться.

— Где Оспан? Куда он ушел? — спросил он с такой поспешностью, которая сразу показала, что больше всего он соскучился по младшему братишке, шалуну Оспану.

— А кто его знает! Бродит где-нибудь, бездельник. Он сегодня всех нас вывел из терпения, вот мы с бабушкой и выгнали его, — и Улжан кивнула в сторону Зере.

Старушка поняла, что говорили о ней, и спросила:

— А? Что вы сказали? Не слышу, что вы говорите…

Абай громко, в самое ухо, рассказал ей, о чем шел разговор, и добавил:

— Бабушка, в прошлом году ты была совсем не такая. Что **у**  тебя с ушами?

И он обнял Зере, прижавшись к ее коленям. Она расслышала его слова.

— Что осталось от твоей бабушки, светик мой? Одни кости! — печально ответила она.

Абаю стало жаль старушку, обреченную на тягостное одиночество среди людей.

— А можно вылечить твои уши? Если бы попробовать?

И Зере и все кругом рассмеялись, но, чтобы не огорчить мальчика, старуха ответила с улыбкой:

— Если мулла подует с молитвой, бывает, что начинают слышать. Это помогает.

— Ну, что ж, — сказала Айгыз, усмехнувшись, — внук твой уже мулла, пусть подует, раз это помогает!

Но остальные женщины повторили серьезно, будто в самом деле надеялись на знания Абая:

— Пусть подует ей в уши! Бедной старухе хоть на душе легче станет…

Абай знал, что и такой способ лечения, и обливание больного места краской, смытой со священных письмен, и чтение над ними молитв и песнопений — обычные приемы каждого муллы, ничем не отличающиеся от действий простой ворожеи. Он сидел, улыбаясь, точно подсмеиваясь над положением, в которое попал, потом вдруг обнял голову бабушки и забормотал ей в ухо то шепотом, то вполголоса:

Прелестен лик, в очах алмаз горит,

Заре подобен цвет ее ланит,

На гибкой шее белый снег лежит.

А брови тонкие начертаны творцом…

Сидевшие в юрте ничего не разобрали. Все решили, что он читает молитву. Поджав под себя ноги, мальчик с серьезным видом продолжал бормотать, как заправский мулла.

Но почему в минуты редких встреч

Тебя всего пронзает острый меч.

Твой слепнет взор, твоя немеет речь

Перед ее сияющим лицом?

Он зажмурил глаза, беззвучно пошевелил губами и дунул в ухо бабушке:

— Су-уф!

Это были его собственные стихи. Он сочинил их весной, начитавшись Навои и Физули. Но женщины все еще не понимали, в чем дело, — им казалось, что Абай читает молитву. Чтобы продлить это заблуждение, мальчик говорил полушепотом и только под конец, не скрывая больше своей проделки, повысил голос. Зажмурившись и раскачиваясь, как это делают муллы, читая коран, он закончил нараспев:

Как пташка к югу свой стремит полет,

Так ты спешишь, прекрасная, вперед…

Не слышит бабушка — пусть с верой ждет:

Я излечу ее моим стихом!

И он опять дунул:

— Су-уф!

Только теперь все поняли его шутку и рассмеялись. Поняла ее и сама бабушка. Она тихо засмеялась и, довольная, ласково похлопала внука по спине, прижавшись щекой к его лбу.

Но Абай по-прежнему оставался невозмутимо серьезным, и только в глубине его глаз притаился добродушный смешок. Обняв бабушку, он спросил:

— Ну как, лучше слышишь?

— Да, сразу стало гораздо лучше. Да будет безгранично счастье твое, — поблагодарила старушка.

Шутка мальчугана вызвала и смех и восхищение взрослых.

Его мать, Улжан, засмеялась не сразу. Она задумчиво глядела на сына. Как он вырос за этот год! Как возмужал, какая острота ума в его глазах, как не похож он на своих братьев!.. Легкая улыбка скользнула по ее губам.

— Я-то думала, сынок, что в городе тебя сделали муллой, — сказала она, — а ты, оказывается, вышел в мою родню!

Взрослые сразу поняли ее намек, и все снова рассмеялись.

— Ну, конечно, в нем течет кровь Шаншар.[13]

— Сразу видно, что он внук Тонтекена! — наперебой заговорили вокруг.

Кто-то припомнил слова Тонтекена, сказанные перед смертью: «Стыдно уже обманывать ожидания хаджи и мулл: придется умереть—пусть зарабатывают на поминках…».

— Апа,[14] — задумчиво заметил Абай, — уж лучше умереть, как Тонтекен, чем быть знахарем, и собирать подачки.

— Хорошо, если ты вправду так думаешь. Как ты вырос, мой мальчик! — промолвила мать.

В юрту вошел посыльный Майбасара, бородатый Камысбай. Едва переступив порог, он обратился к мальчику;

— Абай, голубчик, отец тебя зовет!

В юрте сразу стало тихо. Чувства, во власти которых Абай находился весь вечер, мгновенно исчезли. Он молча вышел.

В Гостиной юрте совсем не то, что в юрте матерей, даже наружный вид ее суров и холоден. Войдя, Абай отчетливо и громко отдал всем салем. Взрослые ответили ему. Народу было немного: Кунанбай, Майбасар, Жумабай и несколько старейшин племени Тобыкты — Байсал, Божей, Каратай и Суюндик. Из молодежи здесь сидел один Жиренше, двоюродный брат Байсала, всегда его сопровождавший; он дружил с Абаем, хотя и был старше его.

Абай с детства знал, что если отец совещается с такими людьми, а особенно с тремя-четырьмя наиболее влиятельными старейшинами, то это означает, что затевается какое-то из ряда вон выходящее дело. До сих пор Абай никогда не принимал участия в таких советах. Сегодня в первый раз отец позвал его и сделал это. по-видимому, с умыслом.

Как только Абай сел. старики начали расспрашивать его о жизни в городе, об ученье, о здоровье Особенно внимательным был Каратай, словоохотливый старик с хитрым лицом. Он вспомнил и других сыновей Кунанбая.

— Твой Такежан—смелый малый, — сказал он, — такой ловкий, смышленый…

— Правда, он везде поспевает! — добавил Божей.

— Верно вы сказали; мальчик с огоньком, — подтвердил и Байсал. Эти похвалы и другому его сыну были явно направлены самому Кунанбаю. Но он сидел молча, не выражая никакого удовлетворения от расточаемой лести. Вдруг, как бы наперекор всем, он проговорил, повернувшись в сторону Абая:

— Если уж чего-нибудь ждать — так ждите только от этого черномазого мальчугана!

Каратай раньше других почуял, что Кунанбай неспроста вызвал сюда мальчика и во всеуслышание похвально отозвался о нем. Повернувшись к Божею н Байсалу, он спросил с улыбкой:

— А вы слышали, что мальчик сказал во время обряда обрезания?[15]

Абаю не понравилось, что Каратай собирается рассказывать о его детских промахах. От смущения краска стала приливать к его лицу. Но старшего остановить нельзя. Абай старался сделать вид, будто все, о чем здесь говорят, не имеет к нему никакого отношения.

Каратай продолжал, посмеиваясь:

— Когда приступили к обряду и ему стало больно, он заплакал и сказал: «Боже мой! Почему я не родился девочкой?> А мать говорит ему: «Несмышленыш мой милый, тогда тебе пришлось бы рожать, а это пострашнее обрезания!» А он как закричит: «Ойбой, и у девчонок свои муки?..»— и перестал плакать.

Старики рассмеялись.

Кунанбай опять не шелохнулся, точно ничего не слышал. Сосредоточенный вид отца и Байсала ясно показывал, что подобные разговоры поддержки не найдут. Абай этому радовался: он вовсе не желал, чтобы, позвав его как взрослого, над ним смеялись, как над неразумным малышом.

В эту минуту в юрту вбежал Оспан, младший браг Абая. Сколько раз сегодня Абай спрашивал о нем! Как хотел видеть этого озорника!

Оспан не забыл отдать салем, но тут же, не обращая внимания ни на отца, ни на других, присутствовавших здесь, старших, повис на шее Абая. Он любил его больше всех своих братьев. Между ними было пять лет разницы.

Перед взрослыми Абаю надо было вести себя достойно, как подобает старшему брату. Он степенно обнял Оспана и поцеловал в обе щеки. Старики поняли, что мальчики еще не виделись, и отнеслись снисходительно к таким вольностям. Но Оспан сейчас же начал шалить, и хорошее впечатление, вызванное его приходом, мгновенно рассеялось. На вопрос Абая, где он был, шалун сел перед ним на корточки, снова обнял его за шею, притянул к себе и прошептал на ухо грязное ругательство. Мальчишка слышал его от своего старшего брата Такежана. Вот так первая встреча с братом, о котором так скучал Абай! Он с ужасом отшатнулся от Оспана.

— Ой, что ты сказал!.. — воскликнул Абай, но Оспан не дал ему договорить и снова повис у него на шее.

— Не говори, не говори отцу! Ни за что не смей говорить, — угрожающе шептал он и вдруг повалил Абая навзничь.

Абай, понимая все неприличие такой возни при старших, пытался освободиться и привести себя в порядок. И все же коренастый Оспан положил его на обе лопатки, вытащил изо рта что-то скользкое и засунул Абаю за воротник. Абай передернул плечами и попытался вырваться. Только что он с таким важным видом сидел среди взрослых, а теперь озорник братишка совсем его осрамил!.. А Оспан, забыв о присутствии отца, покатываясь со смеху, закричал:

— Лягушка! Я посадил ему за ворот лягушку!

Абай забарахтался еще больше.

Кунанбай сперва не обращал внимания на детей, возившихся у него за спиной, думая, что они и сами скоро угомонятся. Теперь он круто повернулся и увидел, что коренастый мальчишка повалил Абая и сидит у него на груди, не давая возможности подняться.

Такое озорство вывело Кунанбая из себя: одной рукой он схватил Оспана и притянул к себе, а другой дал ему несколько увесистых пощечин. Лицо мальчика запылало, но он неподвижно застыл перед отцом, сверкая большими глазами. Пощечины не испугали его, он продолжал стоять как ни в чем не бывало. Суюндик, изумленный такой выдержкой ребенка, наклонился к Байсалу:

— Волчий прав у этого малыша!

— Настоящий Куж,[16] — шепнул тот в ответ. Кунанбай строго приказал посыльному:

— Убери этого негодяя! — и толкнул Оспана к двери.

Мальчик споткнулся и чуть было не упал, посыльный успел подхватить его. В юрте несколько минут стояла полная тишина. И только когда все снова зашевелились и закашляли. Кунанбай заговорил.

2

Глиняный светильник над круглым низким столом посреди юрты разливает красноватый свет. По временам сквозь нижние щели юрты врывается ветер, и слабое пламя трепещет, то угасая, то разгораясь. Отец сидит боком к Абаю: свет падает на него с одной стороны.

От Кунанбая веет холодом. Властное лицо хмуро и жестоко. Слова его, резкие, внушительные, падают с гневной тяжестью. Речь его пересыпана пословицами и поговорками.

Мальчик еще не может понять, чего добивается отец, какую скрытую цель преследуют его слова. Ему лишь удается уловить смысл отдельных выражений. По старому обычаю аксакалов,[17] отец говорит иносказательно, намеками и кружит над целью своей речи, как ястреб. Абай не успевает связать одну фразу с другой и запутывается в обрывках мысли. Если бы он мог, то сейчас же убежал бы в юрту матери, но делать нечего: позвал отец — уйти невозможно.

И он продолжает сидеть и слушать. Отдельные слова для него совсем новы и непонятны, он старается запомнить их. Отец на кого-то нападает, кому-то грозит — и Абаю кажется: целая рать, вооруженная и грозная, стремительно летит в набег. Порою непонятная речь отца наводит на него скуку, и тогда он долго не отрывает взгляда от лица Кунанбая, думая о другом.

Абай с детства усвоил привычку пристально, не сводя глаз, смотреть на сказителей, певцов и вообще на всех, чья речь приковала к себе его внимание. Лицо человека всегда казалось ему чудесным созданием природы. Всего привлекательней были лица стариков, испещренные морщинами. В извилистых складках, бороздящих их щеки и лбы, в выцветших глазах, в волнообразных переливах длинной бороды он часто видел целые картины. Вот лесок с реденькими, жидкими побегами… Вот трава, скрывающая темную почву под своим мягким ковром… Порой его воображение находило в человеческом лице странное сходство с хищным зверем или добродушным домашним животным. Вся вселенная оживала для него в движениях и очертаниях человеческого лица.

У отца продолговатая, словно вытянутая голова, напоминающая гусиное яйцо. И без того длинное, лицо его удлиняется клином бороды; оно кажется Абаю равниной с двумя холмами, поросшими лесом бровей. Единственный глаз Кунанбая зорким часовым стал у левого холма — суровый, недремлющий страж… Он не знает отдыха, от него ничего нельзя утаить… Этот единственный глаз не прячется за веком: большой, выпуклый, он смотрит остро и зорко, точно пожирая все окружающее. Он даже моргает редко.

На плечи Кунанбаи накинута шуба из мягкого, пушистого меха верблюжонка. Он говорит веско, убедительно, смотрит только на Суюндика, сидящего напротив, и говорит, не сводя с него взгляда.

Борода Суюндика серебрится ровною проседью. Время от времени он точно исподтишка, вскользь, вскидывает глаза на Кунанбая, но прямо на него не смотрит. Абаю внешность Суюндика кажется обыденной и простой. За ней ничто не скрывается.

С первого взгляда и Божей тоже как будто ничем особенным не отличается. Со своим бледным смуглым лицом, темной бородой, крупным носом он, пожалуй, красивее всех остальных. И морщин на его лице еще не много. Во время длинной речи Кунанбая Божей не шелохнулся, ни разу не поднял опущенного взгляда. Трудно сказать — дремлет ли он, или о чем-то сосредоточенно думает. Мясистые, грузные веки точно плотной завесой скрывают все, что затаил он в мыслях.

Один Байсал, сидящий на переднем месте, смотрит прямо на Кунанбая. Байсал высок, у него румяное лицо, внушительная внешность. Взгляд больших синеватых глаз холоден, — в нем сдержанность, способность сохранить тайну в самой глубине души.

Остальные сидят угрюмо и молчаливо. Понимание того, что хочет Кунанбай, живой отклик на его речь видны только в глазах Каратая и Майбасара.

Круг аксакалов с одной стороны замыкает Абай, сидящий рядом с отцом, а с другой — молодой жигит Жиренше.

Жиренше — родственник Байсала из рода Котибак. Это не просто жигит, прислуживающий Байсалу, — он подает большие надежды, он тонок и наблюдателен. К тому же он хороший рассказчик и шутник: Абай до сих пор помнит его прежние шутки. Из всех собравшихся только его Абай хотел бы видеть и только с ним побеседовать задушевно, один на один.

Но сейчас, для виду или искренне, Жнренше весь поглощен речью Кунанбая, и никого больше не видит вокруг себя. Похоже, что он даже не замечает Абая.

Вот Жиренше нахмурил брови и зашевелился… Лишь теперь Абай заметил, что отец заканчивает свою речь.

— Если гнусность негодяя Кодара заставила меня краснеть перед другими родами, то в нашем племени это позор для всех, кто собрался здесь! Позор нам всем! — сказал он и, замолчав, перевел пронизывающий взгляд своего единственного глаза с Суюндика на Байсала, а потом так же пристально уставился на Божея.

Ни Божей, ни Байсал не шелохнулись. Остальные взволнованно зашевелились. Каждому легла на плечи тяжесть слов Кунанбая.

— Честь — выше смерти. Беспримерный грех должен получить и беспримерное возмездие, — заключил Кунанбай.

В каменной твердости его голоса звучал непоколебимый приговор. Все почувствовали это. И все знали, что если Кунанбай пришел к решению, то ждать уступки бесполезно.

Итак, на выбор остаются два пути: идти на открытую ссору, на вызов — возражать, препираться, возмущаться или, как это уже часто делали Байсал и Божей, затаить свое несогласие и, предоставив действовать одному Кунанбаю, сложить всю ответственность на него, — пусть сам расхлебывает кашу!

Когда дело не затрагивало их кровных интересов, они всегда поступали именно так: скупились на слова, выражались неопределенно, одними намеками. Но сейчас, после заключения Кунанбая, молчать было невозможно, он не оставил малодушным ни лазейки. И каждый увидел себя а западне. В юрте наступила тишина. Абай не знал Кодара. При этом имени перед ним сразу же возник образ Кодара из песни «Козы-Корпеш и Бачн-Слу».[18] И то, что отец назвал его «негодяем», тоже подходило Кодару из песни, которую в прошлом году здесь, в этой самой юрте, пропел его матерям акын[19] Байкокше. Абай даже подумал, не нарочно ли прозвали Кодаром кого-нибудь похожего на героя той песни.

Каратай первый нарушил тишину обдуманной и гибкой речью:

— Поистине это чудовищно… Не дав бог, чтобы с сыновьями или дочерьми нашими случилось такое дело! Если Кодар действительно совершил это преступление, — место его среди неверных, — начал он.

И потом, обходя прямые пути, он обиняком, осторожными вопросами и намеками, высказал свое сомнение: а правда ли то, что говорят о Кодаре?

Среди присутствующих один Суюндик приходился сородичем Кодару. Вот почему Кунанбай, говоря свою речь, смотрел на него в упор, — он старался убедить Суюндика в неслыханном, чудовищном преступлении Кодара, он добивался, чтобы Кодара осудили сами его родные. Стоит Суюнднку высказать осуждение — и вся тяжесть последствий ляжет на него и на его род.

Но Суюндик далеко не уверен, так ли виновен Кодар, как это утверждал Кунанбай. Уловка Каратая помогла ему, — он ухватился за слова «если действительно виновен» и сказал:

— Если его вина будет доказана, тогда хоть сейчас — нож ему в сердце! Но кто поручится, что все это правда?

Кунанбай, ощетинившись, подавшись вперед всем телом, перебил его.

— Э, Суюндик, — гневно отрезал он. — Албасты[20] подстерегает слабых! Безвольный, колеблющийся вожак навлекает темную силу на самого себя. Что же, давайте поклянемся душой за Кодара, присягнем в его честности и невиновности! Оправдаем его. А на том свете примем его вину на себя. Только я не обладаю двумя душами! — И внезапно он резко бросил в сторону ошеломленного Суюндика: — А ты-то сам ручаешься за Кодара? Присягнешь за него? Душой поклянешься?

Этот вызов был последним ударом, доконавшим Суюндика.

— У меня тоже нет души, которую некуда бы девать! Я сказал лишь, что надо проверить. Не для того я приехал, чтобы заложить свою душу, — проговорил он мрачно.

К этому свелось все его сопротивление. И хотя выпад Суюндика был смел, все поняли, что он начал сдаваться. Кунанбай вовремя учел это и решил сломить его.

— Если ты не веришь нам, — сказал он, — то не верь и народу, который повсюду кричит о гнусностях Кодара! Не только свои — чужие вчера на сборе бросили нам грязь в лицо! Им тоже все известно. Ступай убеди их, что это неправда! Попробуй заткнуть рот всему народу! В силах ты сделать это? Так будь решительным до конца: осмелься оправдать его. Или оправдай, или осуди! Только дорогой мой, не топчись на месте!

Суюндик не нашел что ответить. И после короткого молчания заговорил Байсал. По-прежнему сохраняя холодное спокойствие, он взглянул на Кунанбая и бесстрастно спросил:

— Если мы признаем Кодара виновным, каково будет наказание?

Кунанбай ответил:

— Такого чудовищного преступления казахи не знавали в прошлом. Не знаем мы и кары за него. Наказание — по шариату.[21] Пусть совершится то, что повелевает закон.

До этого Кунанбай говорил раздраженно, желчно, но тут он переменил тон: казалось, что он и сам тяжело переживает все происходящее.

Да, все пути отрезаны, и все остановились, словно кони, наткнувшись **на**  глухую стеку. И снова наступило молчание.

Божей подумал про себя: «Должен же шариат разбираться! Не может быть, чтобы ни с того ни с сего он набрасывался на человека!» Но высказать эту мысль он не посмел: Кунанбай обрушился бы на него бурным, неудержимым потоком. И Божей промолчал.

Нетерпеливый Каратай не выдержал.

— Но что же повелевает шариат? — спросил он.

Кунанбай повернулся к Жумабаю, сидевшему несколько поодаль, — будто лишь сейчас вспомнил о нем.

— Я посылал Жумабая в город, чтобы узнать приговор Ахмета-Ризы, хазрета. Кара — повешение, — сказал он.

— Повешение? — с ужасом переспросил Каратай.

Божей поднял испытующий взгляд на Кунанбая и не отрываясь смотрел на него. На лице Кунанбая застыло выражение непреклонности.

— Неужели нет другого выхода? Пусть он — взбесившийся пес, но ведь он — сородич нам! — проговорил Божей.

И опять зазвучал полный голос Кунанбая.

— Да покинут все чувства того, кто сочувствует ему! Спорить с шариатом? Даже если бы дело шло не о Кодаре, а о счастье моей жизни, я не отступлю, не поколеблюсь, — резко заключил он.

Все поняли: этого степного коня не сдержать и арканом.

— Раз ты уверен, делай как знаешь, — сказал Божей упавшим голосом.

Молчаливый Байсал не проронил ни звука. Суюндик свернул на проторенную Божеем дорожку:

— Ты управляешь всем народом, и преступник тоже в твоих руках, — заговорил он, — И обидчик и обиженный — все прибегают к твоей мудрости. Мы просим лишь одного: какой бы приговор ты ни вынес — решай, проверив. Остальное — в твоей воле.

К словам Суюндика присоединились и все старейшины: Но это была лишь видимость согласия. Весь вечер шла скрытая борьба — полунамеками, в обход, никто не рискнул на открытое столкновение с Кунанбаем.

Если чутье не обмануло Божея, дело Кодара — новый ход Кунанбая. И не простой, не обычный ход. К чему он ведет? Но **как**  бы ни повернулось дело, за последствия ответит один Кунанбай: ведь никто **к**  нему не присоединился, никто его не поддержал. Он, наверное, и сам понимает, что они ухитрились оставить себе возможность борьбы.

Но если старейшины втайне надеялись остаться в стороне, то и у Кунанбая осталось кое-что в запасе: замысел его был продуман заранее до конца, и он не все еще высказал вслух.

В руках шести старейшин, собравшихся здесь, — судьбы тысяч семей племени Тобыкты, вся сложная паутина родовых и племенных дел, вся бесконечная путаница отношений, все узлы, все связи, все ходы. В потайных карманах этих шести вожаков скрыты бесчисленные расчеты, невидимые повороты путей, тонкая сеть человеческой хитрости.

Став ага-султаном, Кунанбай поднялся над всеми. Власть в его руках. Он связан с внешним миром, с высшими властями, они с ним считаются, ценят его. Кроме того у него длинные руки, — он богат. Он за словом в карман не лезет, умеет держать себя, внушителен, упорен, непреклонен в достижении цели. И, ловко применяясь к обстоятельствам, он подавляет всех вокруг себя.

Но если в Тобыкты — вся сила Кунанбая, то в нем же, пожалуй, и вся его слабость. Недаром говорится: «Крылья — при взлете, хвост — при спуске». Старейшины — вот эти самые Байсалы и Божей — крылья и хвост Кунанбая.

Весь последний год Кунанбай не чувствует с их стороны прежнего доверия. Между ними встала глухая настороженность. Кунанбай знает это. Но сейчас никто из них не решился на открытый разрыв, все идут на уступки. А это для него очень важно. Как бы ни был он силен и властен, есть еще судья, на которого приходится оглядываться. Этот судья — племя. В глазах племени все старейшины ответственны за жестокий приговор не меньше, чем он сам. Гореть Кунанбаю — не уцелеть и им. Они будут вынуждены доказывать, что приговор справедлив, а что у них сейчас в душе — дело десятое. И Кунанбай делает вид, что он ничего не подозревает и ничему не придает значения.

Хотя Тобыкты состоит из множества родов и колен, ключи всех дел в руках только тех пяти-шести, аксакалы которых собраны здесь. По ним равняются все, и все прислушиваются к их голосу. Они и верховодят в Тобыкты.

Вот хотя бы Божей, сидящий по правую сторону Кунанбая. Он из влиятельного рода Жигитек. Из Жигитека в свое время вышел стойкий и упрямый властитель Кенгирбай. Да и впоследствии этот род дал много удальцов, любителей набегов и барымты,[22] походов и всевозможных опасных приключений. Жигитеки — краснобаи, буйный, непокорный народ.

Байсал — старейшина крупного рода Котибак. Род этот многочислен и силен, — недаром он носит прозвище «Косяк густогривого гнедого». Котибаки занимаются скотоводством, из года в год захватывают все большие участки земель и, в полном сознании своей силы, не стесняясь, безо всякой оглядки творят жестокие и темные дела.

Суюндик — нз рода Бокенши. самого малочисленного по сравнению с другими. И хозяйство у них скудное. К Бокенши по женской линии примыкает маленький пришлый род Борсак. Кодар, о котором шла речь, — из борсаков.

Сам Кунанбай — из рода Иргизбай. По численности этот род меньше, чем Жигитек и Котибак, но зато неизмеримо богаче. Кроме того, иргизбаи из поколения в поколение удерживают свое влияние над всем Тобыкты и вершат его судьбы.

По степени родства Байсал ближе к Кунанбаю, чем Божей и Суюндик. Когда нужна поддержка и когда требуется привлечь на свою сторону большинство или собрать силы, Кунанбай всегда опирается на род Байсала — Котибак. Поэтому он особенно оберегает свое влияние в этом многочисленном роде.

Что касается Каратая, то он стоит как бы особняком от других. Он — старейшина рода Кокше, который имеет отдаленное, но равное родство со всеми. И хотя этот род не принадлежит к числу крупных, способный и ловкий Каратай, умело используя свои родственные отношения со всеми, никогда не оказывается вне событий и принимает участие в важнейших решениях.

Все, что сделают, скажут или решат сидящие здесь старейшины, будет бесспорно и безоговорочно принято остальными — и старыми, и малыми, и умудренными опытом аксакалами, и зрелыми мужами.

Рядом с Кунанбаем сидит его брат Майбасар. Став волостным, он сразу порвал дружбу с прежними приятелями и отдалился даже от ближайших родных Кунанбая. И хотя сейчас, по укоренившейся с детства привычке, он держится перед Кунанбаем, как кроткий ягненок, на самом деле он невероятно жесток. Майбасар стоит во главе тех иргизбаев, которым особенно выгодно было возвышение Кунанбая и кому выгодна его власть.

Из-за Майбасара и произошла размолвка между Божеем и Кунанбаем. Месяца два назад Божей, по просьбе народа, выведенного из терпения самоуправством Майбасара, обратился к Кунанбаю с требованием сменить волостного управителя. Кунанбай отказал, хотя хорошо знал о жестокостях, творимых Майбасаром. Он решил, что иметь около себя человека, который является как бы отражением его собственной несокрушимой силы и суровой непреклонности, совсем не плохо. Когда удары, наносимые Майбасаром, станут не под силу, все будут вынуждены искать защиты у него, у Кунанбая. Таким образом, Майбасар будет напоминать всем, что властью Кунанбая пренебрегать не следует.

Разговор о Кодаре Кунанбай перевел на другое, — он расспрашивал старейшин, как поправляется скот, хороши ли травы, давал указания, когда и как выступить в кочевку. Все соглашались, что и в этом году надо кочевать на хребет Чингиз. Правда, пастбища по ту сторону принадлежали роду из племени Керей, но аулы можно будет ставить вплотную к ним, а потом по берегам рек постепенно перекочевать дальше. У аксакалов Тобыкты была тайная мысль: кочуя из года в год по рекам маломощного соседнего рода, со временем совсем завладеть их пастбищами.

Эта беседа рассеяла мрачную напряженность. Все заговорили свободно, охотно, открыто. Воспользовавшись этим. Жиренше подмигнул Абаю и кивнул на дверь юрты.

Абай все еще не знал, кто такой Кодар и в чем состояло его преступление. Он только ужаснулся, когда услышал дохнувшее на него холодом слово «повешение». Он посмотрел на Кунанбая со страхом, вдруг поняв, что отец способен, пожалуй, настоять на таком жестоком решении. Но тут же мальчик подумал, что повешение до сих пор не применялось в степи, — он никогда не слышал о такой казни. Это страшное слово вызвало в его воображении далекие времена Гарун-аль-Рашида; оно было связано с чужими краями — Багдадом, Египтом, Газной. «Вероятно, о повешении сегодня говорили только так, для угрозы, — у нас этого не может быть и не будет», — заключил Абай.

Лишь сейчас он понял, зачем ездил в город Жумабай. Это тоже поразило Абая. Сколько времени они провели вместе, а Жумабай хоть бы словом обмолвился! Посланник смерти, тая в душе ужасное повеление шариата, он скакал с Абаем наперегонки, шутил, забавлялся с ним!.. И теперь сидит молча, как будто ничто его не касается… Мальчик смотрит на Жумабая, и старшие кажутся ему загадочными, непонятными. «Был бы я сам взрослым, я понимал бы их, знал бы, чего они хотят и как поступят», — думает он.

Теперь он вспоминает, что поведение Жумабая в городе вызвало в нем недоумение. Выводя со двора темно-серую жирную четырехлетку, он сказал: «Надо отвести ее хазрету, это ему подарок от твоего отца». Расспросив, где живет настоятель мечети, мулла Ахмет-Риза, наставник Абая, Жумабай приказал мальчику показать дорогу.

Войдя во двор дома муллы, они стали привязывать лошадь. Хазрет, увидев их, понял, конечно, что лошадь приведена ему в подарок, но ничего не сказал. Жумабай передал мулле привет Кунанбая и добавил:

— Он просил благословения своему сыну, вашему ученику, который стоит перед вами.

Хззрет не замедлил с ответом.

— Аллах милосердный и всемилостивый да пошлет блага свои и щедрой милостью своею да наградит его, — торжественно произнес мулла и, подняв ладони, благословил Абая.

Не подыскав приличной завязки для разговора с хазретом, расточавшим витиеватые книжные выражения, Жумабай сразу приступил к делу: Кунанбай, мол, просил узнать мнение ученого наставника по одному вопросу, но поручение это — совсем особенное. И Жумабай многозначительно посмотрел на хазрета, а потом перевел взгляд на Абая. Хазрет сказал мальчику:

— Ибрагим,[23] дитя мое, ступай в медресе, а перед отбытием в аул приди ко мне, да примешь благословение мое в путь.

И мальчик вышел.

Теперь Абаю все ясно: Жумабай подсказал хаэрету желание Кунанбая услышать жестокий приговор.

Что могло еще удерживать Абая в юрте? Ни теплого слова, ни приветливого взгляда он тут не встретит. Выждав немного, Абай выскользнул из юрты вслед за Жиренше. Тот стреноживал коня, чтобы пустить его на подножный корм. В тусклом отсвете огня, падавшем сквозь открытую дверь, он сразу узнал мальчика и тихо окликнул его:

— Абай, я здесь! Иди сюда!

Абай не успел еще дойти до друга, а торопливый вопрос уже срывался с его губ:

— Ой, Жиренше, кто этот Кодар, о котором сейчас говорили? Скажи мне, что он сделал?

— Кодар? Это бедняк, бобыль из рода Борсак.

— А где он сейчас?

— Живет на склоне Чингиза, у подножия перевала Бокенши.

— А что он такое сделал?

— Говорят, когда в этом году у него умер единственный сын, он спутался со своей снохой.

— Спутался? Как это спутался?

— Чего там — «как»? Ну, просто покрыл ее…

— Я не понимаю, что ты говоришь.

— Вот чудак! Не знаешь, что значит «покрыть»? Ну, понимаешь, как верблюды — самец с самкой… понял теперь? — и юноша пояснил свои слова непристойными жестами.

Проскучав с аксакалами, Жиренше рад был вырваться из юрты на свежий весенний воздух. Ему хотелось подурачиться, посмешить Абая. Но мальчику было не до смеха, его лицо оставалось серьезным. Он весь задрожал от слов Жиренше.

— Неужели это правда? — еще раз спросил он, напирая на слово «правда».

— В том-то и дело, что никто ничего толком не знает… А в народе ходят слухи. Суюндик поэтому и говорит, что надо проверить, так ли все это, — ответил Жиренше, снова став серьезным.

— Так это же, наверное, неправда?

— Многие так думают. А вот когда Кунекен[24] ездил на сбор племени Сыбан. там Солтабай при всем народе попрекнул его этим. Было это так: Кунекен сказал ему, что надо бросить насыбай,[25] а тот и брякнул: «Насыбай не великий грех, а вот тебе не мешало бы обуздать волосатую ведьму, что свила гнездо у тебя на Чингизе и творит там темные дела!» Кунекена всего передернуло, ты видел — он и сейчас сам не свой… Вот и ходит как туча…

Абай сразу отчетливо представил себе отца — потемневшего, страшного, такого, каким он был, когда произнес слово «повешение». Несколько минут мальчик стоял молча, нахмурив брови, потом круто повернулся и пошел, тяжело вздохнув. Казалось, это был не вздох, а стон тяжелобольного. Абай шел к юрте матери. Жиренше хотел было остановить его и сказать что-то, но мальчик не повернулся и, не ответив на его оклик, пропал в темноте.

3

Кодар медленными глотками потягивал просяной навар с разведенным куртом,[26] разогретый ему снохой.

— Камка, голубушка, у нас, кажется, пятница сегодня? — спросил он ее.

— Да, пятница. Надо пойти на могилу прочитать молитву, — ответила Камка и, горько вздохнув, добавила — Сегодня он приснился мне совсем как живой…

— О боже милостивый, боже милостивый! — тяжко вздохнул Кодар.

Казалось, горе, наполнявшее его широкую, богатырскую грудь, хлынуло из нее вместе с этим вздохом. Разве могут бесплотные видения успокаивать сердце? Кутжан, его единственный сын, тоже снился ему сегодня. Но разве это утешение? А Камку сны все же успокаивают. Что же, пусть она расскажет. Пусть хоть сном потешит молодое сердце. Он слушает ее…

— Я видела его, как наяву: будто подъехал к юрте, слез с коня, такой веселый, светлый… Входит в юрту, подошел ко мне и говорит: «Вы с отцом много плачете. Ваши стоны я часто слышу. Неужто вы думаете, что я и вправду умер? Видишь, я же вернулся… Я вовсе не умер! Полно, Камка! Перестань грустить, будь веселей!» Так он и сказал. А я-то радовалась!

Молодая женшина и старик замолкли. Слезы светлыми каплями катились по их лицам.

Вокруг — тишина. И только откуда-то до слуха Камки доносится странный воющий звук. Уже несколько дней она слышит его по утрам.

Бледная, повернув бескровное лицо к свекру, она чутко прислушивается. Покрасневшие глаза полны слез. На висках похудевшего лица чуть заметно бьются голубоватые жилки.

— Это ветер дует по склонам Чингиза, дочка!

— Почему же он так воет?

— Крыша на сарае обветшала. Из щелей торчит старый камыш. Он, проклятый, и завывает от ветра. — успокаивает ее Кодар.

Они вышли из юрты. Старая, темная, вся ободранная, она одиноко прижалась к маленькому саманному сараю. Кругом — ни души, ни зимовок, ни других юрт. Соседние аулы давно откочевали на жайляу.

Кутжан всегда, бывало, говорил: «Не оставаться же нам жатаками!» Он находил двух-трех верблюдов для кочевки и двигался с семьей за другими. Разве знали они тогда заботы о пастбище, разве думали о том, как свести концы с концами в скудном хозяйстве? Частенько и сам Кодар говаривал: «С аулом идти неплохо, без молока не будем, может, кто-нибудь и корову на лето даст», — и они отправлялись в кочевку.

Но в этом году ни у Камки, ни у старика не хватало решимости покинуть без присмотра свежую могилу Кутжана, которого они оплакивали день и ночь.

Скота у них было мало. Даже если бы их жалкое стадо паслось круглые сутки, все равно оно не вытоптало бы и сотой доли пастбищ по склонам Чингиза. Зимой, после смерти сына, Кодар принял к себе старика родственника, пришлого бедняка Жампеиса, который добывал себе на пропитание работой по найму. Жампеис, бобыль, без семьи и крова, всю жизнь еле перебивался. «Сложишь две половинки—все-таки целое получится. На кого нам надеяться? Проживем как-нибудь, подпирая друг друга». — предложил Кодар Жампеису, когда тот пришел совершать молитву по умершему. Так Жампеис и остался с ними.

Забота о маленьком стаде отпала. Дома тоже дела не много. И оба — старик, согбенный беспощадным временем и невзгодами, и молодая женщина, подавленная горькой печалью, — все дни проводили на могиле. Так и сегодня они тихо побрели туда.

Ослепительный майский день как-то особенно приветлив. Степной простор залит живым золотом лучей. Редкие белые пушистые облачка плывут по небу. Мягкие очертания холмов покрылись зеленью. Еще не высокая, но густая трава зеленым ковром одела землю. Подснежники, тюльпаны, золотые палочки желтоголова, дикие ирисы и маки пестреют на ней причудливым узором — красные, желтые, голубые, — точно чудесно благоуханный рой ярких мотыльков разлетелся по степи. Утренний ветер, пробегающий по склонам Чингиза с горного перевала, как всегда, прохладен. Он умеряет жару и веет легкой, нежной свежестью.

Но все это сверкание жизни, буйная радость пробуждающейся природы как будто не существовали для двоих обездоленных людей. Перед их глазами только одно: свежая могила с горкой камней, выросшая недавно вон на той сопке. Глаза и сердца их стремятся только туда. Молодые побеги вызывают в них воспоминания лишь о прошлой весне, когда был жив бодрый, веселый Кутжан, — и новые волны непередаваемой горечи теснятся у них в душе.

Кодару недавно перевалило за шестьдесят. Этот седеющий старик — богатырского телосложения. Если бы не горе, с которым он не в силах примириться, ничто на свете не сломило бы его, — так велика была в нем сила жизни. В молодости он был настоящим батыром. Никто не мог поспорить с ним в ловкости и отваге. И до старости сберегал он свое честное имя от всего, что могло его опорочить. Какое дело ему до тех, кто гонится за славой и властью, кто опьянен могуществом и силой? Кодар оставался самим собою и, довольный тем немногим, что имел, вел тихую, замкнутую жизнь в кругу своей семьи. Ни поездки по чужим аулам, ни праздные пересуды его не привлекали. Его мало знали даже в родном ауле, а о дальних и говорить не приходилось. Да он и сам ни с кем не водился, кроме своих немногочисленных сородичей — борсаков и бокенши.

Полгода назад на него вихрем налетело горе, которое и сейчас, словно когтями, рвет его сердце, — смерть его единственного сына Кутжана.

На что теперь надеяться? В чем найти утешение? Ведь у судьбы не вымолишь жалости! Сколько ни думай, выхода не найдешь. Значит, надо гнать от себя черные думы.

Его сноха Камка, любимая подруга сына, чахнет на глазах, безвольная, застывшая в своем горе. Что ожидает ее? Сердцу страшно ответить на это. Когда старик думает, что и она может уйти от него, стать чужой, ему кажется, что это так же ужасно, как смерть Кутжана. Тогда он второй раз лишится сына, — ведь он был отцом им обоим!

Камка и Кутжан так любили друг друга, так хорошо жили, без ссор и раздоров. Она целиком ушла в заботы о новом доме, ставшем родным для нее. Камка была бедной сиротой из племени Сыбан, расположенного далеко отсюда. Кутжан встретил ее во время поездки к родным матери и в ту же ночь умчал ее к себе. Кодар привязался к ней не меньше, чем к сыну. Он был отцом обоим. Он простодушно надеялся, что ему суждено бережно донести до могилы эту любовь и привязанность к детям.

Несколько дней назад Жампеис принес какие-то гнусные, грязные сплетни, которые он услышал в горах от других пастухов. Кодар не совсем понял его, а то, что понял, привело его в ярость. Он и слушать не захотел дальше и приказал Жампеису замолчать. Неужели люди, живущие в довольстве и благополучии, могут так беситься от безделья и выдумывать всякие небылицы? В бреду они, что ли, задают нелепые вопросы: «Почему это Кодар забился дома, точно в нору, и никуда не показывается?» А некоторые прибавляют ехидно: «А для чего сидеть там его снохе? Она-то о чем думает?»

Эти намеки словно тяжелым камнем придавили Кодара. Он понимал эти разговоры и пересуды как желание поскорее подыскать молодой вдове жениха и женить его без калыма, — то есть попросту подсунуть наследника, который прибрал бы к рукам имущество и скот Кодара. И такие коварные замыслы усердно раздувались людьми, выдававшими себя за родных, за сочувствующих! Кодар стал чуждаться всех и не хотел даже, чтобы его навещали. «Хоть бы год оставили ее в покое, хоть бы до поминок». — беспрестанно повторял он про себя. А что будет дальше, об этом он просто старался не думать. И вот холодное дыхание злобной клеветы проникло в его уединение.

Увидев потемневшее лицо Кодара, Жампеис понял, что лучше не растравлять его раны и не рассказывать дальше. К тому же он был неразговорчив, двух слов не умел связать, и передать свою мысль другому было для него великим трудом. Он замолчал.

А дело было так. Недавно на пастбище старый чабан Айтимбет прямо спросил его:

— Говорят, что Кодар живет со своей снохой. Ты знал об этом? У Жампеиса волосы встали дыбом.

— Будь я трижды проклят, если я хоть что-нибудь слышал о таком позоре! Брось, нечестивец, и говорить такое! — весь задрожал он.

Айтимбет не понял — оправдывается он или искренне ужаснулся? Но старый чабан не был ни клеветником, ни сплетником. Он невольно подумал: «Если бы бедняге что-нибудь было известно, вряд ли бы он так возмутился. Значит, или те действительно невиновны, или этот ни о чем не подозревает…» Айтимбет жил недалеко от зимовки Кодара. Он стал расспрашивать бедняков, которые изредка посещали старика, и в конце концов решил, что тот совершенно невиновен, что его опутывает грязная клевета.

Но напрасно бедняки соседи, бывавшие у Кодара и знавшие истину, спорили со сплетниками и твердо стояли за старика, — кто-то старательно продолжал плести паутину лжи. Клевета не только не угасла — она стлалась повсюду едким дымом, обволакивала Кодара.

Видно, мало Кодару одного горя, что на плечи его свалилась эта новая беда! Дня три назад Суюндик нарочно подослал к нему болтуна Бектена. Тот вывел Кодара из юрты и долго петлял языком вокруг да около. А под конец заключил:

— Попробуйте-ка всем заткнуть рты! Добрые люди сочувствуют тебе, пытались было положить конец сплетням, да не смогли! — При этом он упомянул о Суюндике и, как бы к слову, рассыпался в похвалах ему. Затем, опять помучив полунамеками, в упор бросил — Говорят ужасное про тебя и про твою сноху!

Кодар вздрогнул.

— Эй ты. что болтаешь! — угрожающе воскликнул он, точно хотел броситься на Бектена.

— Кунанбай поверил этим сплетням и готовит тебе жестокую кару, — невозмутимо продолжал Бектен. — Но разве может Суюндик предать родственника? Он нарочно прислал меня к тебе- пусть, мол, пока вся эта буря уляжется, Кодар укроется куда-нибудь, уедет подальше!

Кодар в бешенстве вскочил с места.

— Прочь отсюда! Убирайся с глаз моих! Что мне кара Кунанбая, когда сам бог не пощадил меня? Уходи прочь, уходи! — вне себя кричал он на Бектена.

Вспоминая обиду, Кодар и сегодня чувствует, как в нем закипает злоба. Но у него и в мыслях не было поговорить об этом с Камкой. Его отцовское сердце не чувствовало укоров совести. Камка для него — родная, нежно любимая дочь. День за днем они вместе несли свое нелегкое бремя: вместе горевали, вместе тяжко вздыхали, ничего не скрывали друг от друга. Постепенно они так сроднились, что порой казались себе стариками, прожившими вместе всю жизнь, или отцом и единственной дочерью; все у них было общее — все горечи, все несчастья жизни. Они понимали друг друга так, как только доступно человеку понимать человека.

Обо всем они могли говорить искренне, свободно, без стеснения, но сказать своей тихой, безответной, подавленной горем снохе о такой чудовищной клевете Кодар не мог, — у него не повернулся бы язык.

Медленными шагами они дошли до могилы. Кодар не знал поминального чтения. Камка тоже нигде не училась. Приходя на могилу, каждый из них всегда мысленно творил свою собственную молитву: делился своим горем с Кутжаном и тихо упрекал его, зачем он их покинул, и слезы их скатывались на могилу. По многу раз они припадали к ней лицом и, прижавшись друг к другу, молча сидели, не отрывая от нее взгляда. Они знали каждый камешек насыпи. Занесет ли ветер сухую былинку — они уберут ее; разрыхлится ли, осядет ли земля — они разровняют все и сгладят.

Сегодня они тоже долго сидели у могилы.

Вдруг позади них раздался топот: приближались верховые. Ни Кодар, ни Камка не оглянулись, даже не повернули головы. Верховые подъехали к ним вплотную.

Их было пятеро: Камысбай, посыльный Майбасара, Жетпис, дальний родственник Кодара, и трое жигитов из рода Кодара. Сходя с коня, Камысбай пробормотал:

— Ишь, что делает, лицемер!

Они не предполагали застать Кодара и Камку на могиле. Всякий бы растрогался, увидев людей, погруженных в такое глубокое горе. Провожатые Камысбая не решались сойти с коней. Но Камысбай хитер и жесток: дай ему волосы сбрить, он и голову снимет, — самому Майбасару далеко до него.

— Слезайте! — приказал он и заставил всех спешиться. Среди них нашелся один, поддержавший Камысбая.

— Ишь, и головы не повернет!.. Приросла она к могиле, что ли? — злобно сказал Жетпис.

Кодар понял, что они приехали неспроста. Он повернулся и спокойно спросил:

— Что вам нужно, добрые люди? Камысбай ответил вызывающе:

— Тебя требует управитель! В Карашокы собрались все старейшины рода, все знатные аксакалы. Ждут тебя!

— Кто эти старейшины? И кто управитель?

— Управитель — старшина Майбасар, а главный — Кунанбай. Зовут тебя со снохой к ответу. Вставайте, пойдем!

— Ты с ума сошел, что ли? Какое тебе до меня дело?

— Что ты сказал? Как это «какое дело», когда вызывает управитель?

— Будьте вы прокляты за ваши угрозы! — вскрикнула Камка, вскочив с места и вся дрожа от волнения.

— Сами будьте прокляты, пакостники! У, ведьма полосатая! Иди сейчас же! — прошипел Камысбай. угрожающе вертя плетью. И, повернувшись к жигигам, приказал — Взять их! Посадить на коней!

Те кинулись на Кодара.

— Боже немилосердный, чего еще ты хочешь от меня? — в отчаянии вскрикнул Кодар и со всего размаху ударил двоих жигитов, стоявших ближе.

Один, схватившись за лицо, повалился наземь. Но не успел старик оглянуться, как еще трое набросились на него, скрутили ему руки за спину и затянули конским поводом. Камку, как мешок, приволокли к коням и посадили перед Камысбаем.

За Кодаром сел Жетпис, силач огромного роста. Остальные быстро вскочили в седла и помчались на восток, к Карашокы. «Меч занесен, пуля пущена. Что говорить с таким зверем? Буду говорить с самим управителем…»— подумал Кодар и за всю дорогу не сказал ни слова даже Жетпису, хотя тот и приходился ему сродни.

А Жетпис и его буйный брат Жексен как раз и были причиной несчастья, которое обрушилось на Кодара и Камку.

Из сородичей Кодара они были самыми зажиточными. Этой весной, после смерти Кутжана, народ стал упрекать Жексена: Кодар был с ним в близком родстве. Кодар был беден, а теперь потерял сына, осиротел, — что стоило Жексеиу оказать ему посильную помощь? А он даже упряжки для кочевки не дал и оставил Кодара одного на зимовье. Упреки повторялись, и, чтобы избавиться от них, Жексен начал нскать оправдания своей черствости.

— Сердце у меня всегда чует зло и гнушается его. Не в том вовсе дело, что я но хочу помочь ему, — мне противны его гнусности, — сказал он на многолюдном собрании родов Бокенши и Борсак и положил начало всем толкам и сплетням.

Вскоре Суюндик спросил Жексена, что значат его намеки.

— Он, оказывается, спутался со своей снохой. Что же мне прикажешь делать? Возьму его к себе — ты же завтра плюнешь мне в лицо! — объяснил Жексен и в подтверждение привел слова, сказанные Кодаром зимою, во время поминок Кутжана, на седьмой день после смерти.

Тогда Кодар, вне себя от горя, сказал: «Никого у меня не осталось, я один. Господь захотел наказать меня. Ну что же! Лучше я умру гяуром, чем признаю его власть над собою. Раз бог избрал меня своей жертвой, я тоже постараюсь отплатить ему!»

«Что он может сделать создателю?»—будто бы подумал тогда Жексен и пустился в разные догадки. Под конец он решил, что Кодар из мести богу сошелся со своей снохой.

На самом деле Жексена занимало другое. У Кодара был небольшой участок земли, расположенный неподалеку от зимовки Жексена. «Кажется, песня Кодара спета. Если я добьюсь, чтобы род изгнал его, земля достанется мне», — думал он, предвкушая поживу.

И вот гнусная сплетня, словно гонимое ветром пламя, домчалась до Кунанбая. Гром грянул. На многолюдном сборе племени Сыбан Солтабай несколько раз принимался позорить Тобыкты именем Кодара. Когда весть об этом дошла до Суюндика, тот понял, что дело зашло слишком далеко, и опять приехал к Жексену, требуя новых доказательств. Не ограничившись этим, он сам стал расспрашивать окрестных жителей. Простодушные, скромные, далекие от всяких тайных происков соседи и родные Кодара не сомневались в его невиновности. Они рассказали только о том, как он переживает свое тяжелое горе, как подкосила старика раздирающая его сердце печаль.

Но Жексен и Жетпис твердили другое:

— Он только прикидывается удрученным. А чуть ночь, он—за другое…

Суюндик опять не добился ничего достоверного. Но он боялся, что, если слухи подтвердятся, это послужит Кунанбаю новым поводом, чтобы обрушиться на бокенши и борсаков. В беседах со старейшинами других родов он упорно повторял: «Это клевета!» Он решил защищать Кодара и на совещании у Кунанбая. Но тот сбил его с первых же слов.

Вдобавок напортил еще и безбородый Бектен, которого Суюндик сам посылал к Кодару. На обратном пути тот ночевал у Жексена и болтал все, что в голову взбредет.

— Кодар говорит: «Я не признаю ни бога, ни Кунанбая! Как хочу, так и поступаю. Какое вам до меня дело?»— и выгнал меня из дому.

Ради красного словца Бектен сгущал краски и валил на Кодара, как на мертвого.

После совета старейшин у Кунанбая Суюндик старался успокоить свою совесть, убеждая себя, что Кодар действительно виновен. И хотя достоверно никто ничего не знал, страшная гроза разразилась над Кодаром.

4

Карашокы, одна из вершин Чингиза, находится неподалеку от зимовки Кодара. По ее лесистым склонам, покрытым богатой растительностью, протекает бурная река. Тал, осина, кривая горная береза стоят здесь в пышном наряде полного расцвета. Здесь сочные пастбища, привольные места. Издавна обосновавшиеся здесь бокенши и борсаки никому не уступали их.

У многих из рода Иргнзбай давно уже глаза разгорались на Карашокы, где находился аул Жексена.

Сбор был назначен здесь. Аул Жексена состоял из четырех юрт, поставленных под огромной скалой, нависшей над рекою. Жигиты мчали Кодара и Камку сюда.

— Везут! Уже везут! Вот Кодар! — донеслись голоса.

Все сидевшие у Жексена во главе с Кунанбаем вышли из юрты. Жигиты еше не успели отъехать, как толпа, все увеличиваясь, направилась за аул и сгрудилась на поляне.

Здесь лежал огромный двугорбый черный верблюд, привязанный к колу. Между горбами его был набит войлок, сверху положено седло, и все это было обмотано толстой длинной веревкой.

Увидев толпу, Камка, за всю дорогу не проронившая ни звука, вздрогнула. Она повернулась к Камысбаю:

— Послушай, ты же человек. В чем наша вина? Что вы хотите сделать с нами? Убивайте, но скажите прежде…

Камысбай, который до сих пор тоже молчал, заговорил. Слова его дышали ядом.

— Блудила со свекром, с Кодаром? Вот вас сегодня и прикончат! — сказал он и взглянул на Камку.

Камка тихо застонала и начала медленно сползать с коня. Камысбай сам едва удержался в седле. Крепко обхватив Камку, он быстро подъехал к толпе.

Там уже ссаживали с коня Кодара. Поравнявшись с толпой, Камысбай, поддерживая Камку рукою, сперва соскочил сам, а потом снял с коня ее. Бесчувственное тело тяжело грохнулось на землю: Камка потеряла сознание.

Перед Кодаром стояла толпа человек в сто: Кунанбай, Божей, Каратай, Суюндик, Майбасар и другие старейшины Тобыкты, за ними аксакалы и другие знатные люди племени. Ни одного бедно или даже скромно одетого, — здесь собрались все аткаминеры[27] сильных, крупных родов.

Связанный Кодар оглядел толпу. Злоба и гнев клокотали в нем. Увидев в толпе Кунанбая, мрачно уставившегося на него своим единственным глазом, Кодар весь затрясся. Рванувшись в порыве ненависти, старик крикнул:

— Уа, Кунанбай! По твоему, мне мало обиды от бога? Какую еще гнусность ты мне готовишь?

Его прервали крики Майбасара и других старейшин:

— Довольно болтать! Довольно!

— Замолчи!

— Заткни глотку! — завыли со всех сторон. Никто из них никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь осмеливался так дерзко говорить с Кунанбаем.

Кодар пережидал. Когда шум начал стихать, он опять сказал с негодованием:

— Неужели моим позором ты думаешь отомстить судьбе за свой ослепший глаз?

Кунанбай взревел.

— Заткните ему глотку!

Майбасар, грозя плетью, подбежал к старику.

— У, проклятый седой пес! Кодар в ответ крикнул еще громче:

— Если я седой пес, так вы кровавые собаки! Набросились, воете, разорвать норовите!..

Камысбай с четырьмя жигитами кинулся на Кодара и оттащил старика в сторону. Кодар закричал что было сил:

— Не хотите узнать толком, виноват я или нет! Кровопийцы! — Взгляд, который он бросил на Кунанбая, был страшен.

Но петля уже была накинута ему на шею. Четыре жигита быстро поволокли его к черному верблюду. На голову старика накинули мешок. Шесть человек едва сдерживали Кодара, изо всех сил прижав его к боку верблюда. Он хотел было выкрикнуть последнее проклятие, но внезапно почувствовал сильный толчок в спину: верблюд, поднимаясь, толкнул его, — и тотчас что-то твердое, как железо, впилось в горло старика, сжало его, точно обрушившаяся скала. Мир рухнул и обвалился на него… Жизнь сверкнула перед его глазами последней вспышкой пламени — и померкла…

Толпа молчала.

Когда верблюд поднялся. Камка беспомощно повисла с другой его стороны. Ее смерть была мгновенной.

Но Кодар продолжал корчиться — смерть все не могла осилить его богатырского тела. Казалось, оно стало еще крупнее: когда Кодар вытягивался, ноги его едва не касались земли. Народ окаменел в безмолвии. И верблюд, поднявший на себе две человеческие смерти, тоже не издавал ни звука.

Байсал не выдержал: он отвернулся и отошел в сторону. Те, кто пытался говорить, говорили шепотом. Каратай тихо сказал Божею:

— Несчастный, как долго мучается… Никак не умрет… Только сейчас вижу, какой это был великан!

Божей круто повернулся и взглянул на него. Его лицо было мрачно и сурово.

— Твоего великана сожрал шакал! — сказал он и тоже отвернулся от страшного зрелища.

Толпа перешептывалась:

— Жив!.. Он все еще жив!..

Кодар судорожно бился, корчась и дергаясь.

Кунанбай заметил, что негодующий шепот в толпе растет. Муки действуют на нее тяжелее, чем само убийство. Коротким жестом руки он приказал положить верблюда.

Когда животное опустилось, бездыханная Камка, вытянувшаяся во весь рост, распласталась на земле. Кодар, еще живой, свалился, мягко согнувшись. Не дав толпе опомниться, Кунанбай указал на утес и коротко сказал:

— Отнести на вершину! Сбросить оттуда проклятого! Камысбай и четверо других молча взвалили Кодара на верблюда и повезли на вершину горы, — утес с противоположной стороны имел пологий спуск. Кое-кто, не выдержав, хотел было уйти, но Кунанбай остановил всех грозным окриком:

— Не расходись! Стойте все! Толпа опять застыла.

Из лесу быстро выехали два всадника. Они остановились у аула Жексена и, привязав коней у крайней юрты, направились к толпе. Это были Жиренше и Абай.

Тем временем на вершине показались люди, несшие Кодара. Они смотрели на стоявших внизу. Кунанбай отошел в сторону и, рывком опустив руку, дал знак стоявшим на вершине: «Бросай!» Четыре жигита, раскачав грузное тело Кодара, с силой швырнули его с крутого утеса, нависшего над логом.

Истерзанное долгими мучениями могучее тело, не зацепившись ни за один камень, понеслось вниз и тяжело ударилось оземь. Труп упал перед самой толпой. Стоявшие с края услышали, как глухо хрустнули кости…

Как раз в этот миг Жнренше и Абай подошли к толпе. Заметив, что люди напряженно смотрят на вершину утеса, они тоже взглянули туда — и вдруг увидели человека, стремглав летящего вниз будто на больших распластавшихся крыльях — так развевалась его одежда. Жиренше бросился вперед. Абай закрыл глаза руками и бессильно опустился на землю. Все кончено… Несчастный погиб…

О, если бы он поспел вовремя! Он умолил бы отца пощадить Кодара. Он опоздал. И он не в силах теперь видеть этих людей. Бежать к коню, ускакать… Но в эту минуту толпа, молчавшая до сих пор, загудела.

— Бери ты!

— А ты что же?

— Бери сам!

Крики росли, сливались, перебивая друг друга. У многих в руках появились камни. «Драка!»— мелькнуло в голове у мальчика.

Но драться никто и не думал. Едва ударилось о землю тело Кодара, Кунанбай отдал приказание:

— Душа его все еще в теле. Чтобы избавиться от проклятого, пусть сорок избранных из сорока родов Тобыкты забросают его труп камнями! Ну! По одному из каждого рода — берите камни!

И он поднял камень. Потом, повернувшись к Божею и Байсалу, повторил:

— Берите! — В голосе его звучал неумолимый приказ. Те повиновались.

— Так повелевает шариат. Кидайте! — громко произнес Кунанбай и первый бросил камень в грудь Кодару.

Вслед за Божеем и Байсалом еще кое-кто нагнулся за качнем, но остальные заспорили, убеждая друг друга начать.

Приближаясь к толпе, мальчик видел, как люди поочередно, одни за другим, бросали каменья. Жиренше, подталкивая Абая, сказал ему на ухо:

— Смотри, видишь того старика? Это сородич Кодара. Жексен, знаешь? У, пес старый!

Жексен показался Абаю настоящим убийцей. Мальчик кинулся к нему. Но тот уже размахнулся и, крикнув: «Сгинь, дух нечистый, сгинь!», с силой швырнул большой камень в Кодара.

Только теперь Абай увидел распростертое на земле тело. Череп был уже размозжен… Сердце Абая облилось кровью, злоба вскипела в нем.

— Ой, старый шайтан! — вскрикнул он и ударил Жексена кулаком по затылку.

Жексен быстро обернулся, думая, что кто-то, размахиваясь, задел его. Перед ним стоял сын Кунанбая.

— Ой, злой старый пес! — негодующе кричал Абай. Жексен растерялся.

— Э, ну что ты, мальчуган!.. Разве это я? Уж если ты такой батыр — вон позади тебя твой отец, — пробормотал он, не зная, что сказать.

В толпе заволновались:

— Что случилось? Что там такое?

Но Абай уже подбежал к своему коню. Отвязывая повод, он услышал тихий жалобный плач, доносившийся из крайней юрты.

Это плакали женщины. Одних сотрясали беззвучные рыдания, другие тихо стонали. Ни одна не смела плакать в голос, но удержаться от слез они были не в силах. Женщин и детей перед казнью согнали в эту юрту. Им пригрозили — и оттого они плакали, чуть слышно всхлипывая.

Точно стрела ударила в грудь Абая… Он прыжком вскочил на коня и погнал его в степь.

Жексен, вероятно, уже успел пожаловаться Кунанбаю. Мальчик услышал суровый окрик отца:

— Стой, негодный! Получишь ты у меня!

Но Кунанбай только погрозился, а сказать: «Догоните и приведите его», — он не решился.

Абай мчался к себе в аул. Жиренше догонял его.

— Эй, буян! Подожди, Абай!.. Стой ты, Текебай![28] — кричал он вслед, тут же придумав новое прозвище.

Они бешено скакали и скоро исчезли в долине.

Толпа, собравшаяся для того, чтобы убить двух людей, и совершившая свое страшное дело, расходилась в разные стороны. Старейшины, сев на коней, разъезжались в полном молчании.

Только Божей, ехавший вместе с Суюндиком и Каратаем, проговорил со вздохом:

— Раньше за убийство сородича-мужчины ты мог требовать выкуп. А попробуй-ка тут не то что выкуп потребовать, а просто заикнуться об обиде! Сам убил! Сорок родов вместе с тобой забросали камнями… своими руками… Вот теперь и скажи хоть слово!

Каратай сказал:

— Самое страшное из повеления шариата Кунанбай приберег к концу… Выходит, в законе — простор для уловок и хитрости! И шариат на руку Кунанбаю!

Суюндик был глубоко подавлен.

— Пусть забудется все, что случилось! Молю бога, чтобы дело кончилось этим! — сказал он.

Но Божей на своем веку повидал многое. Он лучше других мог разгадать Кунанбая.

— Кончилось? — горько вздохнул он и добавил — Бокенши и борсаки, помяните мое слово: не на Кодара вы накинули сегодня петлю. Несчастные, с божьей помощью вы накинули ее на свою собственную шею!..

Эта мысль взволновала всех. И они молча продолжали свой путь.

5

Абай и Жиренше не думали, что им придется сегодня быть свидетелями такого ужасного зрелища. Аксакалы и старейшины старательно держали все в тайне и ни во что не посвящали народ. Никто и не подозревал, что готовится такое дело.

Утром Жиренше привел в аул Кунанбая гончую тигровой масти. Ее появление вызвало целый переполох, все дети высыпали на улицу. Зачинщиком шума был озорник Оспан.

Жиренше с гончей подъезжал к Гостиной юрте. Едва увидев его, Оспан закричал:

— Возьми, возьми его! Куси! Жолдаяк, Борбасар![29]

Он всполошил всех желто-пегих овчарок в ауле Кунанбая, — Жиренше старался уговорить его:

— Оспан, радость моя! Ты же умник, не делай этого! Перестань! Но, как видно, лесть не действовала на Оспана.

— Борбасар, айт, айт! — кричал он с громким хохотом и вихрем летел по аулу, натравливая собак на гончую.

Жиренше уже успел подъехать к Гостиной юрте. Он спрыгнул коня и обнял гончую за шею, стараясь защитить ее. Десяток овчарок, выскочивших из тени юрт, злобно рыча, окружили его тесным кольцом. Жиренше не мог ни зайти в юрту, ни двинуться с места. И чем больше он уговаривал мальчишку, тем громче смеялся тот и тем настойчивее натравливал своих собах.

— Ар-рр! — поощрял он их, сам кидаясь вперед.

Но старым овчаркам, видимо, надоело науськиванье Оспана и лень было кидаться на беспомощную жертву — они ограничивались громким рычанием и лаем. В Большой юрте Улжан услышала поднявшийся шум и повернулась к сидевшему за завтраком Абаю.

— Пойди, Абайжан, уйми проклятых собак… Этот дуралей опять всех перемутил! — сказала она.

Абай быстро отогнал собак и повел Жиренше в Гостиную юрту. Оспан, обиженный, что его лишили забавного зрелища, тихонько подкрался сзади и ущипнул Жиренше за икру. Тот перепугался, вообразив, что его кусает собака, рванулся в юрту, со всего размаху ударился головой о косяк двери и в один прыжок оказался у переднего места. Оспан залился торжествующим смехом и стал дразнить Жиренше:

— Ой, трус, трус!

Стройная, в большом ошейнике черномордая гончая, с отливающей, как у тигра, шерстью, очень понравилась Абаю.

— Как ее зовут? — спросил он у Жиренше.

— Желкуйин.[30]

— И кличка хорошая!

— Кличка по ней: настоящий вихрь, зайца в один миг сшибает. Жиренше любил повторять эту похвалу, сказанную известным охотником, жившим с ним в одном ауле. И это окончательно покорило Абая, любовавшегося гончей.

— Поедем, поохотимся на зайцев!

— Что же, поедем… Лошадь у тебя есть? Я и сам ехал на охоту… Пока седлали буланого четырехлетка Абая, друзья успели зайти в юрту и напиться кумысу. Вскочив на коней, они направились на запад, к невысоким холмам, носившим название Кзылшокы.

Там с азартом неистовых охотников они погнались за зайцем. Тот долго спасался от них, выдерживая расстояние, и только после трех-четырех перевалов Желкуйину удалось нагнать и схватить его. Больше зайцев им не попадалось. В поисках дичи они добрались до самого крайнего выступа Кзылшокы, примыкавшего к Чингизу.

Тут им встретился верховой. Это был один из посыльных Майбасара — Жумагул. Он посоветовал Жиренше:

— Ехали бы вы лучше на Карашокы. Там сегодня судят Кодара, весь народ туда съезжается.

— А где Кодар? Где его сноха?

— За ними поехали жигиты, привезут обоих… Сбор в ауле Жексена, — и Жумагул, хлестнув коня, помчался дальше.

Жиренше предложил Абаю:

— Поедем, поглядим!.. Ну, едем, едем! — и он увлек за собой мальчика, не дав ему опомниться.

Страшная казнь совершилась у них на глазах.

Теперь они мчались обратно лесистым берегом реки. Леденящий холод сковывал Абая. Сердце мальчика, все его чувства — все замирало в ужасе перед поступком отца, перед кровью, забрызгавшей руки Кунанбая. Его родной отец так жесток, так бессердечен!..

На оклики Жиренше Абай не отвечал. Он летел вперед то вскачь, то быстрой рысью. Гончая стлалась в беге перед его конем. Они проскакали берегом, а потом стали огибать склоны широко раскинувшегося хребта. Дорога здесь была узкая — одна тропинка, по которой вдвоем не проедешь, на такой дороге быстро ехать и разговаривать трудно. Но Жиренше, нагнав Абая и следуя за ним по пятам, не переставал болтать. В ауле Жексена он успел потолковать с жигитами, и ему хотелось сейчас же поделиться новостями с Абаем. Мальчик, подавленный виденным, дрожащий, как в лихорадке, не понимал половины его слов, но главное он уловил.

Две крылатые фразы переходили в толпе из уст в уста. Первая как раз и послужила поводом к обвинению Кодара и принималась как оправдание совершенной над ним чудовищной казни. Кодар говорил: «Бог покарал меня, но я тоже отплачу ему», — так повторяли сегодня убийцы. Вторую фразу Кодар бросил перед смертью: «Если я седой пес, то вы — кровавые собаки…»

Абай был потрясен. Ему вспомнился тихий, жалобный женский плач, раздававшийся в юрте. Неожиданно для самого себя Абай вдруг разразился слезами. Жиренше заметил это, хоть и ехал позади Абая.

— Ой, что ты, озорник Текебай! Что с тобой? — удивленно допытывался он и тронул коня, чтобы поравняться с Абаем.

Но тот хлестнул коня и снова ускакал вперед.

Они уже миновали горные овраги и спустились на широкую равнину. Абай повернул своего буланого к Кольгайнару и несколько раз хлестнул его нагайкой. Ему не хотелось, чтобы Жиренше видел его слезы. А тот вскачь старался нагнать мальчика. Но разве его догонишь? Он ускакал уже на расстояние пущенной стрелы и, мчась по степи один, перестал сдерживаться и залился неудержимыми слезами.

За последние годы он ни разу не плакал. А сейчас не мог успокоиться и, словно весь растаяв, плакал навзрыд. Он пустил коня во весь опор, тучная зеленая степь летела навстречу и мимо, — так во время весеннего половодья мчится широкий поток, бурный и стремительный, мощный и волнующийся. Встречный ветер бил в лицо, в глаза Абая, срывал его слезы, уносил в степь…

До сих пор Абай не переживал ничего подобного. Он был далек от мира человеческих страданий, но теперь сразу постиг всю их глубину, и его сердце всей силой чувства откликнулось на них. В нем рождалась жалость к невинно погибшим, к жестоко и бесчеловечно поруганным жертвам, закипала злоба и ненависть к убийцам.

«Отец» — какое это родное, теплое слово!.. И один голос в нем настойчиво защищал отца, отгораживал его от всего жестокого и преступного, а другой твердил и твердил о сегодняшнем зверском убийстве… И от ужаса путались мысли, противореча друг другу.

Ему вспомнились слова, которые он слышал еще в медресе. Наставник поучал: «Плач и слезы человеческие облегчают вину грешников, искупают их преступления». Неужели его слезы — это искупление убийцам? Он тут же отбросил эту мысль: «Нет, это не так!»

Ведь убийцы говорили, что делают это во имя веры, по велению закона, подтвержденного имамом. Значит — жаловаться некому? Значит— он один в безмолвной пустыне? И внезапно он почувствовал себя беспомощным, бесприютным сиротой. Новая волна чувств, клокочущая и бурная, хлынула откуда-то из неведомой глубины и, как о берег, всею силою ударила в его хрупкую детскую душу. Абай зарыдал еще сильнее. Слезы ручьем текли по его лицу.

Он рыдал громко, в голос. Только бы не услышал Жиренше!.. И мальчик продолжал мчаться вперед.

Укачала ли его непрерывная скачка, или молодое сердце не вынесло душевного волнения, но внезапная рвота сдавила его грудь, выворачивая все внутренности. Тело и душа слились в равной и невыносимой муке.

И все-таки он не остановился. Ухватясь за гриву лошади, чтобы не упасть, он продолжал скакать.

Жиренше так и не смог догнать его. Примчавшись в Кольгайнар, Абай спрыгнул с коня и направился к юрте матери.

Улжан стояла у входа. Когда сын подошел ближе, она взглянула на него, и сердце ее болезненно сжалось. Абай был смертельно бледен, изменившееся его лицо показалось чужим. «Померещилось мне, что ли?»—подумала она и вгляделась пристальней. Да, это был Абай. Но в каком ужасном виде!.. Привязав коня, он подошел к ней, и мать увидела его покрасневшие от слез глаза.

— Абайжан, свет мой, что случилось? Кто тебя обидел? — тревожно спросила она. У нее мелькнула мысль — не побил ли его отец?

Они были одни. Абай молча обнял мать, прижал горячую голову к ее груди и застыл, неподвижный. Как мог он забыть, что он не один, не беззащитный сирота, что у него есть мать!..

Он дрожал всем телом, точно в сильных рыданиях. Но слез на его глазах уже не было.

— Расскажи, солнце мое, что случилось? Отец побил, да?

— Нет, никто меня не бил… Все потом расскажу… Апа, постели мне, спать хочу, — ответил он и, так и не выпуская мать из своих объятий, вместе с нею вошел а юрту.

Улжан терпелива: она не стала больше расспрашивать сына, не надоедала ему. Приготовив постель в правой части юрты, возле лежанки Зере, она молча уложила сына и укрыла его своей лисьей шубой.

Но бабушка сразу заметила неладное.

— Что ты, душа моя? Заболел? — спросила она. Улжан поспешила ответить:

— Да. прихворнул. Не надо его трогать, пусть выспится. Вызвав прислужницу, она тихо приказала:

— Закрой тундук, чтобы солнце его не беспокоило, и опусти дверь.[31]

Бабушка пристально посмотрела на Абая, отвернувшегося к стене, и удивленно зачмокала. Потом она начала читать молитву, беззвучно шевеля губами.

Улжан недоумевала: куда делся Жиренше— ведь Абай с утра поехал с ним? Но вот на дворе залаяли собаки, и она вышла наружу. Жиренше стоял возле Гостиной юрты, привязывая коня. Не отходя от двери, Улжан подозвала его и стала расспрашивать.

Жиренше выложил ей все. Он рассказал и об утренней охоте на зайцев, и о том, что было в ауле Жексена, и о том, как вел себя Абай на обратном пути. Под конец он спросил:

— А где же он сам?

Улжан ответила, что Абай спит, и холодно посмотрела на юношу. В голосе ее звучала досада.

— Вот что, милый мой, ты уже не дитя и должен соображать, что делаешь. Поехать самому — еще куда ни шло. Но зачем ты потащил Абая в такое место? Ведь он еще ребенок! Хоть бы подумал, что он может испугаться и заболеть…

Жиренше не знал, что отвечать. Он растерялся и покраснел.

— Да *я*  и сам жалел потом… Но, клянусь богом, мы и не думали, что увидим, как убивают Кодара!

— Будь добр, никогда больше не води Абая в такие места. Да и сам не ходи, ты — еще юноша…

Совсем смущенный, Жиренше молча ковырял землю рукояткой плети. Улжан ушла к себе. Жиренше, не задерживаясь дольше, сел на коня и уехал со своей гончей.

Абай проснулся только к вечеру, когда вернулись стада и аул наполнился блеянием ягнят. Овец доили поздно, было уже темно. Кругом стоял гул. Сквозь этот шум и гам страшные, но неясные, словно подернутые дымкой, видения возникали перед глазами Абая. Голова его разламывалась, тело пылало, точно в огне, во рту было сухо, губы потрескались. Он провел по ним языком, чмокнул, хотел сглотнуть слюну, — напрасные усилия: во рту все пересохло.

Возле него сидели мать и бабушка. Улжан опустила голову, приложив ладони к его лбу.

— Апа… Бабушка… Что я, заболел? Да? — спросил он.

— Да, тело у тебя горячее. Что у тебя болит? — спросила Улжан. Поворачиваясь на бок, Абай почувствовал острую боль а висках. Он сказал об этом.

Пока он спал. Улжан успела рассказать свекрови обо всем, что произошло с мальчиком. Обе решили: «Сильно испугался — вот и заболел!» Зере бранила Жиренше и всех аксакалов и сердито плевала на землю.

Абай сразу заметил, что им обеим все известно.

«Отец!.. Отец!..»— снова молнией пронеслось в его мозгу. Он тяжело вздохнул, провел рукою по груди и сказал едва слышно:

— Какой он жестокий! Какой бессердечный!..

В первый раз мальчик высказал вслух свои мысли об отце— мысли, которые до того теснились в его мозгу бессвязными, полуосознанными обрывками.

Бабушка не расслышала его. А Улжан сидела молча и ничего не ответила сыну. Тогда свекровь стала подталкивать ее коленом: скажи, мол, что говорит Абай.

— Об отце вспомнил. Говорит — жестокий, почему не сжалился, — ответила та ей на ухо.

Зере вздохнула и, не отрывая взгляда от внука, долго гладила его по голове.

— Любимый, светик мой, ягненок ты мой… Не сжалился, говоришь?.. Не знает он жалости!

Она подняла к небу лицо с полузакрытыми глазами и прошептала:

— О боже, прими мое скорбное моление! Огради радость души моей от губящей злобы отца! Отведи от дитяти жестокость и бессердечность его, создатель наш!.. — Она провела по лицу беспомощными, старчески скрюченными пальцами, благословляя внука.

Улжан прошептала:

— Аминь.

Абай тоже провел руками по лицу.

Две матери… Между ними дитя, раненное в самое сердце. И в таинственных сумерках, когда темные силы носятся по земле, выискивая свои жертвы, все трое молча молились о мире, благости и любви.

Абаю показалось, что он снова вернулся к безмятежной радости детства, к его сияющей ясности и умиротворенности. На душе стало легче, но головная боль усилилась и поднялся жар.

В юрте настало молчание. Шум, поднятый вернувшимися овцами и ягнятами, становился все глуше и глуше— и наконец смолк. В степи сегодня было необычайно тихо.

Внезапно с края аула донеслись какие-то странные, заунывные, раздирающие сердце звуки.

— Ой, родной мой!.. Ой, родной мой!.. — рыдал кто-то, мчась на коне.

По обычаю, когда кто-нибудь умирает, верховой с криком и стонами скачет по аулам. «Ой, родной мой!»— начальные слова горькой вести. Ужасная мысль мелькнула в голове Улжан: не случилось ли несчастья с кем-нибудь из близких? Может быть, с самим Кунанбаем? Она вся задрожала и стала напряженно прислушиваться. Нет, ей просто послышалось от страха: конского топота не было. Но плач и стоны раздавались где-то совсем близко.

Абай понял все раньше других: голос был детский, но ловко передающий обрядовый плач взрослых, — это вопил Оспан…

Он возвращался с поля и поднял вой, не слушая старших, убеждавших его, что такие шутки не к добру.

— Ой, родной мой Кодар! — голосил он и, шлепая себя по бедрам, вприпрыжку мчался меж юртами.

Весть о смерти Кодара быстро разлетелась по аулам, и мальчишка подхватил ее. Сперва он выбрал открытое место у ручья, собрал целую ватагу ребятишек, и там несколько раз подряд поднимался похоронный плач. Потом они нашли сухую кость, выкопали ямку, похоронили кость, как покойника, и понеслись в разные стороны с шумом и криками.

Улжан не на шутку рассердилась на Оспана: Абай болен, а озорной мальчишка так напугал их всех своим воем.

— Поди-ка сюда, сынок! — сказала Улжан. — Поди сюда!

Она подозвала его спокойно, без малейших признаков недовольства в голосе. Если его бранить, он по обыкновению огрызнется и удерет, потом его и не поймаешь. А сейчас он без всякого страха через всю юрту бросился мимо Абая к матери и в один прыжок очутился у ее колен.

Улжан схватила его за левую руку.

— Что это ты выдумал — передразнивать похоронный плач! Было тебе сказано, что это не к добру? И ты выдумываешь такие шутки, когда болен Абай! У, пустоголовый! — сказала она сердито. Сильно дернув Оспана, она повернула его и несколько раз шлепнула по заду.

Оспан никогда не плакал, когда его бил отец: тот не обращал внимания на его слезы. Когда же его шлепала мать, он ревел во весь голос. Сейчас он тоже взвыл, стараясь поднять как можно больше шума. Вырвавшись из рук матери, он подбежал к высокой кровати, стоявшей в левой стороне юрты, лег, уткнулся лицом в подушку и продолжал реветь. Плач не помогал, — на этот раз мать и не собиралась жалеть и успокаивать его. Оспан скоро понял это. Слезы его уже высохли, но он все притворялся, что плачет, и порой испускал дикий крик. Наконец ему и самому надоело реветь, и он опять принялся за прежнее. Вполголоса он снова стал повторять.

— Ой, родной мой!

Он исподтишка посматривал в сторону матери: та не шелохнулась. Он повторил еще раз — и наконец опять разошелся:

— Ой, родной мой Абай!.. — заунывно затянул он.

Абай, несмотря на головную боль, невольно рассмеялся.

Но Оспан заметил, что грузное тело матери зашевелилось: очевидно, она собиралась встать. Предвидя недоброе, он не дал ей времени повернуться и проворно соскочил с постели.

— Ой, родной мой Абай!.. Абай!.. Абай!.. — прокричал он во весь голос и опрометью бросился к выходу. Мать успела подняться, но схватить озорника ей не удалось.

— Эй, кто там? Поймайте его! Притащите ко мне этого полоумного! — крикнула она.

Оспан торжественно прошелся несколько раз взад и вперед перед юртой, а затем помчался на самый край аула, — он вовремя заметил своего старшего брата Такежана, собиравшегося исполнить приказ матери.

6

Абай болел долго. Одни говорили, что у него «ушик», другие — «сопка»,[32] третьи — тиф; каждый гадал по-своему, и никто не мог сказать точно. А что хуже всего — никто не брался лечить.

Только один раз — на второй день болезни — по приказанию бабушки одна пожилая женщина на закате солнца вывела Абая из юрты и несколько раз похлопала его горячими легкими только что зарезанного барана.

— Сгинь, нечистая сила, сгинь! Оставь сына моего! — говорила она и, повернув Абая лицом к заходящему солнцу, продолжала свое удивительное лечение, опрыскивая мальчика водой изо рта.

Ноги не слушались Абая и дрожали, голова кружилась, он с трудом выбрался из юрты. Может быть, оттого, что у него потемнело в глазах, западный край неба, полыхающий в огне закатных лучей, казался ему совсем особенным. Сказка это или сон? В этом полубреду мир выглядел новым и странным…

Через два дня аул откочевал на Чингиз. За несколько дней перед тем распорядители кочевки расспрашивали проезжих: оттаяла ли почва на жайляу, высохла ли земля, поднялась ли зелень? Обычно подножия Чингиза оттаивали быстро и сразу покрывались пышной зеленью; склоны же прогревались медленно, и трава на них пробивалась скупо, — слишком много выпадало на них снегу, покров его был слишком толст.

Широкие, богатые водой и пастбищами жайляу всех родов Тобыкты находились по ту сторону хребта Чингиз. Едва тронулся с Кольгайнара аул Кунанбая, другие ближние аулы тоже дружно снялись со своих мест. Они шли целой лавиной, разными тропами перебираясь через горные перевалы.

Если бы Абай был здоров, то дни кочевки были бы для него днями непрерывных удовольствий, веселья, скачек. Весенняя кочевка через трудные перевалы Чингиза тяжела для взрослых — для пастухов, табунщиков и «соседей». Для детей и подростков это сплошная цепь развлечений. В прошлые годы все десять перегонов кочевки от Кольгайнара до реки Байкошкар, протекающей по ту сторону Чингиза, Абай проводил, как веселый праздник.

В этом году аул откочевал туда же. На пути Абаю знакомы все места остановок. В некоторые урочища аулы приходили утром, останавливаясь на целый день, и к вечеру двигались дальше. Кочевку проводили спешно, и даже там, где приходилось оставаться два-три дня, больших юрт все же не ставили, а разбивали только легкие маленькие юрты и уютные низенькие палатки и шалаши.[33] Каждый устраивал себе жилище по своему вкусу, как кому нравилось, точно по пути на жайляу все сговорились играть в «аул-аул», «шалаш-шалаш» и «курке курке».[34]

Во время кочевки аулы, даже далеко отстоящие один от другого, съезжаются вместе. Они появляются бог знает откуда и следуют одним сплошным потоком. Сходятся люди, смешиваются стада, и в эти дни трудно отделить одни аул от другого.

Но если для кого-нибудь кочевка — удовольствие, то чабанам и табунщикам она доставляет бесконечные хлопоты, неисчерпаемые заботы, сплошную муку: то расседланные кони забредут в чужой табун, то ягнята одного аула смешаются со стадом другого, то овцы перепутаются так, что не разобрать… В такой неразберихе ягнята и бараны беззащитной бедноты становятся добычей любителей чужого добра по завету: «Пальцем придержи, глазом подмигни».[35] И сколько аткаминеров, оберегая свое стадо, потрошат в ночной темноте живую «прибыль», оказавшуюся в их табуне, и торопливо — полусырую — съедают у костров!..

В этом году аулы тронулись особенно дружно, снявшись одновременно, и двигались по степи вместе. К тому же и волки не давали покоя кочующим, заставляя их держаться ближе друг к другу. Места были глухие, хищники бродили здесь целыми стаями. До прихода кочевок они рыскали по склонам гор, питаясь мышами и сурками; теперь они пользовались случаем и в ночное время нагло нападали на стада. Большинство аулов на всю ночь ставили у отар конную охрану. Вокруг стоянок жгли костры и до самой зари не переставали шуметь. Как отличаются эти дни со всеми их неожиданностями и опасностями от обыденной спокойной жизни! Днем — все на конях, в движении, у мужчин всегда наготове пики, соилы и секиры; смотришь— и кажется, будто двинулось в поход вооруженное войско!

Но нынче кочевка, проходившая так же, как и в прошлые годы, была мучительно тяжела дли Абая. Никакой особенной боли он не чувствовал, но и здоровым не был. При малейшей попытке двинуться у него темнело в глазах, кружилась голова, и он беспомощно валился с ног. Но нельзя же было из-за болезни мальчика откладывать кочевку!

Кунанбай обычно заглядывал к Улжан раз в три-четыре дня. Большую часть времени он проводил у младшей жены — красавицы Айгыз, и нередко заезжал к старшей жене — Кунке. У Кунке был свой отдельный аул, и во время переезда на жайляу Кунанбай двигался с ее кочевкой.

В начале болезни Абая он раза два осведомлялся о его здоровье, а потом точно вовсе забыл о нем.

Ехать верхом Абай был не в состоянии. Можно было бы устроить его на верблюде, но мать не разрешила. «Того и гляди вьюк свалится, либо верблюд споткнется — мальчика задавить могут», — говорила она.

Кочевой парод не знает тележек, и в ауле была только одна, на которой обычно ехали бабушка и Улжан. Это была голубая повозка Зере, первая и пока единственная во всем Тобыкты. Когда Кунанбая избрали ага-султаном, он купил ее в Каркаралинске, «Во время кочевки тебя будут возить в ней», — сказал он матери.

Улжан тоже становилось все труднее ездить по горам верхом, — она старела и тучнела. Но сейчас Улжан думала только об Абае. Пожертвовав собственными удобствами, она посадила сына с бабушкой в повозку, а сама села на смирную гнедую кобылу и, не отставая, ехала за ними.

Кочевка заняла около трех недель. Только к концу ее Абай стал двигаться без посторонней помощи и выходить из юрты.

Душевное его состояние тоже стало лучше. Казалось, ему пора уже было вернуться к прежней детской беззаботности, мальчишеской резвости и веселью. Но странно: в этом году, особенно за последнее время, он сильно охладел к детским забавам и шалостям. Ребяческие игры, полные раньше увлекательной прелести, больше не манили его. Он словно утратил свое детство. Может быть, это следствие тяжелой болезни? Или мучительные переживания последнего времени омрачили его душу? Неужели детство ушло безвозвратно и он стоит на пороге зрелости? Но зрелость еще не пришла — он остановился где- то на полдороге, будто наткнувшись на высокую стену, неопределившийся и растерянный.

В этом году ему исполнилось тринадцать лет, и внешне Абай тоже был где-то на полпути — ни юноша, ни мальчик. Ростом он был уже высок, руки и ноги удлинились. Раньше он казался курносым, а теперь нос его заметно выпрямился. Выражение лица стало не по-детски серьезным, но в его фигуре еще не было законченности. Он похудел и вытянулся. Он напоминал растение, выросшее без солнечных лучей: белесое, слабое, с длинным хрупким стеблем.

Раньше на его смуглых щеках всегда играл румянец. Теперь же — от долгой ли жизни в городе, или от перенесенной болезни — лицо его побледнело, черные волосы поредели и меж ними светлела кожа; было сразу видно, что он болел и долго не видел солнца.

Вместе с внешностью резко изменился и его характер. Сейчас он вполне мог бы ездить верхом, но его никуда не тянуло. Он избегал сверстников и нашел себе других друзей: лучшим его другом стала бабушка, после нее — мать.

Только в этом году Абай сумел оценить, какой чудесной рассказчицей была Зере. Она говорила увлекательно, захватывающе, целиком овладевая вниманием слушателя.

Началось это так.

Как-то во время болезни Абай не мог сомкнуть глаз от мучительной боли и попросил бабушку рассказать ему что-нибудь. Та сперва задумалась, а потом начала говорить— и казалось, не слова, а жемчужины нанизывала она на длинную нить.

Э… века скрывает туман…

Кто постиг, что таится в них?..

— начала она нараспев. Слова эти врезались в память Абая. И в следующий раз он только дотронулся рукой до ее колена и тихо напомнил:

Э… века скрывает туман…

Кто постиг, что таится в них?..

Это была просьба о новых чудесных рассказах.

Зере знала много: «Эдил-Жаик» «Жупар-Корыга». «Кула-Мерген» и другие легенды. Абай заставлял бабушку рассказывать с утра до вечера, даже в пути.

И когда он наконец выздоровел, старая Зере не прекращала своих рассказов. Она говорила и о том, свидетельницей чего была сама, и о том, что ей приходилось слышать. Ее рассказы о борьбе между родами заняли несколько дней… И мальчик узнал, как лет двадцать — тридцать назад племя Наймам устроило набег на эти места, на этот самый аул; как во время набега погиб ее приемный сын Бостанбек; как тобыктинцы взяли в плен акына племени Найман— Кожамберды и как полтора года он жил здесь в оковах. Зере помнила наизусть его длинные песни. Она рассказывала внуку и о других походах, о Караморской битве, о многом ином. Потом она перешла к печальным историям Калмакана и Мамыр, Енлик и Кебека.

Абай не уставал слушать бабушку, весь поглощенный ее речью, сосредоточенный и внимательный. А когда она утомлялась и эамолкала, Абай шел к матери. Улжан знала тоже много рассказов, но больше всего он любил, когда мать читала ему стихи. Неграмотная, годами не повторявшая их никому, она бережно хранила стихи в памяти, и это удивляло и восхищало Абая. Она целыми днями могла передавать жыры,[36] айтысы,[37] назидания в стихах.

Чтобы подбить женщин на новые рассказы. Абай и сам иногда читал им стихи из книг, которые привез из города. Так он прочел «Жусупа и Зюлейку», тут же переводя и объясняя непонятные матерям персидские слова. Он вызывал их самих на рассказы и снова принимался слушать.

Как страшны были повествования Зере о набегах и грабежах! Вся мрачность жестоких народных бедствий и разорения, вся горечь человеческого унижения вставали перед ним в этих рассказах.

Как-то в разгар их захватывающей беседы издалека приехали два гостя: старик и юноша. Молодого Абай знал раньше и страшно обрадовался, увидев его. В прошлом году тот побывал у них на жайляу, прожил трое суток и спел им длинную песню «Козы-Корпеш и Баян-Слу». Это был акын Байкокше. Второго, старика, Абай раньше не видел, но Улжан его знала хорошо.

Когда окончились взаимные приветствия и расспросы о семьях и хозяйстве, Улжан с улыбкой обратилась к Абаю:

— Вот, сынок, ты все надоедал нам — то мне, то бабушке… А теперь перед тобою сокровищница рассказов и песен… Это — акын Барлас.

У Барласа узкая серебристая борода, почтенная внешность и звонкий голос. Он сразу понравился Абаю. Этот не такой, как другие старики, которые стараются держать про себя все, что знают!

У Барласа открытая душа: откровенный, разговорчивый, он сразу повел себя так, как будто целый век прожил в этом ауле и был здесь своим человеком.

— Э, сынок, недаром говорится:

Песня акына — потоки вод неземных.

Слушатель — мел, жадно вбирающий их!..

— сказал он, с мягкой улыбкой посмотрев на Абая. — Уважения достоин тот народ, который умеет говорить и слушать. Коли тебе не надоест слушать, Байкокше не устанет рассказывать.

После переезда на жайляу в аул Улжан стали часто наезжать гости из отдаленных аулов. Барлас был из племени Сыбан. Кочевья Сыбана на жайляу оказались невдалеке от аулов Кунанбая, и Барлас воспользовался этим, чтобы повидаться с друзьями. По дороге к нему присоединился Байкокше из племени Мамай. Байкокше — ученик Барласа в песенном искусстве. Из года в год он сопровождает в летнее время Барласа и проводит с ним неразлучно несколько месяцев.

Радушие окружающих сразу подняло настроение акынов. Вечером, пока варилось мясо, Барлас пел песню «Кобланды-батыр». Она показалась Абаю самой красивой, самой увлекательной и сильной из всех когда-либо читанных или слышанных им. Барлас кончил петь и поднялся, чтобы вымыть руки перед едой. Абай спросил его:

— Как звали того, кто сложил эту песню?

— Говорят, она сложена в незапамятные времена, дитя мое. Но Садакен утверждал, что такою он слышал ее от акына Младшей орды— Марабая.

Садакен, которого назвал Барлас— был знаменитый акын Садах.

Особенно понравились Абаю прощание Кобланды, скачка Тайбурыла и единоборство Казана и Кобланды. От волнения он долго не мог заснуть в эту ночь.

Улжан и на следующий день не отпустила Барласа и Байкокше.

— Оставайтесь! Куда вам торопиться? Погостите у нас еще несколько дней! — уговаривала она.

Эта просьба — желание Абая. Раньше он думал, что все разумное и поучительное — только в книгах, что знание и искусство живут в медресе. Разве могло что-нибудь сравниться со сказаниями Низами, Навои и Фнзули, с тонкой лирикой Шайх-Саади, Хожи-Гафиза, с героическим эпосом Фирдоуси? Он не знал еще, что у казахов есть Асан-Кайгы, Бухар-жырау, Марабай, Садак и целая сокровищница — «Козы-Корпеш» и «Акбала-Баздык».

Оттого ли, что в услышанных им песнях был особенно понятен язык и близки события, или от волнующих напевов Барласа и Байкокше, голоса которых то взвиваются в вышину, то тихо стелются и журчат, то несутся, как вихрь, или, наконец, от звуков домбры, ласкающих слух, — кто знает? — но Абаю казалось, что никогда он не слыхал ничего лучше песен Барласа и Байкокше.

Целыми днями до позднего вечера Абай не отходил от акынов. С их приходом юрта Улжан превратилась в место постоянных сборищ.

К полудню, когда в ауле кончали привязывать жеребят, все жители собирались пить кумыс. Захмелев от крепкого напитка, они жадно слушали пение.

Днем акыны всегда пели пространные сказания, а в промежутках передавали изречения мудрецов, тяжебные состязания биев и стихотворные речи, составленные острословами минувших времен. Когда же толпа расходилась и оставались одни близкие, Барлас пел свои собственные песни или песни, сочиненные его современниками. У него был неистощимый запас песен акынов Шоше, Сыбанбая. Балта, Алпыса и других. В этом неисчерпаемом потоке сказаний он сам особенно любил те, которые говорили о думах и чаяниях народа.

И когда наступал вечер, Абай и обе матери заслушивались этими любимыми песнями Барласа. Жемчужные слова, чудесные дары внимательному слуху… В такие минуты Барлас казался Абаю совсем другим, не похожим на того Барласа, который пел днем: тот Барлас воспевал лишь забавы, веселье, в вечерами это был мудрый наставник, глубокий мыслитель.

Тайна дум моих глубока,

Как туман, что вдали встает.

Грудь мою съедает тоска…

Вкруг — простор серебряных вод…

Забурлила, плещет река,

Это песни Барлас поет,

— изливал он в песне свои думы.

— О чем его печаль? — спрашивал иногда Абай у матери.

— В нем великая сила, он никогда не унизится до восхваления того, что недостойно восхваления. Он не пойдет просить по аулам и собирать подарки. Учись у него, храни его слова в памяти, — говорила Улжан.

Абай не пропускал ни одного слова из песен акына. Он благоговейно внимал новым песням, рождавшимся тут же, под сводами юрты. Эти песни обличали и судили преступные дела и гнусные пороки правителей и владык. В одной песне Барласа были такие слова:

И владыкам алчным укор

У народа не сходит с губ —

Ты — правитель, хищник и вор,—

Словно ворон, летишь на труп.

Абай был рад, что отец в отъезде, и молил бога, чтобы тот не возвращался как можно дольше. К счастью, за все время пребывания Барласа Кунанбай ни разу не заглянул к ним, — с несколькими старейшинами он объезжал аулы рода. Поэтому Улжан спокойно задерживала у себя Барласа. Когда Кунанбай бывал дома, акынам и певцам не приходилось останавливаться надолго, а тем более выступать так свободно.

На кого намекал Барлас, говоря о правителях? Он никогда не говорил определенно, но Абай по-своему толковал его песни, — за примерами ходить было недалеко.

А получат свыше приказ,

Подымают хвосты тотчас,

Суетятся и ждут наград.

Черный страх нагнали на нас,

Сами в страхе на власть глядят.

«Это — волостной Майбасар», — решил про себя Абай.

Перед властью — спину согнет,

А за телку — десять возьмет,

Отбирают скот бедняка,

— Знать, у хитрых рука легка!

Одинаковый сбор давай.

Будь бедняк ты иль будь ты бай.—

Платит двор, собирает вор —

И плоды твоего труда

Льются, как простая вода…

— говорил Барлас под домбру и тяжело вздыхал.

Мальчик умолял акынов сам, трогательно и нежно, действовал и через мать, — и добился того, что Барлас и Байкокше прожили у них целый месяц. За это время Абай крепко сдружился с ними. Скоро он стал спать рядом с Барласом, а днем старался услужить ему, как только умел. Старик оценил восприимчивость мальчика и однажды, оставшись с ним вдвоем, сказал ему:

Ты растешь. Абай-ширагим.[38]

Кем ты будешь, ставши большим?

И отдал Абаю свою домбру.

— Вот, сынок. Это — тебе мое благословение. Говорю от всего сердца!

Абай ничего не мог сказать от смущения.

Это было накануне отъезда Барласа и Байкокше. Наутро, когда кони акынов были уже оседланы. Абай отозвал мать и попросил ее;

— Апа, подари им обоим что-нибудь хорошее.

Улжан ничего ему не ответила. Но, когда гости напились кумысу, Улжан взглянула на Барласа, как будто собиралась сказать что-то. Гости остановились в ожидании. Улжан сказала:

— Мой сын, вернувшись из учения, долго болел и никак не мог поправиться. Ваша речь, звеневшая у нас, принесла ему исцеление: Вы благородные гости.

Действительно, Абай в это время не испытывал никакого недомогания, чувствовал себя здоровым. Мать продолжала:

— Заезжайте к нам почаще. И бабушка и все мы будем рады вам. Да будет счастлив ваш путь! Примите скромный подарок в благодарность за ваш приезд… Вы найдете его на дворе… Не обижайтесь на нас, расстанемся добрыми друзьями!

Абай вышел на улицу проводить гостей. Два конюха подвели Барласу сытого буланого коня, а Байкокше — гнедую кобылу четырехлетку.

Акыны, повторяя: «Хош! Хош!»[39] и ведя подаренных коней в поводу, тронулись в путь.

Счастливое мальчишеское чувство овладело Абаем. Довольный и обрадованный, он обхватил грузное тело матери, прижался к ней и стал осыпать поцелуями ее щеки, глаза и губы.

В ВИХРЕ

1

В этом году аулы Кунанбая закончили стрижку овец раньше обычного. Никогда Кунанбай не двигался с осеннего пастбища до первого снега, а тут он вдруг начал откочевку на зимовья в начале октября. Никто из старейшин остальных родов не был извещен об этом, хотя все они были в близком родстве с аулом Кунанбая.

Суюндик недоумевал. Приехав погостить к Божею, он спросил его:

— Ну, разобрался ты в новых затеях своего сородича? Что это ему нынче не сидится на месте?

Суюндик и Божей были в юрте не одни. С ними сидел большеносый и узкобородый Тусип, первый после Божея человек в роде Жигитек. Он в раздумье сказал:

— Никогда раньше Кунанбай так не делал… Кормов ему не хватило, что ли?

Божей взглянул на него и рассмеялся. Суюндик посмотрел на него подозрительно — не скрывает ли тот чего-нибудь? — и вздохнул:

— О господи! Да разве может ему не хватить кормов? Никакому стаду не вытоптать его пастбищ!.. Тут что-то другое… Скот у него только начал поправляться, а он в такую рань снялся на зимовку. — на каких же кормах он продержит стадо до весны? Ведь и овец-то он остриг так рано только для того, чтобы сняться…

Он задумался, потом прямо обратился к Божею:

— Может быть, ты знаешь что-нибудь? Тогда поделись с нами!

— А ты думаешь. Кунанбай советовался со мной?

— Хоть бы и не советовался… Ты один умеешь проникать в его тайны. Скажи, что ты думаешь? Я ломал-ломал голову…

— Если бы Кунанбай заторопился весной. — начал Божей. — я бы понял, что он хочет захватить пастбища уаков… Если бы это было летом, — значит, у него разгорелись глаза на земли кереев… Но зимовья все кругом — тобыктинские, до чужих далеко… Как бы он на своих не набросился… Ведь кинулся же беркут Тнея на своего хозяина!..[40]

Божей, видимо, предчувствовал неладное, и слова еще больше взволновали Суюндика. Он глубоко задумался: кому теперь ждать несчастья, о котором говорит Божей? Ведь все кругом так спокойно…

— Ой, дорогой мой! — опять вздохнул он. — Кажется, Кунанбаи и без того обкорнал нас всех… Глумился, сколько хотел: род Жуантаяк выгнал; у Анет взял, что только можно было; обобрал и Кокше. Чего ему еще не хватает? Тридцать кочевок с севера на юг все принадлежат ему. Здесь — его весеннее пастбище, тут — летнее, там — осеннее… И зимовий тоже, слава богу, достаточно!

Пастбищами род Иргизбай богаче рода Жигитек. Это удручает Тусипа не меньше, чем остальные дела его рода, и, слушая Суюндика, он представил себе все эти богатые пастбища и тяжело вздохнул.

— Одно его урочище от другого не дальше ягнячьего перегона, — продолжал Суюндик.

— Чего ему надо? — заговорил Тусип. — У него и луга с богатой зеленью, и водоемы с цветущими берегами, и многоводные ручьи, и широкие озера…

— У других на жайляу возле одного ручейка по несколько родов жмутся, а у него, глядишь, для каждого аула не одна хорошая речка! — поддержал Суюндик.

— И всем этим завладел он в такое короткое время! Ну, что еще у него на уме?

— Вот именно: что у него на уме?

Божей слушал их молча. Внезапно он повернулся к говорившим и язвительно сказал, махнув рукой:

— Э, если бы вы имели право решать вдвоем, тогда бы и говорить стоило! А что толку от ваших жалоб?

Некоторое время он сидел молча, уставившись на Тусипа.

— Беспомощных всегда угнетают думы. Но бесплодными мечтами сыт не будешь. Какая польза в разговорах, если ты бессилен? — добавил он, хмуря брови.

Тусип знал, что эти же думы давно грызут сердце самого Божея. Могила Кенгирбая, их предка, находится на урочище Ши; богатые кочевья двух колен рода Жигитек расположены совсем близко от этого урочища. Наступил день, когда Кунанбай занял и их под свое зимовье. Это было тяжелым ударом для Божея, и он решил насмерть схватиться с Кунанбаем, но Кунанбай поспешно вызвал к себе Тусипа и сумел поколебать его. Вернувшись, Тусип стал отговаривать Божея от ссоры. Самое выгодное время, самый удобный повод для выступления против Кунанбая были упущены.

Старую обиду Божею пришлось затаить глубоко в душе. Отомстить он был бессилен. Однако чуть только речь заходила о Кунанбае, он не скрывал своего возмущения и подбивал Тусипа на ссору с ним. «Говорили мы с Кунанбаем достаточно. Теперь пора действовать. Если ты храбр, вооружись мужеством. Если нет, продолжай свое — покоряйся», — повторял он. То же твердил он и Суюндику. В свои тайные замыслы он посвящал и Байдалы, которого считал надежнейшей опорой рода Жигитек.

Но с каждым из них он говорил об этом наедине, соблюдая строгую тайну.

2

Аулы Кунанбая дошли до Кольгайнара в семь перегонов. Они уже собрались разъезжаться по своим зимовьям, как внезапно повсюду было получено приказание Кунанбая: никому не двигаться с места без его приказа. Взяв с собой Майбасара, он поехал в горы Чингиз. Путь туда был недалекий, но Кунанбай целый день не сходил с коня, объезжая всю местность. Вернулся он в аул только к сумеркам и подъехал прямо к юрте своей старшей жены — Кунке.

Сегодня здесь собрались только женщины: матери Кунанбая — жены его умершего отца, жены его дядей и другая женская родня двух поколений. Их аулы — числом около двадцати — давно уже выделились из общего хозяйства и кочевали отдельно. Все они приехали в гости и привезли полагающееся по обычаю угощение.

Два раза в год женщины этих аулов приносят такое угощение в юрты Кунанбая. Первый раз — когда его аулы прикочевывают на весеннее пастбище; после долгой разлуки женщины, соскучившись на отдаленных друг от друга зимовьях, спешат побывать везде, начиная с Большой юрты, где живет Зере; второй раз они собираются осенью, перед зимней разлукой.

Как только в двери, почтительно откинутой Майбасаром, появилась внушительная фигура Кунанбая, смех и шумная болтовня женщин мгновенно смолкли.

Мужчины сели. Обратиться к Кунанбаю осмелилась одна Таншолпан, вторая жена его отца, считавшаяся старшей после Зере:

— Сын мой дорогой, твои матери и старшие невестки принесли угощение. Теперь мы собираемся расходиться. А твоей старой матери приношение уже сделано…

В последние годы, говоря при Кунанбае о Зере, все называли ее почтительно «старая мать». Вслед за другими и Таншолпан так же называла свою прежнюю соперницу.[41] Кунанбай промолчал. Таншолпан была одною из своенравных матерей в их семье. Говорили, что в дни молодости она с пикой в руке бросилась догонять врагов, напавших на конский табун ее аула. У Таншолпан — четыре сына, а младшие жены, у которых много сыновей, обычно становятся своенравными и смелыми.

Молчание Кунанбая не понравилось ей, она снова оживленно заговорила:

— Мы угощаем не Кунке, а тебя: ты молод, но уже стал нашим главою. Завтра мы разъедемся по зимовьям, до весны нам придется просидеть, как в норах. Такова уж женская доля… Пусть мое угощение будет добрым пожеланием тебе до будущего года и молитвой с твоем счастье, сын наш!

Кунанбай взглянул на нее, кивнул головой и ответил после недолгого молчания:

— Ты сказала «разъедемся по зимовьям»? А что, если не будем разъезжаться? Как бы не пришлось вам принести угощение еще раз!

Он многозначительно усмехнулся. Женщины поспешили подхватить его смех, хотя и не поняли, в чем дело. Кунке, высокая смуглая женщина с бледным худощавым ликом, решила воспользоваться хорошим настроением Кунанбая.

— А я приказала слугам завтра развязывать тюки и ставить юрты для всех. Разве мы кочуем дальше?.. Вы смутили весь аул; никто не знает, остаемся ли мы здесь, или тронемся еще куда-нибудь, — сказала она и вопросительно посмотрела на Майбасара.

— Зато жди второй раз угощенья, — подмигнул тот.

— Не вели развязывать тюки и ставить юрты: завтра опять двинемся, — сказал Кунанбай.

— Э, дорогой мой сын, что это за новая кочевка? — с удивлением спросила Таншолпан, пристально глядя ему в лицо.

— Будем кочевать вместе. Завтра с самого утра тронемся на Чингиз. Мы осмотрели пастбища и места для аулов. Так и передайте по своим аулам: пусть готовятся в путь, — ответил Кунанбай.

На следующий день на заре все двадцать аулов рода Иргизбай снова двинулись с места и направились в самое сердце Чингиза.

Они снялись все вместе, дружно, и шли, не растягиваясь в пути. Обыкновенно аулы во время кочевки тянулись вереницей, как стая журавлей или гусей. А сейчас все они сгрудились, как стая уток, на которую напал ястреб. Эта внезапная кочевка и началась необычно. Чуть занялась заря, Кунанбай приказал строго:

— Пусть не мешкают и собираются быстрей! И чтобы не растягивались в пути! Трогаться всем одновременно и двигаться без остановок! — коротко бросал он, рассылая нарочных по аулам.

С левой стороны дороги, ведущей на Чингиз, стоит одинокая сопка. Кунанбай в сопровождении Майбасара и Кудайберды, своего старшего сына от Кунке, обогнал аулы и поднялся пи вершину холма. Его гнедой конь, подтянутый, настороженный, вырисовывался на рассветном небе и казался огромным и длинным. Вытянув прямые уши, точно метелки камыша, он чутко прислушивался и часто оглядывался, будто торопя человеческий поток, катившийся мимо него. Кунанбай стоял на холме высоко перед толпой, — казалось, он хотел что-то сказать движущемуся у его ног народу.

Солнце еще не всходило, когда двадцать аулов молча, без обычного шума и криков, начали вьючить тюки. Но теперь, тронувшись с места, все зашумели, загомонили — и волны звуков хлынули, сливаясь в один могучий многообразный хор. Там кричит верблюд, которому тяжелый груз режет спину; тут жалобно ноет верблюжонок, отставший от матери; здесь рычат друг на друга сторожевые собаки. Издалека доносятся крики верховых, — это жигиты вскачь подгоняют вьючных верблюдов. Слышен детский плач и брань матерей; со всех сторон над отарами раздаются громкие окрики погонщиков стад и конских табунов.

Когда дружные ряды аулов уже двинулись с места, Кунанбай, стоя на вершине, повернулся к Камысбаю и Кудайберды:

— Поезжайте вы двое и созовите ко мне старейшин всех аулов! И два коня мгновенно сорвались с холма. Высокий, стройный Кудайберды и широкоплечий Камысбай, обгоняя друг друга, помчались по склону наперерез человеческому потоку. Долетев до кучки мужчин, ехавших перед первым кочевьем, они чуть задержались и снова поскакали дальше. Немедленно же из этой кучки выделились двое верховых и ровной рысью направились к сопке, где стоял Кунанбай. Заметив, что правитель ждет их, они заторопили коней и прибавили ходу.

Пока Кудайберды доскакал до крайнего аула, к Кунанбаю уже подъехало около тридцати человек. Наступил безветренный свежий осенний день. На прозрачном небе не было видно ни облачка. А когда к Кунанбаю со всех аулов вереницей потянулись верховые, огромный сияющий диск солнца, разбрасывая снопы лучей, всплыл на гребень дальнего хребта.

Вздыбившись, бугристой каменной громадой лежал Чингиз. Его высокие хребты были подернуты голубоватой дымкой. Золото лучей хлынуло на них, и горы засверкали своим многоцветным нарядом. Жаворонки тучей взвились к небу — вероятно, их спугнули тронувшиеся *в*  путь караваны, — бескрайный небесный простор наполнился их звонкими песнями. Едва виднеясь в вышине, длинной вереницей медленно плыла стая журавлей, посылая свое однообразное прощальное «тру-тру» проходившим внизу толпам.

Кудайберды и Камысбай облетели все аулы и на взмыленных конях вернулись к Кунанбаю вместе с тремя стариками. В числе этих троих был брат Кунанбая от другой матери — Жакип. Кунанбай принял его салем и тотчас же пришпорил коня, коротко сказав: «Едем!»

Кони затопотали по сопке. Кунанбай в сопровождении старейшин направился на Чингиз. Ряды кочующих потеснились, давая им дорогу. Но всадники не торопились.

В центре их ехал сам Кунанбай. С обеих сторон его окружали дяди по отцу, братья, двоюродные братья и другие сородичи.

Кунанбаи — единственный сын своей матери Зере, старшей жены его отца. Большая юрта рода осталась за ним: он владеет огромными богатствами, пользуется неограниченной властью. Он старше своих родных и по возрасту. И потому ни один из потомков его деда Иргизбая не смеет поднять против него голос, во всех двадцати аулах никто не решается даже высказать ему свое недовольство. И если Кунанбаю нужна поддержка, никто не щадит себя; его покоряющая сила, его властный голос и неудержимая воля заставляют всех следовать за ним. Предстоял ли захват чужих земель или подавление непокорных родов — каждый из старейшин понимал Кунанбая по одному едва заметному движению его век. Даже в семейном быту, где так сложны взаимоотношения, где возникает столько поводов для ссор, — одно имя Кунанбая мгновенно пресекало все дрязги. Даже своенравные жены-соперницы, готовые каждую минуту разорвать друг друга, не решались на шумные ссоры: братья мужей или старшие родные быстро умеряли чрезмерный пыл молодых и пожилых женщин. Неугомонных они укрощали побоями.

Двадцать аулов, тесным кольцом окружавшие Кунанбая, походили на стаю хищников, вылетевших из одного гнезда. Во всем огромном Тобыкты род Иргизбай действовал не стесняясь: там, где не помогали слово и власть, в ход шло открытое насилие. Небольшой круг иргизбаев был крепким и цельным, и они сумели подчинить своему влиянию всех, кто составлял племя Тобыкты. С людьми, нужными им, они роднились. По поговорке «Из длинной пряди и аркан длиннее» они достигали своих целей обходными путями. Бывали случаи, когда они нарочно впутывали кого-нибудь в сложное темное дело, а потом являлись в роли спасителей и друзей — и тем самым расширяли круг своих сообщников и пособников.

Постепенно каждый из немногочисленного рода Иргизбай оказался в родстве или дружбе с каждым из двадцати остальных родов. Эта сложная сеть отношений и дала возможность Кунанбаю выдвинуться и достичь теперешнего его могущества. Старейшины, ехавшие сейчас за своим ага-султаном, даже не задавались вопросом — куда и зачем они кочуют? «Что бы он ни решил — нам плохо не будет. Придет время — узнаем», — думал каждый из них.

Длинный гнедой конь Кунанбая шел крупной иноходью; спутникам ага-султана приходилось следовать за ним на рысях. Кунанбай ехал на шаг впереди своей свиты: так имам во время молитвы выделяется перед толпой молящихся. Первенство и здесь, как всегда, было за ним. Если более молодые всадники выезжали вперед, старики немедленно одергивали их коротким приказом: «Осади назад!» Единственный глаз Кунанбая на лету успевал охватить все вокруг. В окружавшей его толпе были одни иргизбаи; конечно, в каждом ауле есть пришельцы из других племен — чабаны, сторожа, «соседи», но дела решаются без них.

Кунанбай со своей свитой обогнал кочевья. Он объяснил старейшинам двадцати аулов, до какого лога они должны следовать, где им остановиться и как ставить юрты. Это не было ни беседой, ни совещанием, — слова Кунанбая звучали продуманным приказом.

3

Шесть дней спустя тем же самым путем тянулся в горы другой кочевой караван. Это шли бокенши и борсаки. Они тоже миновали Кзылшокы и направились в самое сердце Чингиза.

Кочевья их двигались рассеянной, растянутой вереницей, каждый аул отдельно. Верховых было совсем мало, — на конях ехали лишь погонщики скота да несколько женщин. Все остальные—дети, старики, старухи — сидели на вьючных верблюдах. Было похоже, что эти аулы уже отослали табуны на зимнее пастбище, оставив лишь необходимых на зиму лошадей, — даже мужчины ехали на верблюдах-двухлетках или на волах. Но отсутствие коней объяснялось другим — бедностью этих двух родов. Своим достатком выделялись только три аула: Суюндика, Жексена и Сугира.

Старейшины, окруженные двумя десятками жигитов, ехали молча, без смеха и шуток. Серые люди в ветхих бараньих полушубках и чапанах как бы сливались с серым, подернутым туманом, тусклым осенним небом. Суюндик был особенно мрачен: народ ждал от него решительных действий, а он ни на что не решался.

— Посмотрим на месте… Поговорим с ним самим… Пусть скажет, по каким обычаям, по каким законам бросил всех и ушел один, — отвечал он уклончиво.

Жексен поддерживал его, но остальные— и молодежь и старики — были возбуждены. Кунанбай необычно рано откочевал с осенних пастбищ. Почуяв неладное, другие роды тоже провели раннюю стрижку овец и последовали за ним. Все лето бокенши чувствовали на себе нахмуренный взгляд ага-султана. Не раз он находил предлог, чтобы придраться к ним. Обеспокоенный этим, Суюндик ездил посоветоваться с Божеем, но и тот не мог сказать ему ничего определенного…

Встревоженный известиями о движении аулов иргизбаев, Суюндик снял с места свои кочевья вслед за Кунанбаем. В то же время, предчувствуя неладное, к зимовьям двинулись и остальные — как сторонники иргизбаев, так и противники их, в том числе Божей и Тусип.

Зимовья рода Бокенши в Чингизе не были обширными. Центром их являлось зимовье Жексена — Карашокы, где весною был убит Кодар. Дойдя до Чингиза, кочевья разошлись знакомыми путями по пастбищам.

Аулы Суюндика и Жексена дошли до реки и направились вдоль ее лесистого берега. Миновав горные отроги, они вышли наконец на свои места. Вот поляна у подножия Карашокы, вот и утес, с которого был сброшен Кодар…

Но что такое?.. Они не верили своим глазам… Трава у подножия утеса была скошена, сено убрано и сложено в стога. На земле Жексена паслось большое стадо коров и верблюдов и белели юрты богатого аула. Вокруг лениво стлался дым костров. На полянах с задорным блеянием прыгали ягнята… Зимовье не принадлежало больше Жексену: его занял один из прибывших сюда до него аулов.

На возвышенности паслись кони. Почти все они — рыжей и буланой масти. Это табун Кунанбая!..

— Покарал нас бог! Суюндик, дорогой, что теперь делать? — воскликнул Жексен. Слезы выступили у него на глазах.

— Да… О такой беде говорится; «Жайляу твои — в руках врага, зимовья твои охватило пламя»… — мрачно ответил Суюндик. Больше он не проронил ни слова.

О каких-то новых недобрых затеях Кунанбая уже ходили слухи, но что он решится на такой шаг — этого никто не мог и предполагать.

— Уж, верно, Кунанбай захватил не только землю Жексена! — вне себя от негодования воскликнул Жетпис. — Вот увидите, он забрал все зимовья бокенши!.. Лучше смерть, чем такой позор!

Несколько молодых жигитов, хлестнув коней, стремительно вылетели вперед… В толпе поднялись крики:

— Кровная месть за землю!

— Бокенши!.. Ублюдки вы, что ли? Или чужаки?

— Вот до чего довел вечный страх!

— Держали вы нас за полы, — вот и дожили теперь до такой беды!

Крики словно плетью хлестнули Суюндика. Он задрожал. Если дать жигитам волю, они сейчас же кинутся на табуны Кунанбая… Но ведь кричат не старейшины — кричат бедняки, темные люди! Они бог знает что могут натворить в порыве возмущения, а кому отвечать за это? Завтра все свалится на голову Суюндика, — будут говорить, что это он привел, он подстрекал… Ужас охватил его при этой мысли.

Суюндик сдержал коня и резко крикнул:

— Стойте, жигиты!

Все остановились и обступили его.

— Если вы решаете вступить в драку, ступайте, куда хотите!.. И действуйте одни! Меня с вами не будет!.. Ступайте, вон дорога, ступайте! Вы думаете, Кунанбай испугается ваших двадцати соилов? Если бы он боялся, то он не делал бы того, что сделал! У вас — двадцать, у него — сто; у вас будет сто, а у него— тысячи! Глядите! — И он указал в сторону аула.

И все увидели, как из-за юрт, с утеса и из-за прибрежных сопок к ним неторопливо подъезжали верховые. В руках у них были соилы; одни уже держали их поперек седла, другие зажимали под коленом, третьи повесили петлей на руку. Всадников было не меньше сотни. Они с разных сторон вклинились в конские табуны, съехались вместе и сомкнутыми рядами двинулись к Суюндику.

Ошеломленные бокенши сразу смолкли.

Суюндика поддержал Сугир. Он был владельцем многочисленных табунов, самым крупным богачом среди бокенши.

— Мы не одни, у нас есть сородичи, есть народ, наконец, — заговорил он негромко. — Добьемся, чтобы нам вернули наше! Передадим все на суд народа!.. Но только не забывайтесь в неразумном порыве, не затевайте недоброго!

— Зачинщики ссоры головой ответят за последствия! Помните это! — резко заключил Суюндик.

В толпе всадников, надвигавшихся на жигитов от конских табунов, находился сам Кунанбай. Его длинный гнедой конь, вскидывая голову и потряхивая гривой, шел важным мерным шагом. Приблизясь, ага-султан отослал вооруженных всадников и с небольшой свитой в десять стариков подъехал к Суюндику и его жигитам.

Взгляд Кунанбая был суров и холоден. Высокомерный, самонадеянный, он всем своим видом, казалось, говорил: «Что вы можете сделать со мной?» Голова его была надменно закинута назад. Все аткаминеры-властители обычно держатся так, но Кунанбай был как-то особенно грозен. Суюндик хорошо знал, что это внешний прием, он и сам не раз прибегал к такому способу воздействия на людей, но сейчас вместе с окружающими он невольно поддался властной молчаливой силе Кунанбая.

Бокенши первые отдали салем. Кунанбай принял приветствие, едва пошевелив губами в ответ. Некоторое время длилось напряженное молчание. Потом заговорил Суюндик.

— Мирза, что это за верховые? — спросил он (все старейшины Тобыкты называли Кунанбая мирзой[42]).

— Так… хотели клеймить коней, пора отогнать их на зимние пастбища. Вот и собрались, — ответил Кунанбай.

Разговор оборвался. Жексен обернулся назад; передний караван кочевки уже перевалил через подъем хребта и приближался к ним.

— Мирза, вот едут наши аулы. Мы пришли на свои зимовья, но их заняли другие. Как же теперь быть? — обратился Жексен к Кунанбаю.

— А кто тебя просил перекочевывать сюда? — резко сказал тот. — Зачем ты кичливо рвался вперед, почему не спросил раньше? Твои аулы вернутся обратно! — повелительно закончил он.

— Но ведь сказано: «Власть правителя — над народом, власть народа — над землей…»

— Так, по-твоему, правитель должен переселиться на небо? Где сказано, что род Иргизбай не имеет права на зимовья в Чингизе?

— Разве вам так необходим Чингиз? И без него, мирза, у вас достаточно хорошей земли для зимовки, — возразил Суюндик, пытаясь начать переговоры.

Но Кунанбай перебил его.

— Э, бокенши! — начал он, как будто был на общеродовом сборе и сообщал свое решение всему народу. — Вы — наши старшие братья. Вы возмужали раньше и завладели всем обширным подножьем Чингиза. Иргизбай были малы числом и моложе вас. Вы не дали им ни клочка земли на всем Чингизе. Ты говоришь — «другие зимовья»? Разве это зимовья по сравнению с Чингизом? Теперь я стал на ноги, — сколько же мне терпеть еще? Долго ли сидеть обойденным? Иргизбаям тоже нужны удобные зимовья… Род Иргизбай вырос и окреп. Мы не чужие, мы сородичи ваши. Разве мы какие-нибудь пришельцы, что вы не хотите отдать нам землю, на которую мы имеем такое же право, как и вы?

Слова Кунанбая были одновременно и жалобой истца и приговором судьи.

— Так сколько же зимовий, мирза, ты решил отнять у бокенши? — спросил Суюндик. Ему хотелось выведать, как велики притязания Кунанбая.

— Бокенши уступят все зимовья в этой местности.

— А куда же нам деваться? — вышел из себя Жетпис, брат Жексена.

Кругом загудели голоса:

— Неужели бокенши изгнаны совсем?

— Что же, нам откочевать отсюда?

— Некому даже вступиться за нас!

Кунанбай быстро смирил их. Его единственный глаз впился в Суюндика, и, указывая плетью на шумевших, он властно крикнул:

— Уйми их!

Суюндик, пытаясь выгородить себя перед Кунанбаем, с упреком повернулся к жигитам:

— Я говорил вам — не поднимать шуму, бестолковые крикуны! Замолчите!

Все стихли.

— Бокенши, — заговорил опять Кунанбай, — неужели вы думаете, что если у вас берут зимовья, то оставят вас без земли? Если я беру, то беру не даром: вы получите земли взамен. Я даю вам зимовья тут же, в отрогах Чингиза: в горах — Талшокы, у подошвы— Караул. Поверните ваши аулы и направляйтесь туда, — вот мое решение!

В эту минуту с двух сторон появились верховые. С запада прискакали двое. Один из них был старший сын Суюндика.

— На нашем зимовье расположились братья мирзы — Жакип и Жортар. Что нам делать? — спросил он отца.

С востока подъехал жигит Сугира.

— На наших зимовьях разместились дяди мирзы — Мирзатай и Уркер. Как нам быть с кочевьями? Мы не можем разгружаться, не знаем, что делать, — сказал он.

С разных сторон по четыре, по пять человек подъезжали старшины аулов, лишившихся зимовий. Все были мрачны и озлоблены. Казалось, они привезли с собой все проклятья, весь гнев и возмущение своих сородичей.

Толпа бокенши продолжала увеличиваться. Но Кунанбай оставался невозмутимым. Суюндик понимал безвыходное положение своего народа. Он сам был унижен, уничтожен, сам растоптан Кунанбаем.

— Что делать? Что я могу сделать? Если бы еще нас обидел кто-нибудь чужой… — начал было он.

Но Жетпис не дал ему договорить:

— Нет больше справедливости! — вскрикнул он. В толпе опять зашумели:

— Некому вступиться за нас!

— Лучше бы выгнали совсем, чем так издеваться!

Из-за бугра показались еще две кучки верховых. В первой, числом около десяти, были все знатные аткаминеры рода Котибак во главе со старейшиной его— Байсалом. Они подъехали к Кунанбаю. Отдали салем и приветствовали его с самым сердечным видом:

— С новосельем, мирза!

— Дай бог удачи на долгие годы!

— Пусть новые места принесут и новое счастье!

Вслед за ними приблизилась вторая группа под предводительством старика Кулиншака. Он — старейшина рода Торгай, с ним пятеро его сыновей, прозванных «пятью удальцами», воинственных, ловких в бою на пиках. Подъехав к Кунанбаю вплотную, Кулиншак обратился к нему:

— Здравствуй, свет мой Кунанбай! Поздравляю тебя с новосельем!

Это открыло глаза всем бокенши: не в одиночку род Иргизбай совершает насилие над ними — злое дело Кунанбая поддерживают все старейшины родов Котибак, Торгай к Топай.

А Суюндик так надеялся на котибаков! «Байсал прямодушен, тверд, он-то, наверное, не примет участия в грабеже», — думал он. Неужели они договорились тайно? Может быть, они скрывают еще что-нибудь? Кто знает! Видно, Кунанбай сумел привлечь на свою сторону старейшин крупных родов. И этот приезд Байсала и Кулин-шака, эти поздравления — не простая случайность… Нужно было показать их дружбу перед всеми бокенши — и Кунанбай сам подстроил все заранее.

Так думал не только Суюндик: Жексену тоже все стало ясно. Он гневно вскричал:

— Боже мой, ведь это зимовье предков моих! Здесь, у подножия утеса, была пролита кровь одного из сыновей бокенши! Земля моя, кровью мужчины-сородича омытая!..

Его слова поразили всех. Суюндик неодобрительно пробормотал:

— Правду говорят: от горя теряют разум… К чему вспоминать это?..

Слова Жексена озадачили и Кунанбая, — он не ожидал, что кто-нибудь вспомнит о Кодаре. Но тотчас же, решив повернуть это в оправдание захвата земель, он грозно спросил Жексена:

— Что ты сказал? Ты, верно, впал в слабоумие от старости? «Достойного мужа», говоришь ты? Если он у вас храбрец,[43] кто же такие все вы, бокенши? Кодар не муж достойный, а негодяй, от которого отступился дух предков бокенши! Он отвергнут всем Тобыкты! Для того я отдал эти зимовья другим, чтобы стереть последние следы святотатца, изгнать из памяти людей и воспоминание о нем! Не болтай вздора!

Точно пощечина, прозвучали слова Кунанбая, словно камнем бросил он во всех бокенши. В один миг им открылась истинная цель убийства Кодара: захват их зимовий.

Даже Суюндик не выдержал:

— Боже мой, что слышу? О мудрый Божей! Никогда не забыть мне твоих слов! Правду ты сказал: «Не на Кодара накинули вы петлю, с божьей помощью она накинута на вас всех!» О безвинный отважный лев мой, за что ты погиб!.. Кодар мой!..

Словно комок застрял в его горле. Он обхватил шею своего коня и безмолвно склонился.

Жексен вдруг зарыдал:

— Уа, позор на лице моем! Проклятье голове моей! Собака я несчастная! Ой, родной мой! Родной мой Кодар!.. — И, ударив коня, он поскакал к зимовке Кодара.

Слова его были искрой, упавшей на сухую траву. Вся толпа бокенши с жалобным криком: «Ой, родной мой!»— поскакала за Жексеном. Со всеми мчался а Суюндик.

Байсал и Кунанбай вместе с окружавшими их остались одни на бугре. Кунанбай пожалел про себя: «Не надо бы говорить этого!», но он и виду не подал Байсалу, что раскаивается в своих словах. Он молча смотрел вслед скакавшим, обдумывая, как бы лучше объяснить эту внезапную вспышку возмущения…

— Ты понял, кто подстрекал их? — обратился он к Байсалу. — Задели за живое — и сразу выступило все, что таилось у них на душе! Их подстрекал Божей!.. Конечно, Божей! Он хочет поставить мне кровавый капкан среди родов Тобыкты! «Единство, единство!»— твердишь ты все время. Видел теперь, что за единство? — заключил он и уставился своим мрачным глазом на Байсала.

Помолчав, он добавил:

— Но бог справедлив. Что бы ни случилось, вынесу все. — И, как бы подчеркивая особое доверие к Байсалу, закончил — Скажи Суюндику, Сугиру и Жексену — пусть не мутят народ. Пусть успокоят всех! Какие бы места я ни отвел для бокенши в Чингизе, сами они в обиде не будут… Для них троих сделаю все, пусть верят моему слову!

В стороне, среди всадников, ранее отосланных Кунанбаем к табунам, был и Майбасар. Он смотрел на бокенши, скакавших мимо с громкими рыданиями и криками.

— Эге, друзья! Говорят: «Хромая овца под вечер блеет».[44] А вот бокенши блеют еще позже! Где это видано, чтоб умерших весной хоронили осенью! — сказал он со злобным смехом.

Весной, когда все бесчестили Кодара, отрекаясь от его духа. Жексен никому не позволял подходить к его трупу, разгонял плачущих женщин и издевался над ними: «Чего вы ревете? Пусть вытекут ваши глаза!» Лишь два старика — Жампеис и чабан Айтимбет — не испугались его. С помощью таких же нищих стариков чабанов они отвезли тела Кодара и Камки к могиле Кутжана и с рыданиями похоронили их.

Теперь бокенши с криками и поминальным плачем прискакали к этим могилам. Там сидело четверо стариков — Жампеис, Айтимбет и еще два чабана: летом им не приходилось бывать здесь и, подъехав сегодня сюда с кочевьями, они остановились совершить молитвы по умершим.

При виде хлынувшей на них толпы старики растерялись. Всадники торопливо спешиваются, всхлипывая и рыдая. Вон плачет Суюндик — это совсем странно. А еще непонятнее то, что сюда мчится и сам Жексен! С громким рыданьем люди обнимают могилы.

— Прости, опора моя! Прости, брат мой!.. — И слезы текут из их глаз…

Но эта запоздалая скорбь не растрогала старика, согнувшегося и высохшего за лето в печали по Кодару и Камке! И когда Жексен хотел было обнять могилу Камки, Жампеис оттолкнул его:

— Пусть вытекут глаза твои! Проклятые, пусть у всех вас вытекут глаза!

Толпа росла. У могил собрались не только мужчины, но и женщины, дети и старики.

Рыдал весь род Бокенши. Заунывные звуки плача стояли в воздухе.

4

Бокенши покинули Чингиз, но на зимовья, указанные им Кунанбаем, не пошли. Они поставили шалаши у Кзылшокы и никуда не двигались.

Другие роды в это время уже разошлись по своим зимовьям. Подвоз сена, сушка кизяка на топливо, чистка стойл, побелка домов и землянок, печные работы — все это было неотложным делом, занимавшим всех, кто вернулся на насиженные места.

У бокенши этих забот не было: они не знали, где будут зимовать.

Кунанбай отправил к Суюндику посыльного с распоряжением: пусть выберут себе зимовья на Карауле, а для жайляу пусть целиком возьмут себе Кольденен и Шалкар.

Суюндик и Жексен прикинули, что получается: если удастся первыми занять зимовья Караула, и особенно две реки на жайляу, горевать им будет не о чем. Поняв, что не прогадают, они решили немедленно откочевать туда. Не сказав ни слова другим сородичам, Суюндик к Жексен приказали своим аулам на заре изловить верблюдов и начали снимать и укладывать юрты. Но в то самое время, когда они, бросив своих сородичей, тронулись с места, человек двадцать — тридцать бокенши тоже сели на коней.

Это были бедняки. Их поднял Даркембай — высокий, крепкий старик, научившийся за свой долгий век разгадывать хитрые ходы старейшин. Он прискакал прямо в аул Жексена.

— Куда вы уходите одни? Народ бросаете! Отделились! — крикнул он им. — Не сметь кочевать, терпите со всем народом! Ставьте обратно юрты!

Жексен не посмел противоречить. Он лишь спросил с недоумевающим видом:

— Друзья мои, что вы затеяли?

— Садитесь лучше на коней, — отрезал Даркембай. — Едем к Суюндику! Договоримся до конца!

Жексену и Жетпису оставалось только следовать за ними. С Суюндиком разговор тоже был недолог: Даркембай и его заставил остаться на месте.

— Скажите мне по крайней мере, на что вы надеетесь? — спросил Суюндик. — Уже наступают холода, зима грозит своей саблей. Неужели мы должны морозить стариков и старух? Заставлять дрогнуть наших малышей? До каких пор нам сидеть здесь?

На Даркембай ответил, не задумываясь:

— Ведите нас вы оба: ты, Суюндик, и ты, Жексен! Едем к Божею!.. Поделимся своим горем с сородичами, скажем: «Не дождетесь и вы добра, если своих бросите!» Ну, а если и у жигитеков не найдем сочувствия, — там видно будет, что делать!

К полудню все они добрались до Божея, зимовавшего в Чингизе на прекрасных пастбищах. Эти земли он унаследовал от своего предка Кенгирбая.

Увидев старейшин бокенши, Божей тотчас же послал нарочных за Байдалы и Тусипом. Он хотел, чтобы в таком деле мнение всего рода Жигитек было единым.

Суюндик и здесь не разговорился, его слова были сдержанны и осторожны.

— Вот они пришли к тебе, — обратился он к Божею, — хотят просить твоего совета. Что посоветуешь? Какой путь укажешь им?

Божей не мог понять, что таится в глубине души Суюндика. «Трусит по обыкновению, — подумал он. — Как всегда, слаб волей и боится Кунанбая…» И он едва заметно усмехнулся.

Но если Суюндик был робок, то весь остальной народ Бокенши кипел. Даркембай горячо сказал:

— Божеке, довольно мы ползали перед Кунанбаем! Труса и собаки кусают и птицы клюют. Хоть ты-то не призывай нас к покорности! Дай нам такой совет, чтобы наш род мог наконец встать на ноги, чтобы мы могли постоять за себя!

Эти мужественные слова пришлись по душе Байдалы. Он уважал прямоту и смелость, и сам всегда стоял за решительные действия. В нем воплощалась вся сила, вся крепкая хватка рода Жигитек.

— Ой, Суюндик, — восторженно сказал он, — ты бы спросил совета у Даркембая! Этот бедняк говорит языком настоящего мужа!

Прежде чем прибегнуть к силе, Божей решил попытаться действовать именем справедливости, закона и обычая: если ему удастся, он постарается раскрыть всему народу глаза на козни Кунанбая. Но до этого нужно было предупредить бокенши, сказать, что их ждет.

— Бокенши, вы — мои сородичи, — начал он. — Кто наносит обиду вам, тот наносит ее мне. Мое счастье и благополучие не должно отделяться от вашего. Мне понятно все, что задумал Кунанбай… Я слышал, он предлагает вам Талшокы, Караул и Балпан. Понимаете вы, куда приведет все это?

Божей обвел взглядом сидящих и, помолчав, продолжал:

— Он хочет сомкнуть границы земель жигитеков и бокенши. А если два рода, даже самых дружественных, имеют общую границу, тогда конец согласию и добрососедским связям… Он надеется, что мы, живя рядом, будем ссориться из-за каждого кустика, из-за каждого глотка воды. Он хочет посеять между нами вражду, которая будет передаваться из поколения в поколение… Но не бывать этому! Мое сердце, сородичи, останется верным вам. Если вы будете вынуждены поселиться на Талшокы и Карауле, я представлю вам все, чем владею сам, поделюсь с вами без споров. Об этом и говорить не стоит… А сейчас прежде всего потягаемся с ним. Жигитеки в одинаковом родстве и с вами и с ним. Кому же и вмешаться, как не нам? — При этих словах он посмотрел на Тусипа. — Попытаемся. Скажем ему, что род Жигитек считает его поступки несправедливыми. А все остальное решим потом. Согласны? — спросил он.

Все одобрили его решение.

— В таком случае, Тусип, садись на коня. Сообщи наше мнение Кунанбаю и сегодня же вернись с ответом, — заключил Божей.

Байдалы тоже повернулся к Тусипу.

— Только выскажи ему все! Говори, что у тебя на душе, без недомолвок. Достаточно мы молчали и трусили! Иди хоть раз на разрыв, но доведи до него все, что тебе поручили! — Сам, полный гнева и решимости, Байдалы старался подбодрить и воодушевить Тусипа.

Кунанбай находился в Карашокы, в зимовье своей старшей жены Кунке. Тусип приехал туда к закату солнца. Кунанбай вышел с ним на небольшой холмик в стороне от аула. Они долго вели разговор. Тусип начал издалека, — заговорил о необходимости единства и крепкой спаянности рода, потом перешел к цели своего приезда:

— Твой поступок осуждают не только бокенши, но и весь род Жигитек… — начал было он, но Кунанбай резко повернулся к нему и прервал его гневными словами:

— Я вижу, род Жигитек хочет быть заступником за обиженных? Почему же он забывает, что соседние племена Керей и Уак — тоже обижены? А на кого они обижаются? Да на тех же жигитеков! Обижены все, кто рядом с вами! Говорят, что вы угоняете скот, не возмещаете кровного добра! Божея, Байдалы, тебя, Тусип, — всех вас осуждают, всех вас винят! Оправдайтесь раньше сами, а уж потом говорите о бокенши! Укротите сперва своих воров и насильников!

Тусип вышел из себя. Он резко возразил:

— Охотников до сплетен везде достаточно, Кунанбай! Разве Божей и Тусип были когда-нибудь ворами? Может быть, ты собираешься еще что-нибудь придумать и навлечь на нас беду? Но что ты можешь сказать, если мы чисты и ни в чем не виноваты?

— Я повторяю то, что сказал: вы запятнаны!

— Ну, если так, докажи нашу вину сейчас же, в священный час заката![45]

Тусип не мог сидеть на месте, он весь дрожал.

— Хорошо, скажу. Пусть Божей перестанет расставлять мне капканы! Пусть прекратит метать в меня стрелы из-за чужой спины! А если не собирается прекращать, так пусть не жалеет своих деревянных пуль и выпускает все заряды, но потом пеняет на себя… Отвечать за все будет он один!..

Кунанбай помолчал и сурово закончил:

— Завтра я собираю съезд у вас, в ваших аулах. Разберу жалобу Керея и Уака и заставлю вас вернуть угнанный скот — это первое. А второе — отойдите от дел бокенши. Идите своей дорогой. Не вам быть судьей в этих делах, я не избирал вас и в вашем суде не нуждаюсь. Не вмешивайтесь, если не хотите себе беды! А не послушаетесь, значит, вы нарочно впутались, чтобы идти против меня! Ступай, передай мои слова Божею и Байдалы! — властно заключил он.

5

На другой день к полудню двое посыльных Майбасара — Камысбай и Жумагул— прискакали к жигитекам и остановились в ауле Уркимбая.

Возле зимовки стояло шесть юрт. Собаки шумным лаем встретили всадников, но те с криком подняли нагайки и отогнали псов. Дети, со страхом смотревшие на сердитых гостей из-за дверных пологов, попрятались в свои юрты, как мыши в нору.

В большой серой юрте Уркимбая сидели несколько человек. Кроме хозяина здесь были Каумен и Караша, близкие родственники Божея. Маленькая растрепанная дочка Уркимбая вбежала в юрту, прижалась к отцу и зашептала:

— Посыльные, посыльные!

Даже дети знали, что посыльные приносят с собою всякие беды. Когда двое посыльных, отмеченных знаком власти — кожаной сумкой через плечо и большой медной бляхой на груди, вошли в юрту, девочка спряталась за отца.

Уркимбай встретил их неприветливо.

— Ну, с чего вы такой шум подняли? — холодно обратился он к ним.

— Срочные дела! Срочный приказ… Торопимся, — ответил Камысбай, проходя к переднему месту.

Жумагул остался у очага, присев на одно колено.

— Какой приказ? Что вы опять тревогу сеете? — хмуро спросил Караша.

Но это не смутило посыльного.

— Приказ такой: ставьте юрты. В ваших аулах состоится съезд. Соберется народ. Приедут истцы из Керея и Уака. Будут переговоры между племенами, и воров заставят возвратить скот.

— Кто это сказал? — злобно спросил Каумен.

— Кто это будет судить? — добивался Караша.

— И кто будет в ответе — воры, или опять все свалится на невинных? — с живостью обернулся Уркимбай.

Съезд требует больших расходов. На него соберутся истцы, власти и всевозможные сутяги из других племен. Это означает, что в течение целого месяца придется колоть скот и кормить прожорливых толстых биев и днем и вечером. Это знают все. И всем известно, что правитель назначает съезд в тех аулах, против которых имеет зуб.

Камысбай отлично понимал, что сидящие в юрте не легко согласятся с тем, чтобы съезд проходил у них. Конечно, ни к ага-султану, ни к старшине они не сунутся, но с посыльными еще попробуют поспорить. Но посыльные получили от Майбасара строгий наказ не принимать никаких возражений.

— Таков приказ Кунанбая и Майбасара, не моя же эта выдумка, — сказал Камысбай и бросил холодный взгляд на Карашу. — Посоветуйтесь между собой и готовьтесь! Соберите все юрты из своих аулов и ставьте их здесь… Подумайте и о том, сколько и какого скота заколоть. Приказано, чтобы для начала жигитеки выделили пятьдесят овец. С каких аулов будем собирать их? Давайте обсудим это сейчас же!

Каумен хорошо понимал, что спор с посыльным ни к чему не приведет. Он и не стал пререкаться с ним и повернулся к Уркимбаю и Караше:

— Это дело касается не нас одних: беда свалилась на всех жигитеков. С Божеем посоветоваться мы не успеем, он слишком далеко, а Байдалы живет поблизости… Караша, садись сейчас же на коня, поговори с ним и привези ответ…

— Правильно! Поезжай! — одобрил Уркимбай. Посыльные тоже не возражали.

Караша быстро поднялся и молча вышел.

Посыльные сидели за чаем. Уркимбай с ними не разговаривал. Он был обозлен приказом.

Посыльным не пришлось долго ждать: скоро к юрте подъехали верховые, спешились и привязали своих коней. Это Караша вернулся от Байдалы. С ним приехали с десяток жигитов, которых все называли отчаянными — у них частенько гостили воры.

Жумагулу, хитрому и сообразительному, их появление не понравилось.

— Эй, что это вас принесло? — начал было он, но один из жигитов перебил его:

— Недаром говорится: «Если на твоего отца напал враг, старайся поживиться и сам». Мы приехали, чтобы отобрать у жигитеков весь скот и передать вам, — вызывающе сказал он.

— Не весь скот, а всего пятьдесят баранов. А если у тебя так много скота, приведи его, когда приедут истцы. Чего торопишься? — желчно ответил Камысбай.

— Уж не к тебе ли приводить наш скот? — спросил его Караша и присел на корточки возле него.

— А хоть бы и ко мне!

— Зверь кровожадный, мало от тебя люди стонали! Когда ты перестанешь мучить народ?

— Э, не болтай лишнего, отцепись! Скажи лучше, каков ответ Байдалы?

— Каков ответ? Вот его ответ! — и Караша, вскочив с места, хлестнул Камысбая по голове толстой плетью.

Посыльный не успел подняться, как Уркимбай крикнул жигитам, сидевшим в юрте:

— Бейте собак!

Жумагул и Камысбай заметались, крича и непристойно ругаясь. Но жигиты, не дав им опомниться, накинулись на них, повалили наземь и придавили коленями.

— Вот вам ответ Байдалы! Он велел избить вас, сколько у нас силы хватит, и вернуть Майбасару полумертвыми!.. На!.. Вот тебе!.. — приговаривал Караша, сидя на Камысбае и нанося ему удар за ударом.

Уркимбай и остальные жигиты разделывались с Жумагулом.

Оба посыльных, избитые и истерзанные, едва доплелись до Карашокы и, не смывая с лиц присохшей крови, явились прямо к Кунанбаю.

В юрте у него сидели Байсал, Майбасар и двое сыновей Кулиншака, высокие и крепкие Наданбай и Манас. Тут же находились другие жигиты из рода Иргиэбай. Юрта была полна.

Кунанбай, выслушав посыльных, долго молчал. Потом, мрачный, потемневший, он обратился к Байсалу, показывая на лица избитых:

— Видишь? Как мне быть добрым сородичем? Плеть Божея бьет не их, а меня!.. — Он обернулся к жигитам — Скачите! Свяжите и доставьте мне этого Уркимбая, который устроил избиение в своей юрте!

Десять жигитов вскочили на коней и помчались. В их числе были сыновья Кулиншака.

В сумерках они долетели до аула Уркимбая, избили всех мужчин и выволокли из юрты его самого. Уркимбай попытался было сопротивляться, но, поняв, что его могут изувечить, покорился. Побледнев как смерть от злобы к негодования и стиснув зубы, он решил выдержать все. Его вывели из юрты, скрутили руки за спину и посадили на коня впереди Наданбая. Вся ватага, злобная и шумная, с громким топотом поскакала в Карашокы.

Сумерки сгущались.

Жигиты скакали берегом реки. Вот они спустились с зимовий Уркимбая, расположенных в глубине Чингиза, вот поравнялись с дорогой, что тянется по хребту и пересекает реку… Здесь они повернули на запад, на Карашокы.

Впереди темнел осинник. Внезапно из него выскочили всадники.

— Налетай! Налетай!

— Снимай их с коней! С коней их!

— Бейте! Бейте собак!..

Человек сорок с бешеными криками ринулись на жигитов Кунанбая. Шокпары и соилы взметнулись в воздухе…

Напавших привел Караша. Еще днем Байдалы предупредил его: «Ты решился на смелый поступок, теперь будь на чеку! Следи за врагами!..» Караша сел на коня и до самых сумерек сторожил в горах. К вечеру он заметил верховых, направлявшихся в аул Уркимбая, и понял, что они ехали туда неспроста. Он помчался в свой аул и собрал человек пять жигитов. На обратном пути к нему присоединились жигиты Каумена. Захватить противников в самом ауле Уркимбая они уже не успели бы и поэтому устроили засаду на пути, выбрав подходящее место.

Караша сам отлично бился на соилах, да и жигиты его аула тоже никому не уступали в бою.

Во главе людей Кунанбая стоял сын Кулиншака — один из «пяти удальцов» — Манас. Нападение не застало его врасплох, и он не растерялся, когда жигитеки внезапно ринулись ему наперерез. Он быстро выхватил из-под колена черный шокпар и крикнул своим:

— Не теряйся! Не смотри, что их много! Бейся смело!

Оба отряда с бешенством ринулись друг на друга. В один миг Манас выбил из седел двух жигитеков. Но Караша накинулся на него с такой быстротой, что ему пришлось защищаться. Связанный Уркимбай заметил в толпе Карашу и крикнул:

— Я здесь!.. Караша, выручай!..

Караша бросился за конем, на котором сидели два всадника. Но это был светло-рыжий скакун кунанбаевских табунов, догнать его, казалось, было невозможно. И все-таки Караша не отставал. Отбив Наданбая с его пленником от остальных, он продолжал гнаться за ними. Наданбай то и дело оборачивался в седле, готовясь дать отпор. Уркимбай воспользовался этим и ловко соскользнул с коня. Его тотчас подняли друзья.

На призывный клич нападавших, эхом разносившийся по горам, со всех сторон с криками мчались новые всадники. Увидев, что жигитеки уже отбили пленника, Манас закричал своим:

— Спасайтесь! Отбивайтесь на ходу! Ну, вперед!..

Они быстро перелетели через перевал и скрылись из виду.

Оба эти события — и избиение посыльных Майбасара, и схватка за Уркимбая — окрылили род Жигитек, вселили в него уверенность в своей силе.

6

На другой день погода изменилась. Пронеслось первое дуновение зимних холодов.

С хребта Чингиз в долины постоянно дует ветер. Весной он благодетелен — уносит снег и очищает от него перевалы и урочища Чингиза. Зимой — он тоже добрый друг скотовода: он снимает с пастбищ снеговой покров, и так как обычно дует с юга, то не приносит особенного холода. Правда, сила его бывает необыкновенной: иногда он сбрасывает с перевалов камни, с корнем вырывает высокие травы, уцелеть может лишь низкорослая полынь да перистый ковыль — лучший зимний корм для овец.

Но осенью ветер с Чингиза превращается из друга во врага. Пронзительные порывы его невыносимы. Он несет с собой стужу, заволакивает небо тяжелыми, свинцовыми тучами…

Сегодня ветер закружил в воздухе снежные звездочки — выпал первый снег в этом году.

Аулы, расположенные на перевалах и в долинах Чингиза, уже прикочевали к зимовьям. Люди оставались еще в юртах, но зорко следили за погодой. Холодное дыхание ветра заставило сегодня всех собрать свои юрты, перенести вещи в постройки и разместиться в теплых помещениях. В ауле Кунанбая, расположенном в Карашокы, с самого утра стояла суматоха, точно люди готовились справлять поминки.

После того как жигиты МаЙбасара упустили Уркимбая, вернулись ни с чем, Кунанбай разослал во все стороны нарочных. Старейшин, прибывших сюда с Байсалом, он задержал при себе. К ним вскоре присоединились и другие мужчины из рода Иргизбай: отовсюду, куда недавно ускакали нарочные, появлялись верховые. Со всех сторон непрерывной вереницей они тянулись в аул Кунанбая.

Он выбрал из них десять жигитов и под предводительством Майбасара послал их к бокенши, которые все еще продолжали оставаться в Кзылшокы, так и не трогаясь с места.

Жигиты привезли строгий приказ и принудили аулы бокенши двинуться кочевкой на Караул. Суюндик и Сугир давно были готовы к кочевке и ждали только знака. Они первыми и тронулись, другим оставалось только следовать за ними.

Но сегодня кочевали не одни бокенши: двигались и некоторые из аулов Кунанбая. До этого дня Кунанбай не отпускал их на зимовья. Ему хотелось держать всех под рукой. Но теперь, когда наступил холод, нельзя было заставлять зябнуть старуху мать и Улжан с детьми.

— Холодно, давайте переходить на зимовье, — давно уже надоедали дети бабушке и Улжан, и старая Зере все время упрашивала Кунанбая. Наконец она вынудила его согласиться.

Отправив их аул, Кунанбай поспешил воспользоваться суматохой, царившей в Чингизе от передвижения аулов.

Верховые, которых вызвали нарочные, начали съезжаться с самого утра. К обеду их набралось множество. Это было настоящее войско, вооруженное соилами, копьями и шокпарами, готовое к бою.

Кроме иргизбаев здесь собрались люди и из других родов, в том числе и из Котибака, старейшиной которого был Байсал. Все они зимовали в соседстве с Карашокы.

В полдень Кунанбай оделся и в сопровождении Байсала и Майбасара вышел к собравшимся.

— Ну, садитесь на коней! — раздался его громкий властный голос. Все засуетились и начали торопливо вскакивать в седла. Иргизбаи первые взяли оружие в руки.

Ветер усиливался, завывал. Начинало морозить, снежники летели в лицо и густо покрывали землю. Все кругом сливалось в серой мгле. Еле переваливаясь через хребты, ползли тучи холодного тумана и оседали инеем на земле.

Вскочив на своего длинного гнедого коня, Кунанбай окинул взглядом окрестность. Две резкие морщины перерезали у бровей лоб ага-султана. Сейчас они, казалось, еще больше углубились. Зоркий глаз налился кровью и сверкал гневом.

Он коротко приказал Байсалу н Майбасару, стоявшим подле него:

— Вперед!

Многочисленный отряд, стуча подковами по обмерзшему склону, направился к зимовью Божея на Токпамбете. Кунанбай со своей свитой ехал впереди. Всадники двигались быстро, крупной рысью.

Солнце еще было высоко, когда отряд Кунанбая то на рысях, то вскачь достиг горного выступа, откуда до зимовья Божея оставалось расстояние не больше ягнячьего перегона.

Аул уже расположился на зиму. Из труб валил желтый густой дым овечьего кизяка. Вокруг построек было полно народу. Возле самых строений стояли наготове кони, но их было немного, — Кунанбай сразу заметил это. Остальные оседланные лошади были стреножены и паслись на богатых лугах, раскинувшихся вокруг зимовья.

Увидев огромную толпу, надвигавшуюся на зимовье, аул пришел в движение. Все кинулись к лошадям. В руках появились соилы и пики. Жигитеки решились отражать любое нападение. Еще минута — и все будут из конях.

Кунанбай в одно мгновение учел и рассчитал все: спеша опередить противника, он рванул своего гнедого и несколько раз стегнул его.

— Олжай! Олжай![46] — крикнул он и поскакал вперед.

С криками: «Иргизбай! Иргизбай!», «Топай! Торгай!», «Олжай! Олжай!»— весь отряд бросился за ним, растекаясь по склону, как пожар, бегущий по сухому ковылю. Вой, улюлюканье, топот коней — страшный, дикий, безудержный гул волнами понесся по долинам и горам.

Людей у Божея было куда меньше, чем у Кунанбая. Вдобавок жигитеки не успели собраться — их настигли врасплох. По обычаю, противник должен предупредить о нападении, указать место боя и лишь тогда высылать всадников. Кунанбаи поступил не так, он нагрянул внезапно.

Вокруг Божея собрались лишь те, что жили неподалеку. Аулы у подножия хребта и тех жигитеков, кто населял долину реки, оповестить не сумели. Да и из горных жителей многие были заняты сегодня перекочевкой.

В числе приехавших было десять человек, приведенных Даркембаем. Утром, увидев вереницы верховых с пиками и соилами в руках, скакавших в Карашокы из разных зимовий иргизбаев, он подумал: «Неспроста это… Наверное, Кунанбай собирает родичей против Божея и всех жигитеков», — и задолго до обеда успел известить Божея и других сородичей о приготовлениях Кунанбая. По пути он заехал к Байдалы, Караше, Каумену и Уркимбаю и привел их с сыновьями сюда.

Возле жилья Божея собрались человек сорок, решивших охранять своего старейшину, среди них и Даркембай с друзьями. Здесь были отважные сыновья Каумена и Караши и другие молодые жигиты, вооруженные, готовые грудью стать за свой род. Сперва они решили было поднять родовой клич: «Кенгирбай! Кенгирбай!», — и, вскочив на коней, пасшихся возле зимовья, ринуться навстречу врагам с соилами и шокпарами в руках, но Байдалы громким окриком остановил их:

— Стой!.. Хотите бросить Божея одного? Умирать — так вместе! Отряд Кунанбая был уже совсем близко. Он мчался неудержимо, беспощадный в своем стремлении.

— Горе мне, горе! Врасплох обрушились на мою голову! Опять беда настигла меня нежданно! — в отчаянии повторял Божей.

Его единственной надеждой были жигиты, успевшие сесть на коней. С соилами в руках, они маленькими кучками по пять — десять человек бросятся на Кунанбая с боков. Но ведь их так мало! Остальные все еще мечутся по лугу, ловя своих коней… Неужели враги нагрянут на них, не дав им даже вскочить в седла?!

Кунанбай скачет. Не останавливая отряда, он выделяет две сотни и посылает их в обход противника с двух сторон. Всадники с криком налетают на пасущихся коней — и те испуганно мечутся по лугу. Седла трещат под ударами соилов и разлетаются в щепки.

Редкие ряды пешнх жигитеков, кинувшихся было навстречу Кунанбаю, опрокинуты многолюдным потоком иргизбаев. У Кунанбая достаточно людей и без отделившихся двух сотен, — трудно даже определить их число. Кони жигитеков, ударивших на Кунанбая сбоку, в один миг оказываются без седоков: врагу не стоит никакого труда сбить их, — на одного жигитека приходится сорок — пятьдесят иргизбаев.

Те, кто не успел добежать до своих коней, бьются пешие. Но что значит пеший перед конным? Расправа коротка: верховой с налету быстрым, точным ударом сбивает противника с ног. Такая участь постигает всех, кто далеко отошел от зимовья. И боевой клич нападающих, гордых своим превосходством и успехом, становится еще громче:

— Олжай! Олжай! Иргизбай! Иргизбай! Топай! Торгай! — яростно взывают они к духу Олжая и других предков, наводя страх на противника.

Все преграды сметены… Победители тесными рядами летят к постройкам. Несмолкающие крики, треск соилов, топот коней — все сливается в общий гул. Наступает страшная развязка набега.

Отряд Божея оставался перед зимовкой. Все подняли соилы и шокпары и маленькой ощетинившейся кучкой недвижимо стояли на месте. Враги обступали их со всех сторон.

— Отступайте к зимовке! Займем все двери, хоть к жилищам их не подпустим! Будем биться до конца! — закричал Байдалы и отвел свой отряд к строениям.

У дверей стали Байдалы и Божей, окруженные самыми смелыми и сильными жигитами во главе с обоими сыновьями Каумена.

Противник лавиной хлынул к постройкам. Верховые на всем скаку остановились и сгрудились перед самыми дверьми, ожидая приказа.

Кунанбай находился в центре толпы. Он еще не сошел с коня.

В эту минуту Даркембай протиснулся к дверям между Божеем и Байдалы и стал целиться из фитильного ружья на ножках, — бог весть, откуда оно у него взялось. Ружье было заряжено, — стоило только поднести огонь, и грянул бы выстрел. Даркембай, задыхаясь, окликнул Божея:

— У этого одноглазого нет сердца! Опять глумится над нами! Посторонись, я застрелю его!

И он стал поспешно высекать огонь. Но Божей дернул его за руку:

— Оставь! Не нам вершить кару над ним, — на то есть духи предков!

В этот момент раздался громкий голос Кунанбая:

— Выволакивайте их из нор! Свяжите, как рабов, и тащите оттуда!

Приказ звучал неумолимо. Толпа иргизбаев под предводительством Майбасара ринулась к дому. Перед дверьми они в нерешительности остановились. Но снова раздался окрик Кунанбая:

— Слезайте с коней! Ломайте двери! Напирайте все вместе! Даркембай и другие, окружавшие Байдалы и Божея. дрались отважно. Но прозвучал приказ Кунанбая — и огромная толпа нападавших ворвалась в строение.

Оборонявшиеся не могли даже размахнуться соилами под низким потолком постройки. За несколько минут противник сломил и обезоружил всех. Побежденных начали выволакивать на улицу.

Едва Караша, Уркимбай и молодые жигитеки появились перед дверьми, толпа иргизбаев кинулась на них. Окровавленные, избитые, они продолжали сопротивляться, громко проклиная Кунанбая и понося его последними словами. Но Кунанбай не мог их слышать: шум и вой толпы заглушали все. Майбасар, дико сверкая глазами, исступленно кричал:

— Плетьми их! Не жалейте! С кем вздумали тягаться?

И его жигиты во главе с двумя посыльными — Камысбаем и Жумагулом — без сожаления работали плетьми, нанося удар за ударом.

Кунанбай не смотрел на это. Он продолжал пристально вглядываться в каждого, кого выволакивали из дверей. Он ждал только одного человека. Лишь на него он точил зуб. Этот человек был Божей.

Наконец показался и он. Но как он был не похож на других побежденных! Никто не осмеливался тронуть его, — Божей вышел сам, без понуждения. Малахай из лисьих лапок не был сбит с головы, и одежда не была изодрана, как у других. Иргизбаи только сопровождали его, сомкнувшись вокруг тесным кольцом.

Стегнув коня, Кунанбай вплотную подъехал к Божею. Байсал, не отстававший от Кунанбая, тоже приблизился, тронув коня. Кунанбай громко приказал Майбасару и Камысбаю:

— В плети!

Камысбай и Жумагул кинулись к Божею, сбили его с ног и повалили на землю.

— В плети его! Стаскивайте с него одежду и бейте! — ревел Кунанбай, наседая конем.

— Чтоб твой глаз вытек! Э, Кунанбай, духи предков проклянут тебя!.. — дико вскрикнул Божей.

Но его повалили, стащили шубу и чапан. Камысбай наотмашь занес плеть. Спина и поясница Божея были обнажены, белое его тело лежало перед конем Кунанбая. Толпа мгновенно смолкла. Наступила мертвая тишина.

Плеть Камысбая со всего размаху опустилась вниз. Вдруг кто-то рванулся вперед, бросился на Божея и прикрыл его своим телом.

Это был Пушарбай из племени Котибак — ровесник и друг Божея,

— Уа, довольно, довольно, Кунанбай!.. Араша!.. Араша!..[47] — кричал он.

Это привело Кунанбая в неистовство, он весь вскипел и в диком бешенстве стал крутить плеткой, крича:

— Плетьми его самого! Бейте его, собаку!

— Посмей только! — раздался сильный, властный голос рядом с ним.

Это был Байсал. Кунанбай резко обернулся и впился в него взглядом. Изменившееся лицо Байсала говорило слишком много. И все же Кунанбай не отступил.

— Бейте! Обоих бейте! — еще раз крикнул он.

Иргизбаи во главе с Майбасаром принялись за дело. Град ударов посыпался на Божея и Пушарбая.

Байсал, не слезая с коня, рванулся вперед и, нагнувшись, отшвырнул Майбасара.

— Котибак! Котибак! За мной, Котибак! — выкрикнул он родовой клич, и все котибаки дрогнули от этого призыва. Большой толпой они отделились от Кунанбая и перешли на сторону жигитеков.

Те были уже подавлены, беспомощны и не могли присоединиться к Байсалу. Бой не возобновился. Но всем стало ясно, что Байсал оскорблен за Божея, за Пушарбая, за весь род и что в злобе и возмущении он круто повернул в сторону жигитеков.

Поняв это, жигиты и посыльные Майбасара не посмели продолжить избиение. Они отошли от Божея и дали ему подняться на ноги.

Встав с земли, Божей с бешенством крикнул в спину отъезжавшему Кунанбаю:

— Эй, Кунанбай! Я от пули тебя уберег, а ты в пламя меня бросил!.. Ты еще вспомнишь об этом!

Кунанбай собрал всех своих людей, оставшихся с ним после ухода котибаков, и в окружении все еще многочисленного отряда повернул обратно в Карашокы.

В ПУТИ

1

Закатный час. Сумерки сгущаются. Кажется, что ночь рождается во всех углах дома и, выползая оттуда, поднимается к потолку, нависая темным облаком.

Дом Улжан самый большой а зимовье Жидебай. Гостеприимный, просторный, он весь украшен коврами, кошмами, алаша.[48] В нем Абай живет со своей бабушкой и матерью.

Светильник еще не зажжен. Дома почти никого нет — все хозяйничают и хлопочут на дворе. Просторная комната, необычно пустая, кажется покинутой. Абай стоит на коленях у окна, выходящего на хребты Чингиза. Подперев подбородок руками, он облокотился на подоконник.

Направо, на постели, разостланной на полу, сидит Зере, раскачивая коленом люльку своей маленькой внучки Камшат, дочери Айгыэ. Старушка, как всегда, напевает колыбельную песенку. Песня тоже стара, старее бабушки. Кроме Зере, никто ее не поет, и звуки ее так же близки Абаю, теплы, трогательны и любимы, как сама старая бабушка: когда-то и он сам засыпал под тихие переливы этого напева. С тех пор не изменился ни один звук, ни одно слово, — песня, как верное сердце матери, не знает перемен. В песне — безмятежное дыхание тихого вечера. Кроткий голос бабушки наполняет тишину закатного часа. Абай слушает, и ему кажется, что пение старой Зере, сердечное, задушевное, проникнутое тихой грустью, укачивает и убаюкивает его самого. Ему хочется, чтобы эта песня звучала долго-долго, без конца.

С того дня. как они приехали на зимовье, Абай по вечерам остается наедине с бабушкой. Он даже себе не может объяснить, почему ему так хочется быть с нею. Чуть приблизится вечер и возвратятся с пастбищ стада, Абай идет к дому младшей матери — Айгыз, берет на руки свою маленькую сестренку Камшат, приносит к бабушке, ласкает ее и играет с нею.

Камшат долго не засыпает. Стоит тихой песне умолкнуть, как малютка тотчас же открывает черные, как смородинки, глаза, начинает моргать длинными ресницами и посапывать в полусне, точно требуя, чтобы песня не умолкала.

Закатный час Абай всегда проводит молча, в тишине. Если этот час застает его под открытым небом, он взбирается один на вершину холма. В степном вечере — таинственная покоряющая сила, и Абай не может скрыть от него своих задушевных дум.

И сейчас он внимательно вслушивается в тихую песню, а взгляд его летит к горам, обегает горбатые извилины хребта Чингиз и тонет в далекой дымке едва различимых темных вершин.

От Жидебая до Чингиза — верст двадцать. Вечером, с наступлением темноты, горы становятся синеватыми, хмурыми и словно отступают вдаль. Холодные скалы величавого хребта кажутся Абаю окаменевшими великанами. Недвижные, немые, они медленно окутываются темнотой ночи.

Что нынче происходит там, в горах? В ауле еще не знают о набеге, но уже дошли слухи, что бокенши изгнаны из Карашокы, что они со слезами и воплями покинули свои зимовья. Всем ясно, что на извилистые хребты Чингиза надвинулись страшные события. Абай тоже догадывается об этом.

Холодный ветер дует с гор — холодное дыхание бушующей там жнзни, полной жестокости. Звуки бабушкиной песни, такие теплые и трогательные, встречаются с его порывами и растворяют в себе их леденящий холод. В песне — сокровенная великая сила…

Абай вздрагивает от этой мысли и переводит взгляд на небо.

Там неторопливо плывет полная луна. Вот она коснулась одинокой черной тучи, спряталась в ней и начала выделывать забавные штуки. Абай засмотрелся на нее и забыл о своих мыслях.

Луна нырнула в тучу сверху, выплыла на мгновение, снова спряталась и снова вынырнула. Она подпрыгивала, вертелась, металась — словно играла в жмурки; то спрячется совсем, то выскочит из-за черного полога, сияющая, улыбающаяся; еще мгновение — и снова ныряет вглубь. Вот она прищурилась, будто поддразнивая кого-то, плавно поплыла по небу, чуть поблескивая серебряным краем, — и внезапно кинулась в тучу… Первый раз а жизни Абай видел такую вертлявую луну. И когда она чуть заметной полоской опять сверкнула и мгновенно исчезла, он невольно усмехнулся: луна напомнила ему расшалившегося ребенка.

Абай долго не мог оторвать глаз от этого необыкновенного зрелища. Вдруг за дверьми раздался шум и топот быстро приближающихся шагов. Это прибежал Оспан. Он дразнил кого-то и теперь с громким хохотом спасался от погони. Вслед за ним, горько плача от обиды и злости, вбежал Смагул, брат Абая по младшей матери Айгыз, ровесник Оспана.

Было ясно, что Оспан обидел Смагула. Абай вскочил с места и схватил Оспана. Тогда Смагул догнал обидчика и вцепился в него. Оспан был теперь дома, — он резко повернулся и смело приготовился к драке.

— Ну, чего тебе надо? — заорал он и схватил Смагула за ворот. Абай разнял их.

— Что он натворил? — спросил он Смагула. Тот всхлипнул и заревел еще громче.

— Биток мой украл, красную бабку!

— Когда? Ой, рева! — насмешливо протянул Оспан я принялся передразнивать Смагула. — Красную бабку! — плаксиво затянул он.

— Отдай ему биток, — строго приказал Абай.

Но Оспан решил сопротивляться всеми способами.

— Врет он, у него и бабок нет! — упорно твердил он.

Не дав ему опомниться, Абаи начал обшаривать его. Оспан, брыкаясь изо всех сил, вырвался, подбежал к печи и, закинув руки назад, с вызывающим видом прижался в угол. Там стояла бадья с кумысом, он решил воспользоваться ею, если Абай станет отнимать бабку, — в крайнем случае бадью можно опрокинуть и наделать неприятностей самому Абаю. Абай угадал хитрый замысел озорника и не стал бороться с ним.

— Покажи руки! — приказал он и, неожиданно схватив Оспа за ухо, стал безжалостно трепать его.

Тот заревел и ударил ногой бадью. Опрокинуть ее Абай помешал, но сбросить покрышку все-таки удалось, и, отчаянно извиваясь, Оспан бросил бабку в кумыс и поднял обе руки.

— Ойбай… Смотри, ничего нет! — захныкал он.

Абай не заметил, как бабка полетела в кумыс, но Смагул, следивший за каждым движением обидчика, видел все. Он кинулся к бадье, засучил рукава и по локоть запустил грязную руку в кумыс. Рукав, спустившись, тоже погрузился в бадью, но Смагул усердно продолжал свои поиски. Теперь Абай рассердился и на него — отпустил Оспана, чтобы оттащить Смагула.

Оспан коршуном кинулся на братишку, дал ему несколько подзатыльников и с торжествующим хохотом окунул его головой в кумыс. Тот так и не успел отыскать бабку, кумыс хлынул ему в рот и нос. Захлебываясь и фыркая, Смагул вынырнул и кинулся на обидчика.

— У, бессовестный! — крикнул он и подкрепил свои слова крепкой руганью.

Абая эта брань возмутила.

— Ой, дурак! Кто тебя научил, свинья! — и Абай дал мальчугану несколько затрещин.

Оспан, как зачинщик ссоры, тоже получил от него изрядную трепку. Оба брата, ревя во весь голос, направились в разные стороны: Оспан подбежал к бабушке и привалился около нее, а Смагул помчался к своей матери.

Грязная ругань Смагула ошеломила Абая. Он долго не мог двинуться с места и так и стоял посреди комнаты. Вдруг до него снова донесся хнычущий голос Смагула. Но сейчас к нему присоединились сердитые крики Айгыз — с громкой бранью она шла вместе со Смагулом.

Дверь Большого лома с грохотом распахнулась настежь. Айгыз втолкнула в комнату сына и, едва переступив порог, закричала:

— Нате! Клюйте! Разорвите, сожрите несчастного! Все кидайтесь! — и она вплотную подошла к Абаю.

— Кши-апа[49]…— начал было Абай спокойно.

Но Айгыз прервала его. Слова непрерывным потоком слетали с ее губ:

— Пользуйся тем, что ты сильнее его! Вас много, вас четверо от одной матери!

— Кши-апа, выслушай меня… Ты бы слышала, как он выругался!

— Очень мне нужно знать! Вырос — и показываешь зубы? Кинулся на Смагула, потому что он сын соперницы твоей матери!

— Боже мой, что ты говоришь?

— Тебе нравится бить младших, да? Вот подожди, завтра приедет Халел, он тебе покажет! — продолжала она, грозя Абаю именем своего старшего сына, который учился в городе.

Казалось, два враждующих между собою аула готовились к бою.

— Неужели это все, что ты, наша мать, можешь сказать нам?

— Замолчи! Довольно! Вы — старшие, мы токал!..[50] Наша доля — терпеть унижения, сносить побои!

Такая откровенная грубость младшей матери возмутила Абая. Он побледнел, задрожал от негодования и не подумал извиняться и уступать.

— Да перестань наконец! Что ты за человек! — гневно сказал он и отвернулся к окну, не в силах больше говорить.

Зере не расслышала всей перебранки, но вызывающее поведение Айгыз ее рассердило. Заметила она и негодование Абая. Она уложила Камшат, поднялась и, подойдя к невестке, прикрикнула на нее:

— Уходи прочь, убирайся с глаз моих! Что ты тут болтаешь? Что ты сеешь раздор между детьми? Выйди, пока цела!

Айгыз отступила перед старухой, но дерзостей своих не прекратила.

— Вы хотите попрекнуть меня тем, что я токал, вы все сговорились загрызть меня… Посмотрим! Пусть только он сам приедет завтра!

Это было напоминание о Кунанбае. Муж благоволил к красавице токал, и Айгыз надеялась на него. Но она старалась говорить не очень громко, так, чтобы слышал только Абай, а не Зере.

Внезапно позади послышался спокойный, сдержанный голос. Заговорила Улжан. Она вошла уже давно и с молчаливым достоинством слушала брань Айгыз.

— Перестань ради бога. Довольно. Здесь дети… Я оберегала их от этого, а ты о них не подумала, — сказала она.

— Что же, мне все молча терпеть, по-твоему?

— Пожалуйста, перестань. Иди. Я не буду вспоминать тебе того, что ты здесь говорила. Только уйди подальше со своей злостью… — Голос Улжан был все так же спокоен.

Айгыз, кинув на нее гневный взгляд, схватила Смагула за руку и вышла. Улжан долго стояла молча, глядя ей вслед, потом тихо вздохнула и сняла верхнее платье. Достав огниво, она высекла огонь и зажгла светильник. Слабое красноватое пламя тускло осветило комнату, и она увидела взволнованное и печальное лицо Абая.

— Абайжан, что с тобой, сынок?

— Апа! Почему кши-апа так часто буянит? — спросил он, подходя к матери.

Сын спрашивал, как взрослый. От других детей Улжан скрывала все, но таить от Абая она ничего не хотела. Этому сыну она может доверить свои тайны.

— Сын мой, — сказала она, — соперницы всегда остаются соперницами. Всю жизнь мы только зализываем свои раны… Как можешь знать ты, что в моем сердце?

Душой Абай понял мать, но выразить словами он ничего не мог и молча отвернулся.

За дверью послышались смех я громкие голоса; в комнату вошли старший брат Абая — Такежан и мулла Габитхан. С их приходом в дом ворвалось молодое веселье.

Такежану шел шестнадцатый год. Затейник на все руки, большой охотник до шуток и метких словечек, он сумел подружиться с Габитханом и держался с ним, как с равным, несмотря на разницу в годах. Идя за муллой, он со смехом передразнивал его неправильное произношение.

Габитхан был татарином. Несколько лет назад он бежал от рекрутчины к каркаралинским казахам. Попав в род Бертыс, он оказался в ауле дальнего колена рода Иргизбай. Несмотря на молодость, Габитхан считался образованным муллой, и Кунанбай, увидев его на годовых поминках своего отца, пригласил его к себе.

По-казахски Габитхан до сих пор говорил как-то забавно. Его простодушный нрав, учтивость и образованность привлекали к нему всех жителей аула. И стар и мал — все считали его своим человеком. Подшучивал над ним только Такежан.

Последнее время вечерами в доме матерей Габитхан рассказывал сказки из «Тысячи и одной ночи». Сегодня после вечернего чая он, по просьбе Улжан, начал одну из увлекательнейших сказок — о трех слепцах. Но кончить ему не удалось: его рассказ был прерван громким топотом верхового, пролетевшего мимо окна. Все заговорили:

— Кто это может быть?

— Кто это? Как торопится!

В комнату вошел посыльный Жумагул.

Едва успев поздороваться, он начал подробно рассказывать о вчерашней схватке в Токпамбете. На левой щеке у него краснела ссадина. Он говорил громко, чтобы слышала Зере. Рассказ о том, как пороли Божея, он особенно смаковал, не только не скрывая, но даже подчеркивая свое удовольствие.

Но Зере, услышав, что Божея били плетьми, быстро повернулась к Жумагулу, переспросила и, убедившись, что не ослышалась, сказала:

— Божей — единственный, кто остался из прежних мудрых старейшин нашего племени. Вы совсем потеряли совесть! А ты, пустобрех, зачем орешь об этом при детях?

Оттого ли, что все уважали Божея как почтенного и близкого человека, или власть старой матери оказала привычное действие, но все сразу смущенно замолкли. Один Такежан наперекор другим одобрил отца.

— Пусть знают, что нельзя нас хватать за ноги! Поделом ему! — заявил он.

Улжан холодно посмотрела на него.

— Перестань хоть ты. Довольно и того, что сделали с ним, — сказала она.

С Жумагулом приехал старый чабан Сатай. Сперва он молча слушал других, но потом и сам вмешался в разговор. Сегодня в полдень он видел на пастбище, как Божей, Байдалы и другие — всего около десяти человек — подъехали к могиле Кенгирбая, прочли молитву и долго стояли все вместе на холме. Потом они направились на запад. Сатаю удалось поговорить с одним из жигитов. «Божей со своими едет в Каркаралинск подавать жалобу на Кунанбая. Они свернули с дороги к могиле предка, чтобы прочесть молитву», — объяснил тот.

Наконец Жумагул рассказал о причинах своего внезапного приезда: Кунанбай прислал его за Абаем, завтра он тоже собирается ехать в Каркараликск и хочет, чтобы сын сопровождал его.

Новость была встречена полным молчанием. Весь дом был озадачен.

На следующий день утром вся родня вышла провожать Абая в далекий путь. Жумагул уже держал в поводу буланого коня, покрытого седлом с серебряными украшениями. Абай подошел сперва к Зере.

— Прощай, бабушка, — и он обеими руками сжал ее маленькую дряхлую руку.

Зере прижалась лицом к его лбу.

— Да хранит тебя бог… Счастливого пути, Абай, сердце мое, — ответила она.

С остальными Абай попрощался издали, сказав только: «Хош, хош!»— и пошел к коню. Улжан приняла от Жумагула поводья.

— Подойди сюда, — подозвала она сына. — Письмильда,[51] — сказала она и с этим благословением сама подсадила его на коня.

Абай вскочил в седло, подобрал под себя полы и уже хотел тронуть коня, но Улжан положила свои длинные, словно точеные, пальцы на гриву буланого. Абай понял, что она хотела сказать еще что-то. Он посмотрел в лицо матери и встретил ее взгляд.

— Сын мой, — сказала она, — старшие привыкли менять мир на ссору. Говорят, «у соперников даже пылинки золы — враги». Но ты будь в стороне от этого. Когда увидишь Божекена,[52] с почтением отдай ему салем. Мы всегда его уважали как сородича. Кто прав, кто виноват, — тебе в этом не разобраться… Пусть враждует отец, но ты будь справедлив.

Абай тронул коня. Несколько раз он оборачивался: родные все еще стояли и смотрели ему вслед. Последние слова матери звучали в его ушах. И Божей казался ему близким родным, за которого он должен болеть душой.

2

Абай с отцом давно уже приехали в Каркаралинск. Стояла зима, снег плотно укутал землю.

Кунанбай поселился в центре этого небольшого города, в просторном деревянном доме с зеленой железной крышей. Дом принадлежал гостеприимному татарину-торговцу, любившему общество казахов.

Ага-султан прибыл в город в сопровождении многочисленных сородичей и нокеров.[53] В домах, расположенных вокруг квартиры Кунанбая, разместились его братья — Майбасар, Жакип и другие сородичи со своими близкими и слугами. День и ночь дома Кунанбая и Майбасара были полны переводчиков и стражников. Кроме посыльных Майбасара — Камысбая и Жумагула — здесь жили личный посыльный Кунанбая Карабас и жигиты, которых Кунанбай взял с собою на всякий случай. Тридцать человек нокеров разместились в восьми домах.

По внешнему виду свита Кунанбая резко отличалась от горожан. Он всегда был окружен разноплеменной толпой: при нем находились татарин — мулла Габитхан, киргиз — Изгутты, названый брат Кунанбая, араб — вероучитель Бердыхожа; были даже черкесы — телохранители.

Центр города стал похож на аул Тобыкты. Когда Абаю становилось скучно у отца, он начинал бродить из дома а дом, чтобы развлечься.

Так и сегодня после утреннего чая он пошел к Майбасару. Был солнечный день. Окрестные холмы уже покрылись снегом и дремали под белым пушистым ковром. Стройные сосны пригорода тоже утонули в снежных сугробах. Горы, покрытые лесом, казались Абаю стариками, надвинувшими на лоб белые шапки.

Стояли ясные морозные дни. Едва заметно было дыхание тихого северного ветра. Завязывая свои лисий малахай, Абай невольно вспомнил бабушку. «Никогда не забывай завязывать малахай. Ничего нет хуже глухоты, — видишь, как я мучаюсь?»— говорила она ему перед отъездом. «Здорова ли она? Наверное, вспоминает меня при каждом буране и морозе», — подумал Абай и ясно представил себе всех, кто остался в Жидебае. — он соскучился по семье.

Твердый, плотный снег звонко скрипит под ногами. Остроносые новые сапоги скользят по натоптанной дороге. Абай не похож на подростка, он одет, как взрослый юноша. На голове лисий малахай, крытый черным бархатом, — старшие носят малахай из лисьих лапок, и, чтобы отличаться от них, тобыктинская молодежь в последнее время стала носить шапки из лисьих спинок. Поверх беличьей шубы на нем надет широкий чапан из черного бархата с серебристо-серым отливом. Рукава не очень длинны, — чапаны с широкими проймами и длинными рукавами носят только каркаралинские казахи. Покрой воротника у них тоже отличается от тобыктинского. Да и малахаи в Тобыкты шьются не из четырех клиньев, как у каркаралинцев, а из шести. Подпоясывается тобыктинская молодежь не ремнями, а кушаками из голубой ткани.

Дорогою Абай встречает много аульных казахов. Большинство всадников направляется к дому Кунанбая — это аткаминеры, приехавшие с тяжбами, и истцы, которые готовы топтаться у дома правителя с утра до вечера.

Абай дошел до квартиры Майбасара.

Войдя во двор, он увидел под крытым навесом целую толпу. Чужих не было ни одного, — все знакомые или близкие сородичи, почти все — пожилые люди. Среди них стоял Майбасар — большой, цветущий, в мерлушковой белой шубе, наброшенной на плечи. Здесь собрались все тобыктинцы, поселившиеся отдельно от Кунанбая.

Четверо молодых жигитов силились повалить темно-рыжую кобылу-четырехлетку с крутым загривком. С первого же дня появления Кунанбая в Каркаралинске Майбасару со всех сторон приводили жирных овец, яловых отгульных кобыл, откормленных стригунов и другой убойный скот — подношение Кунанбаю по случаю приезда. Майбасар, видимо, собирался забить одну из таких жирных лошадей и устроить угощение друзьям.

Каждого, кто принадлежал к роду Иргизбай, по пути в Каркаралинск и в самом городе встречали и теплый прием, и почет, и обильное угощение. И каждого из них переполняла благодарность к Кунанбаю за то, что тот возвысил их род. Вид жирной темно-рыжей кобылы снова вызвал в них чувство признательности.

— Эта поездка мирзы особенно удачна, — начал Жакип, брат Кунанбая.

За последнее время, по примеру истцов и жалобщиков, приехавших в Каркаралинск, уже все тобыктинцы стали называть Кунанбая почетным именем «мирза».

— У врагов и завистников все нутро сгорит: завтра будет открытие мечети… Весь народ восхваляет нашего мирзу, — важно сказал Майбасар.

— Да и есть чем восхищаться, — мечеть великолепная!

— Такого блеска Каркаралинск никогда не видел, — восторженно присоединились остальные.

В городе Абай и от отца и от других часто слышал о мечети. Он знал, что построив ее, Кунанбай завоевал всеобщее уважение и славу. Первую и единственную мечеть в Каркаралинске и во всем округе начали строить на средства Кунанбая еще в прошлом году. Сегодня она должна быть освящена. Муллы в городе и знатные старейшины в аулах не переставали восхвалять Кунанбая за эту мечеть.

Два дня назад у Кунанбая побывал сам имам — мулла Хасен Саратау, благорасположенный к казахам. Он тоже сказал свое слово:

— Из простого народа ты вышел в ханы… В коране мечеть названа «жилищем бога». Ты воздвиг дом вседержителя среди темного, непросвещенного народа — и тебя возлюбит создатель!

И он благословил Кунанбая при всем многолюдном собрании старейшин. За такую похвалу и почет имам перед отъездом получил от ага-султана лошадь и верблюда.

Абай видел, что его отец сильнее и влиятельнее других аткаминеров. Он пытливо наблюдал за Кунанбаем, стараясь понять, как он того добился. Но с тех пор, как Абай стал жить возле отца и следить за его поступками, тот все больше казался ему неразрешимой загадкой.

Мясо забитой кобылы уже отнесли на кухню. Тобыктинцы, которые остановились в других домах, тоже пришли на обед к волостному, и толкотня во дворе усилилась. Майбасар собирался уже вести родичей в дом, — всем хотелось спокойно рассесться по местам, как вдруг калитка распахнулась и вошел Карабас, посыльный Кунанбая.

Он очень спешил. Майбасар остановился, поджидая его.

— Едет Алшекен![54] Говорят, к мирзе едет Алшекен! — сказал он Майбасару и Жакипу. — Мирза зовет вас. Идите скорее!

Майбасар надел шубу в рукава и направился к выходу. Жакип двинулся за ним. Абай хотел остаться, но Майбасар обернулся к нему.

— Абай, иди и ты тоже! Он же тебе тесть, отдай тестю салем! — и он иронически усмехнулся.

Года два назад дружба Кунанбая с Алшинбаем закрепилась родством: Кунанбай засватал для Абая Дильду, внучку Алшинбая. Таким образом, Алшинбай стал внучатым тестем Абая.

Пока приезжие жили в Каркаралинске, Алшинбай уже несколько раз успел посетить Кунанбая. Все старейшины округа произносили имя Алшинбая с особенным почтением. Абай никогда не слышал, чтобы кто-нибудь назвал его просто Алшинбаем, все говорили: «Алшекен». Его род носил прозвище «Каракок».[55] Алшинбай — сын знаменитого Тленши-бия, внук Казыбек-бия. Следовательно, невеста Абая — благородного происхождения. Калым за такую невесту не мал: целые косяки лошадей и стада верблюдов направлялись из аула Кунанбая к Алшинбаю. Неизвестно, только ли сватовство соединило их, но Алшинбай и Кунанбай стали закадычными друзьями. Поэтому стоило только Майбасару или Жакипу услышать имя Алшинбая, как они готовы были бежать и угодливо выполнять малейшее его желание.

Майбасар никогда не упускал случая поддразнить племянника:

— Ну и тесть у тебя! Самый важный во всей округе! Запросто к нему не лезь — склони голову при входе.

Шутки Майбасара привели к тому, что Абай стал избегать встреч с Алшинбаем. Но позавчера Кунанбай и Алшинбай вызвали его к себе и стали упрекать в неуместной застенчивости. Однако этот тесть, из-за которого Абаю, считавшему себя уже настоящим жигитом, приходилось смущаться и прятаться, точно молоденькой невесте в ауле, не особенно нравился юноше. Больше того, поддразнивания неугомонных шутников, постоянно изводивших Абая напоминанием о тесте и теще и повторявших слова «свадьба», «невеста», «жених», отвратили его от самой Дильды. Всякая мысль о ней стала ему противна.

Однако сегодня, когда они маленькой кучкой шли по улице, Майбасар серьезно взглянул на Абая и сказал без всякой насмешки:

— Я все собираюсь поговорить с тобой кое о чем без шуток… Да не дуйся, ты же не ребенок! Ты уже взрослый человек и должен понимать, что не зря гонят в аул Алшинбая табуны скота… Вот кончится праздник освящения мечети, будет свободнее, тогда поговорим…

Абай, как всегда, ни слова не ответил Майбасару. Вмешался Карабас:

— Думаешь, Абай сам не догадывается? Он у нас сообразительный, все понимает!

— Брось расхваливать меня, Кареке! Замолчи — конем подаришь! — ответил Абай и, обняв Карабаса, повис на его плече.

С ним он всегда разговаривал свободно, не как с Майбасаром. Карабас нравился Абаю, и он часто шутил с ним.

— Закончим дела, сдержу слово. Разговор с тобою впереди. И еще какой разговор! — повторил Майбасар, подчеркивая загадочный оттенок своих слов.

«Наверное, отец решил ускорить свадьбу… Тогда уж не до шуток…»— решил Абай. Он даже в лице изменился. Отчего? Он не понимал сам. Но едва речь заходила о свадьбе, в нем поднималось какое-то враждебное чувство. Самое имя Дильды, казалось, таило в себе неволю, насилие.

Он только нахмурился и блеснул глазами — единственный знак неодобрения, который он мог себе позволить: перечить Майбасару, своему дяде, он не решался.

Поравнявшись с домом, где жил Кунанбай, все четверо вошли в ворота. Здесь царил необычайный шум, двор был полон верховых и пеших. Во всех углах и закоулках толпились тяжебщики и, сгрудившись по пять — десять человек, вели переговоры. Одни и те же слова неслись отовсюду: «Волостные, бии… следствие, приговор… условия, взыскания… вина, мир, ссора…» Большинство приехавших принадлежало к роду Бошан. Их легко распознать по чапанам. Кое-где мелькала одежда тобыктинского покроя или же овчинная шуба и малахай с острой макушкой племени Керей.

Принадлежность к тому или иному роду определить не трудно; об этом говорит не только одежда. Вчера Карабас объяснил Абаю отличия тавра каждого рода, и сейчас, проходя по двору. Абай всматривался в коней, вокруг которых кучками толпились собеседники. Вот кони с круглым тавром, называемым «глаз», — значит, они принадлежат Аргызу и Бошану. Вот «бычье седло» — тавро Керея. «Чей же это серый конь? Э-э, да ведь он с тавром «поварешка», значит, кто-то из Наймана!»— подумал Абай. На двух конях стояло тавро, напоминающее арабскую букву «шин», — это тавро тюре, знатных лиц.

Абай был бы не прочь задержаться во дворе, но старшие, не останавливаясь, пошли прямо в дом. Жакип опередил всех и открыл дверь в комнату Кунанбая. Все четверо вошли вместе и в один голос отдали салем.

Большая светлая комната была устлана пестрыми коврами с причудливыми узорами. На стенах, как принято в городе, висели дорогие меховые шубы, вышитые молитвенные коврики, изречения, писанные на материи арабской вязью. Вдоль стен блестели металлические кровати, высились груды пуховых подушек, шелестели шелковые занавески. На дверях и окнах висели красивые сюзане. За большим низким складным столом, облокотившись на белые пуховые подушки, сидели на груде одеял Кунанбай и Алшинбай. На почтительный громкий салем они ответили сдержанно, чуть пошевелив губами.

Вошедшие сели по обеим сторонам собеседников. Алшинбай говорил о чем-то, но при их появлении прервал свои рассказ и взглянул на Кунанбая. Тот без слов, знаком лишь дал ему понять, что разговор можно продолжать и при них.

Алшинбай — полный, осанистый, румяный, седобородый — сидел, накинув на плечи лисью шубу поверх черного бешмета. Стеганная в узкую полоску казахская тюбетейка стального цвета не могла скрыть его большой лысины. Он продолжал начатое:

— Баймурын тоже хмурится. Он недоволен и не может скрыть своей обиды.

Кунанбай, насупившись, повернулся к Алшинбаю. Тот пристально посмотрел на него и добавил:

— Он заявил: «Говорят, Кунанбай будет недоволен, если я приглашу Божея в гости. С каких пор это Тобыкты распоряжается моими котлами?»

— А с чего это Баймурыну вздумалось биться его соилами?[56] Он этого не объяснил? — резко спросил Кунанбай.

Абай знал, о чем шла речь.

Позавчера отец долго разговаривал с Алшинбаем и в заключение сказал о Божее тяжкие слова: «Пусть лучше он перестанет подавать на меня жалобы. Иначе не успокоюсь и я, пока не наденут на него серого кафтана и не сошлют подальше!» Переговоры между Кунанбаем и Божеем и передача взаимных колкостей велись через Алшинбая и Баймурына — одного из самых знатных казахов Каркаралинска. Сегодня, видимо, Алшинбай приехал, чтобы сообщить, куда гнет противная сторона.

Кунанбай и раньше знал, что Баймурын поддерживает Божея. Слова Алшинбая только подтвердили это. С Баймурыном Кунанбай и разговаривать не хотел: не он был его главным противником. Пусть себе обижается, — его обиды могут волновать только Алшинбая, а Кунанбая они не трогают. Да и сам Алшинбай не станет, пожалуй, коситься на Кунанбая из-за обид своего сородича Баймурына. Связь их прочна, она неоднократно испытана за последние годы, сватовство и дружба для них важнее, чем родственные отношения с другими.

Алшинбай помолчал, обдумывая. Потом заговорил:

— Выслушай сперва ответ Божея на твою угрозу, а об остальном посоветуемся после. Он сказал так: «Серый кафтан кроил не наш мирза: он скроен богом, и неизвестно еще, кому придется носить его…» Кто-то его подстрекает. Может быть, сам Баймурын, а может, кто-нибудь другой…

Услышав о вызывающих речах Божея, Майбасар и Жакип переглянулись и нахмурили брови, словно говоря: «На беду напрашивается…» Абая весь день волновало, что может ответить Божей, но то, что передал Алшинбай, поразило его. Он невольно подумал: «Какой ненавистью порождены такие слова!.. И какой он смелый!..»

Кунанбай поднял голову и, глядя своим единственным глазом прямо перед собой, долго сидел молча. Хмурое, бледное его лицо еще больше помрачнело. Он весь ощетинился, но больше не выдал себя ничем — ни движением, ни звуком, ни словом. Всю злобу он затаил в себе, внутри у него все клокотало, но он оставался непроницаемым.

Алшинбай отвел от него взгляд: лицо Кунанбая поразило даже его.

В комнате все молчали. Карабас, задержавшийся во дворе, тихо открыл дверь и вошел, осторожно ступая.

— Майыр[57] приехал, мирза… — доложил он.

Кунанбай не шелохнулся и при этих словах. Дверь распахнулась, и на пороге появилась огромная, пышущая здоровьем фигура майора. За ним следовал переводчик Каска, сухощавый, бледный казах с узкой, торчащей вперед бородой.

Майор пожал руку Кунанбаю и Алшинбаю. На пол он не стал садиться, а опустился против Кунанбая на единственный стул, стоявший у стола. Большие голубые глаза майора немного косили. Лицо его обрамляла курчавая светлая густая борода. Багровый затылок был в жирных складках.

Обычно между собою казахи не называли «майоров» по имени: они давали им прозвище по их внешнему виду. Прежних майоров звали по какому-нибудь отличительному признаку: «усатый майыр», «жирный майыр», а одного — рябого — «дергач-майыр».[58] Внешность нынешнего начальства давала повод для самых разнообразных прозвищ. Его звали «косоглазый майыр», «волосатый майыр», «брюхатый майыр». Кунанбай и Алшннбай, считавшие его человеком крайне недалеким, держали его под кличкой «пискенбас-майыр», что означало «вареная голова».

Казахи называют округ — «дуан», а правителей его — «главой дуана». Главой дуана Каркаралы были Кунанбай и майор: Кунанбай считался начальником округа, а «пискенбас- майыр»—его помощником. Поэтому-то к имени Кунанбая и добавляли почтительно: ага-султан. Младший султан — третье лицо в управлении — нынче был в отъезде.

Майор пришел к Кунанбаю по делу Божея. Для Кунанбая, разъяренного дерзким ответом Божея, приход его оказался кстати. Кунанбай прямо приступил к делу:

— Майыр, твои предки не из Тобыкты, но, кажется, ты обзавелся родственниками здесь, в Каркаралинске. Говорил я тебе, что Божея надо сослать и кончить все это дело? А ты тянешь, как затяжная болезнь. Что он — в печенке у тебя засел или родичем стал?[59] Почему ты ему так сочувствуешь?

И он пристально уставился на майора своим одиноким глазом. Тот обернулся к переводчику, жестом требуя объяснения.

Каска ужасался в душе, слушая Кунанбая. Он в нерешительности посматривал то на него, то на майора. С одной стороны запас русских слов у толмача был слишком мал, чтобы передать сказанное, с другой — он просто не осмеливался переводить гневные слова одного начальства другому. Он медлил, царапая ногтем ковер на полу, растерянно улыбаясь и ерзая на месте.

Кунанбая взорвала эта медлительность.

— Эй, толмач! Передай ему в точности все, что я сказал! Что ты вертишься, как трясогузка над норкой?

Сравнение вызвало громкий смех Майбасара; но, взглянув на суровое лицо Кунанбая, он спохватился, хотя смех душил его. Абаю тоже понравилось сравнение отца: переводчик своим жалким видом действительно напоминал вертлявую птицу, подпрыгивающую на песке.

Каска медленно, но точно перевел сказанное Кунанбаем. Майор не смутился. Он начал не торопясь, спокойным громким голосом:

— Власть нам дана не для того, чтобы мстить тем, с кем мы в ссоре. От Божея Ералинова поступило много жалоб, мы обязаны проверить. Кроме того он не один, за него стоят многие. Пока от его ссылки следует воздержаться.

После этих слов оба заговорили быстро, горячо, перебивая друг друга.

— Ты хочешь держать нас в вечной тяжбе? Этого ты добиваешься?

— Я не один… Бывшие ага-султан Кусбек и Жамантай тоже такого мнения. Даже Баймурын, — вот Алшинбай знает его, — и он рассуждает так же.

— А кто они? Одиночки! Их меньшинство! В них говорит зависть. А народ за меня. Ты разве не видишь этого?

— Меньшинство? Пусть будет меньшинство. Закон дан царем, а перед ним равны все. Они свидетели: надо выслушать и их.

— Ты — судья. Как же не обнаглеть преступнику, раз ты стоишь за него?

— Кунанбай-мирза, такой упрек — палка о двух концах!..

— Знаю! Все твои шашни знаю!

— Ага-султан, не забывайтесь! Мы с вами оба поставлены корпусом![60] — сказал майор.

Он закурил трубку, встал и начал ходить взад и вперед по комнате, весь багровый от возмущения.

Алшинбай решил прекратить разговор. Если оба начальника пойдут дальше, то их перебранка перейдет в ссору. Это нежелательно. Алшинбай не может допустить такого оборота дела, который повредит Кунанбаю, да и ему самому тоже. До сих пор он сидел неподвижно, облокотившись на стол, но сейчас быстро поднял голову.

— Э, мирза! Э, майыр! Опомнитесь! — сказал он громко. Алшинбая уважал не только Кунанбай, но и майор, которому неоднократно приходилось советоваться с ним по разным серьезным делам. До сих пор между ними не произошло ни одной размолвки. Кроме того Алшинбай всегда был решающей силой при выборах волостных и даже ага-султанов, хотя и не принадлежал к представителям официальной власти. Майор это хорошо знал, и с этим приходилось считаться. При первых же словах Алшинбая он, стоя во весь рост, искоса бросил взгляд в сторону Кунанбая. Было видно, что слова Алшинбая подействовали и на того.

Майор опять опустился на стул. Он дышал тяжело, как при сильном сердцебиении. Волнение сжимало ему горло:

— Не пререкайтесь так, правители. Это не годится, — начал Алшинбай.

Переводчик, наклонившись к майору, стал быстро переводить слова Алшинбая.

— Вы — опора друг для друга. Будете в согласии — сумеете править народом. Разве вы сможете управлять вразброд? Раздоры и дрязги вас погубят. Работайте согласно. А если сами не сможете договориться, советуйтесь с такими, как мы. Вот вам мой совет! — закончил Алшинбай и посмотрел на обоих. Он убедился, что они немного успокоились после вспышки. — А что касается дела Божея, — продолжал Алшинбай, слегка наклонясь к Кунанбаю, — то я из-за него и приехал, Кунанбай-мирза… Майор, прошу вас отложить решение до вечера. Можете ли вы оба подождать с разбором некоторое время? Ответьте на мой вопрос прямо.

При последних словах Алшинбая из передней комнаты появился Карабас с большой глубокой миской кумыса. Майбасар, Абай и другие неслышно поднялись, разостлали скатерть и расставили перед старшими деревянные, выкрашенные блестящей краской чашки. Майбасар перебалтывал кумыс черпаком из рога дикого барана. Густая влага, чуть пожелтевшая от кожаной посуды,[61] не вспениваясь, плавно колыхалась пологой, спокойной зыбью. На скатерть были поставлены чашки с баурсаками из кислого теста.[62] Карабас принес и горячее, — это было не обычное мясо или куырдак,[63] а любимое блюдо Кунанбая, называвшееся «жау-буйрек»,[64] которое он ел с кумысом.

Когда Алшинбай замолчал, Кунанбай обратился к нему и к майору, указывая на еду:

— Кушайте, поднимите чашки!

И он совершил молитву, проводя ладонями по лицу. С тех пор как Кунанбай, начав строить мечеть, сблизился с муллами и хазретами, он стал проявлять большую набожность и благочестие. Не зная по-арабски, он, однако, выполнял все обряды, совершал молитву, обводя лицо ладонями, и не упускал случая сказать «бисмидля».

Угощение прервало речь Алшинбая, но и говорнть-то дальше было не о чем. Раз Алшинбай брался уладить дело, майор тоже не счел нужным упорствовать. Если возникнут затруднения, дальше будет видно, как поступать. А если все разрешится благополучно, нет ничего разумнее, как предоставить дело Алшинбаю.

— Ты прав, — сказал он Алшинбаю, — я согласен. Буду ждать. Разговор перешел на другое. Майор охотно принялся за кумыс и выпил одну за другой пять чашек. Потом, отведав жау-буйрека, попрощался и уехал. Переводчик вышел за ним. Скатерть убрали.

Тогда Кунанбай высказал вслух мысль, которая, видимо, не давала ему покоя:

— Похоже, у этой «вареной головы» зоб крепко набит взятками. Видели вы, как его настрочили? Божей и Байсал через Баймурына набили-таки ему брюхо!

Алшинбай сам думал то же, но смотрел глубже, и у него возникло новое подозрение. Взволнованный и сосредоточенный, он не сразу ответил на слова Кунанбая и, помедлив, сказал задумчиво:

— Боже мой, да разве есть тут начальник, который не брал бы взяток? Разве не берут они все и справа и слева, разве не глотают в два горла? Дело не только во взятке…

И Алшинбай перешел к тому, с чем, собственно, он и приехал к Кунанбаю. Собрав по привычке глубокие складки на лбу, он заговорил, щуря глаза:

— Я стою в стороне и зорко слежу за каждым шагом, за каждым отзвуком твоего дела. «В игре посторонний видит лучше, чем игрок», — говорил мой отец. И я за ним скажу: тобыктинцам пора кончать игру. Если сейчас не остановиться, дело может принять скверный оборот…

Это заключение свата было для Кунанбая полной неожиданностью.

— Алшеке! — воскликнул он. — В степи Божей и Байсал грызли мне ноги, а здесь, в дуане, они норовят вцепиться мне в горло! Как после этого мне не идти на все?..

Алшинбай чуть приподнял левую руку и заговорил снова:

— Если ты намерен бороться и дальше, ты, конечно, пойдешь на все. Но ведь они тоже ничего не пожалеют для борьбы. Не забывай про майыра! Разве мало всяких Баймурынов, которые так и цепляются за любую сплетню и клевету? Ты думаешь, они считают, что ага-султанство ушло от них навсегда? Они не перестают сторожить тебя на каждом перевале и теперь уж постараются стащить тебя с коня. Подумай. Тяжебное дело, в которое будет впутано твое имя, к хорошему не приведет…

Кунанбай понял намек. И майору и Алшинбаю ясно, что борьба между двумя крупными родами вызвана только личной враждой. Кто поручится, что при дальнейшем следствии не всплывет вопрос, как мог Кунанбай, ага-султан, устроить набег на аул Божея, связывать людей, бить плетьми? Кто поручится, что дело не примет нежелательного оборота? Пыль поднялась в разных местах: «жалоба Божея»… «надо разобраться»… «они — свидетели», — это искры одного пламени…

Кунанбай в раздумье посмотрел на Алшинбая, но не сказал ни слова, — он хотел, чтобы тот высказался до конца. Алшинбай ответил ему таким же пристальным взглядом и заговорил значительно:

— Сегодня закончена постройка мечети. Слава вознесла тебя над всеми. Имя твое известно повсюду. Многие завидуют тебе, и в первую очередь тот же корпус и тот же майыр. Если ты сам прекратишь борьбу, это не будет для тебя унижением, — все поймут, что ты прощаешь врага и хочешь «очиститься от скверны мирской при совершении святого дела», как говорит коран. Да не будет сородич твой Божей врагом тебе. Не бросай его в объятия чужих, сроднись с ним, сблизься, помирись, — заключил он.

Кунанбай долго хранил молчание. Когда о мире просит Алшинбай, нужно подумать, прежде чем отказать. Алшинбай — самый влиятельный бий во всем Каркаралы. К нему идут целые племена за разрешением тяжеб и ссор… А кроме того ведь лишился же своего ага-султанства тюре Кусбек, не поладив с ним!..

В Каркаралинском округе племя Тобыкты не самое сильное и многочисленное. Кунанбай получил ага-султанство благодаря дружбе с Алшинбаем… Да, если продолжать преследовать Божея как врага, он и повергнутый на землю не перестанет кусать за ноги. Дело идет к этому. А потом, если уж говорить об обидах, то ведь обиду-то нанес Божею он, Кунанбай. А чем оскорбил его Божей? Ничем!.. Раз просит Алшинбай — нужно согласиться. Это решение, конечно, не означает, что надо круто повернуть и сдаться сразу…

Будь это не Алшинбай, а кто-нибудь другой, ага-султан не решал бы так быстро. Но с Алшинбаем — другое дело. Потому Кунанбай больше не колебался.

— Алшеке, — начал он, — ты говоришь, все обдумав и взвесив заранее. Говоришь, как друг. Если я не пойму этого, вина ляжет на меня самого. Я не хотел отступать. Но разве я могу не послушать тебя и упорствовать? Все вверяю богу и тебе, — доведи дело до конца сам.

Разговор был кончен. Алшинбай вернулся к себе.

Абай обрадовался за Божея. Он почувствовал даже расположение к Алшинбаю. Суровый лик вражды исчезал, вокруг тепло и радостно повеяло миром. Абай приветствовал его появление облегченным вздохом.

В тот же вечер Абай ушел один бродить по городу. Когда ему становилось грустно или, наоборот, когда его что-нибудь радовало, он всегда искал одиночества.

День уже догорал, но солнце еще не зашло. Над гребнем лесов, покрывавших холмы на западе, повисло огненно-красное полотнище. В горах, должно быть, поднялся ветер, — по голым склонам поползла поземка, снег то лениво кружился, то взвивался облачками, красноватыми от закатных лучей.

В городе ветра нет, но мороз щиплет и подгоняет и без ветра. Такие дни бодрят душу, отгоняют уныние. Склоны холмов, обращенные к городу, медленно окутываются сумерками. Каменистые бугры перед ними тоже исчезают, точно уходя на ночлег.

Абай прошел уже три-четыре квартала, когда навстречу ему показалась целая толпа. Люди шли, громко и весело разговаривая. Абай не заметил среди них ни одного знакомого. Из того, что они шли по улице пешком, Абай заключил, что это городские жители.

Толпа, объединившая и молодежь и пожилых, говорливая, смеющаяся, дружная, невольно привлекла его. Он улыбнулся в остановился посреди улицы, весело поджидая ее приближения. Люди подошли, громко скрипя ногами по утоптанному снегу, и никто не обратил на него внимания. Теперь стало видно, что все окружали почтенного, благообразного старика. Старик смеялся сам и смешил других.

Абая поразило, что старика вели под руки. Он шел не поворачиваясь и не оглядываясь, да и разговаривая, не смотрел на собеседника. Абай внимательно посмотрел на лицо этого необыкновенного старика и понял, что тот был слеп.

Когда толпа поравнялась с Абаем, он присоединялся к ней. Да и не только он, — все, кто стоял у ворот или шел навстречу, вливались в толпу, увлеченные дружным потоком.

Один из прохожих, уже пожилой, с бородой, тронутой серебром, немного отстал. Абай спросил его;

— Кто это?

Тот даже удивился:

— Неужели ты не знаешь Шожекена? Вот удивительно! Это же Шоже. Шоже-акын!

Имя Шоже Абаю было известно давно, но видел он его впервые. Узнав, что это знаменитый акын, Абай тотчас пробрался в передние ряды, силясь рассмотреть Шоже поближе, и стал прислушиваться к его словам.

— Шожеке, зайдите к нам! Ведь уже подошли к нашему дому! Это я, Бекберген! — обратился к акыну один из сопровождавших.

— Ну нет, он к нам пойдет!

— Эй, полно вам, я его издалека привел…

— Брось ты говорить! Шожекен у нас ночует! И конь его у нас стоит! — вмешался еще кто-то.

Услышав пререкания, Шоже остановился. Он громко рассмеялся. — голос у него был звучный, ясный.

— Уа, друзья, сказать вам мое желание? — спросил он. Толпа ловила каждое слово почтенного старика.

— Говорите, говорите. Шожеке! Решайте сами, говорите! Выбирайте сами, где вы хотите переночевать!

— Итак, родные, вы хотите угостить меня и приготовить мне мягкую постель… Вы обрадовали мою душу, родные. И я докажу это, я зайду ко всем, кто сейчас кричал: «Ко мне, ко мне!» Погощу у всех… Надеюсь, что за какие-нибудь пять — десять дней горло Шоже не завалится камнем. Если брюхо мое выдержит, я обойду всех, кто здесь кричал, и буду угощаться у них по очереди. А сейчас начало морозить. Наверное, уже вечер? Дети мои, хватит вам тянуть мои старые жилы в сорок сторон, — не завернем ли мы просто в ближайшие ворота?

Все с улыбкой слушали старика. Пришлось согласиться с ним. Ближайшие ворота были туг же: толпа стояла перед ними.

Хозяин опрометью побежал к себе. Но толпа не хотела расходиться, — жаль было оставлять Шоже. Все знали, что гость сегодня к ним уже не попадет, и никто не мог уйти, не послушав хоть немного его песен.

Старик, стоявший возле акына, решил, видимо, подзадорить его.

— Шожеке, — сказал он, — ты ведь только что приехал в город. Слышал ты о здешних делах?

— Нет. Расскажи-ка, о чем толкуют?

Новостей оказалось много. Мечеть, построенная Кунанбаем, закончена: Алшинбай и Кунанбай хотят устроить по этому случаю пир; кроме того ходят слухи, что Кунанбай решил помириться со своим сородичем Божеем.

Абай был поражен: он никак не ожидал, что услышит Здесь имя своего отца. «Мечеть мечетью, — подумал он, — но, оказывается, народу известен каждый шаг отца, каждая его ссора!»

— Алшинбай сведет и помирит кого угодно!

— Э-э, он просто боится, что, перессорившись со всеми, Кунанбай может слететь!

— А кто же и выдвинул Тобыкты, как не он? И честь, и власть, и возвышение — все получено через него!

— Алшинбай горой стоит за них!

— А тобыктинцы поедают все, что пожирнее в табунах, загребают все, что есть лучшего в лавках!

— Как видно, они не уедут, пока не слопают всех жирных лошадей вокруг Каркаралы!..

Шоже с полуулыбкой слушал новости и вдруг неожиданно запел своим звонким голосом:

Лысый кот и ворон кривой дружбу свели.

Взяли хромого пса: «Бога о нас моли!»

Лысый отдал кривому все, чем живет народ,

И все, чем живет народ, ворон кривой склюет…

Все расхохотались, а некоторые даже защелкали языком, пораженные меткостью и быстротой старого акына.

— Лысый кот — это же Алшинбай!

— А ворон — Кунанбай!

— И хромой имам тут же!..

— Неукротимый старик одним стихом всех их уничтожил! — наперебой заговорили кругом.

Абай невольно смутился и отошел в сторону. В эту минуту вышел хозяин дома и повел Шоже к себе. Абай повернулся и быстро пошел домой.

Песня Шоже все еще звучала в его ушах. Казалось, она проникала в самое сердце. Абай запомнил каждое ее слово и невольно повторял про себя.

Эти строки одним ударом сровняли с землей две вершины.

Тот, кого никто не смел назвать иначе, как почтительным именем «Алшекен», превратился в «лысого кота», — лысину Алшиибая все хорошо знали. А собственный отец Абая — «ага-султан», «мирза» — стал вороном. Да еще каким! Он, избранник, купающийся в несметном богатстве, властитель необъятного Тобыкты, — хищный ворон, безнаказанно клюющий все, что есть лучшего, ценного у народа!

Что в мире сильнее слова?.. Абай вспомнил хитроумного Каратая: «Слово все внутренности пронзает», — говорил тот.

Абай целиком ушел в свои мысли. Ему казалось, что сейчас он познал ту великую силу, которой дано потрясти мир. Не замечая ни улиц, ни прохожих, он шел, поглощенный своими думами.

Повернув за угол, он столкнулся с тремя всадниками. Абай поднял глаза. Посредине на гнедом коне ехал Божей. Бледное лицо его под лисьим малахаем было угрюмо, вечерний иней покрывал усы белым налетом. Рядом с ним ехали Байсал и Байдалы.

Абай на миг оцепенел, ему еще не приходилось встречать Божея в городе. Но, быстро овладев собою, он стал посреди дороги, точно хотел что-то сказать всадникам. Верховые придержали коней — то ли от неожиданности, то ли узнав его.

Абай с особенной почтительностью, приложив правую руку к груди, отчетливо отдал салем:

— Ассалаумаалейкум!

Наставник в медресе учил их, что такой салем они должны отдавать при встрече с хазретом. Может быть, Абаю вспомнилось напутствие матери при отъезде в Каркаралинск? Нет, это почтительное приветствие вырвалось у Абая почти помимо его воли.

Необычное поведение встречного мальчика удивило Божея. Он остановил коня.

— Уагалайкумассалем,[65] сын мой, — сказал он.

Байсал, вглядевшись, узнал Абая. Он недовольно поморщился.

— Э, вот это кто!.. Ну, хорошо, едем! — сказал он и хотел было тронуться.

Но Божей коротко остановил его:

— Постой.

— Зачем? Неужели ты думаешь, что мне приятно слушать салем сына этого проклятого? — возразил Байсал и угрюмо посмотрел на Абая.

Щеки Абая вспыхнули. Пламя, казалось, обожгло не только лицо, но и всю душу. Незаслуженно обиженный, ни в чем не виновный мальчик сверкнул на Байсала полными огня глазами.

Божей сразу понял, что происходило в душе Абая.

— Скажи мне правду, сын мой: это отец приказал тебе отдать салем при встрече с нами или ты поступил так по своему желанию?

— Отец ни при чем, Божеке. Это — мое желание.

То прекрасное ощущение согласия, мира и тишины, с которым он вышел из дома отца, все еще жило в Абае.

О решении Кунанбая прекратить тяжбу ни Божей, ни Байсал еще ничего не знали. Они ехали сейчас к Алшинбаю, который послал к ним человека с просьбой прибыть для переговоров, но о цели их не догадывались.

— Если ты сделал это сам, без наказа отца, — тихо сказал Божей, — подойди, я хочу дать тебе благословение. В твоих глазах я вижу благородный огонь, дорогой мой!

Байсал опять недовольно поморщился и хотел отвернуться. Но Божей заметил его движение.

— Эй, Байсал, этот юноша обещает многое. — И он снова обратился к Абаю — Будущее ляжет на твои плечи, сын мой. Дай бог тебе счастливого пути. Да наградит тебя бог всем, кроме жестокости твоего отца! — и он провел ладонями по своему лицу.

Абай, не сводя с него глаз, принял благословение, раскрыв ладони и проведя ими по лицу в свою очередь.

Всадники отъехали. Байдалы сказал Божею:

— Его глаза сияют, как горящий уголь саксаула.

Абай долго стоял в задумчивости.

Правда ли это? Искренне ли говорил Божей? Может быть, он просто пожалел мальчика, оскорбленного суровыми словами Байсала? Что заставило Божея так тепло благословить его? Как сумел Божей в одно мгновение проникнуть в душу Абая и понять ее? Ведь он так мало знал его! Но старики опытны, проницательны, мудры, — думал Абай, продолжая свой путь. И если Божей увидел в нем что-то хорошее, значит, Абай не так уж плох, как ему самому кажется.

Чем больше Абай раздумывал, тем больше торжествовало в нем юное самолюбие. Ему казалось, что сердце его поднимается куда-то ввысь на больших, сильных крыльях.

Абай ускорил шаг. Он только сейчас заметил, что стало совсем темно. И только сейчас сообразил, что прошел два лишних перекрестка. Ему пришлось повернуть обратно.

Сумерки, которые в ауле Абай любил встречать в одиночестве на холме, здесь, в городе, вызвали в нем особенно сильное чувство. Минувшим летом Абай не раз видел ястребиную охоту. Когда наступают сумерки и тьма борется со светом, ястреб, взлетевший в небо и освещенный закатившимся уже солнцем, горит таинственным пламенем, и крылья его сверкают, как огненные языки. В этот вечер таким огненосным ястребом казалось Абаю его собственное сердце. Он весь был восторженно, чутко напряжен.

Нынешний день так отличался от всех предыдущих! Днем — отец и Алшинбай, вечером — Шоже и его спутники, сейчас— Божей и Байсал, только что скрывшиеся в темноте… Какие различные миры столкнулись в тесном Каркаралинске! И какие неизмеримые расстояния между ними! Они далеки друг от друга, как четыре стороны света. В одном — власть, в другом — искусство, в третьем — сердце. Почему эти потоки не сольются в один? Что было бы, если бы эти люди сошлись и действовали вместе?

Эта мысль озарила Абая внезапно. Ему казалось, что до него никто не думал так. «Разум, воля…» «Власть, слава, достоинство…» О постоянной борьбе между ними он много читал в книгах…

И вот он столкнулся с их борьбою в жизни. И сделал новое заключение: они должны совместиться в одном человеке.

Сколько разных людей он встретил в городе, сколько новых мыслей зародилось у него в голове! Он собственными глазами видел знаменитого Шоже и слышал его своими ушами…

Оживленный и бодрый вошел Абай к Майбасару. Было уже совсем темно. В прихожей он сбил с подошв примерзший снег, топая крепче и смелее, чем обычно, обтер ноги о половик и, не останавливаясь, прошел в гостиную комнату. Щеки его зарумянились от мороза, быстрый взгляд блестящих черных глаз горел совсем по-новому.

Комната была полна сородичей. Не одолев днем и десятой части жирной конины, они теперь накинулись на нее со свежими силами. Только что появился большой медный самовар, и все принялись за крепкий душистый чай. Майбасар с довольным видом взглянул на Абая.

— Абайжан, — сказал он, — где ты пропадал? Иди раздевайся, выпей чаю! Погрейся!

Подвинувшись, он освободил Абаю место возле себя. Мальчик не торопясь разделся и сел. Жакип со смаком прихлебывал чай.

— Пейте скорей, — торопил он сидящих, — пора идти в дом мирзы!

— Да, да, — подтвердил Майбасар. — Угощение готово, комнаты тоже… Говорили, что гости придут после вечернего намаза.

— Куда торопиться? В новой мечети намаз затянется.

— Еще бы! Ведь мулла Хасен только что возведен в имамы. Должен же он показать себя!

— Конечно! Читать будет не торопясь, нараспев, по уставу, — рассуждала молодежь, назначенная разносить блюда на пиру у Кунанбая.

— Да что вы болтаете, — нетерпеливо сказал Жакип, — ведь и вам сперва надо пойти на намаз в новую мечеть! Майбасар, разве ты не пойдешь?

Но Майбасар, как видно, не так уж беспокоился о намазе. Он с улыбкой повернулся к Абаю:

— Ну, разве в такой толпе нам останется место? Пройдешь вперед, а потом и не выберешься вовремя, до прихода гостей.

— Неудобно же не идти! Мирза узнает, будет бранить, — возразил Жакип неуверенно. — Сядем у дверей, тогда выйдем первыми.

— Мирзе мы что-нибудь соврем, — усмехнулся Майбасар, — а сидеть у дверей как-то не хочется. Конечно, любое место в святой мечети равно почитаемо. Но не стеречь же мне во имя намаза сапоги всяких бошанов и карашоров и не бить же лбом в то место, которое они топтали своими неуклюжими ногами!

Майбасар говорил о намазе с насмешкой. Смелые шутки дяди понравились Абаю. Он рассмеялся.

Но Жакип не одобрял Майбасара: в час, когда открывалась долгожданная мечеть и вся знать Каркаралинска собралась туда для совершения первого намаза и когда все благословляли Кунанбая, шутки были неуместны. «Невоздержан, как всегда, болтает все, что придет на язык», — подумал он о Майбасаре.

— Если вы что-нибудь понимаете, эта мечеть должна прославить нашего мирзу, а с ним — и нас всех! — сказал Жакип многозначительно.

Майбасар сразу же принял серьезный и важный вид.

— Да, да, — присоединился он, — эта мечеть сразу засыплет песком глотки всем нашим врагам! Божей уже, наверное, почувствовал это. Недаром он добивается мира!

Кто добивается мира — было еще неизвестно. Но разве окружающие Кунанбая могут не хвастаться: «Божей струсил! Божей понял свое бессилие и ищет мира!» Тот же самый Майбасар первый распространяет эти слухи.

Жакип подхватил:

— Почтенный Алшекен — настоящий друг, он всей душой за нашего мирзу — и что он нынче сказал? «Слава мирзы растет, и ей завидуют все — и народы и властители». Он совершенно прав. Майыр сейчас бесится оттого, что мирза построил мечеть, заслужил всеобщее уважение и славу и затмил его…

— «Вареная голова» злится не только потому, — поправил его Майбасар, — он, наверное, получил немалые взятки от Божея и Байсала, вот и упорствовал… Теперь ему и тут убыток, разве ты не понимаешь? — Майбасар рассмеялся. — Больше ему не с кого брать: мир с Божеем будет заключен сегодня вечером. Ты слышал, что он приедет и в мечеть и на праздник к мирзе?

Об этом не знали ни Жакип, ни другие присутствующие. Абай тоже услышал об этом впервые. Все замолчали, изумленные новостью. Каждому хотелось посмотреть на Божея, когда он прибудет для примирения с Кунанбаем.

Майбасар был очень доволен произведенным впечатлением.

— Алшекен сопутствует каждому доброму начинанию, — заметил он. — Не зря погнали стада в его аул!

Он слегка наклонился в сторону Абая и пристально посмотрел на него.

— Понял? Попробуй-ка, сынок, не поехать теперь к невесте! — сказал он, снова принимаясь за свои шутки.

Но смутить Абая сейчас оказалось не так легко, как прежде. На этот раз в нем не было и тени робости.

— Майеке, опять вы начинаете! Вот возьму и вовсе не поеду, — ответил он и с усмешкой повернулся к другим.

— Ой, беда! Мальчуган совсем струсил! Пословица говорит: «Жених и в гробу не улежит, если калым отдавать начал…» Что с тобой? Тебя ждет невеста с шейкой нежной, как пух сокола. Она думает: «Попробуй не приехать и на этот раз!»— И Майбасар снова принялся вышучивать подростка.

Но Абай и туг не смутился. Он ответил Майбасару насмешливой улыбкой, взял домбру, стоявшую за его спиной, и начал молча наигрывать. Майбасар тоже молчал, ожидая ответа. Не добившись его, он заговорил снова:

— Отвечай же! Всех этих жигитов дам в провожатые, только согласись съездить!

— А я говорю — перестаньте, Майеке!

— И не подумаю!

— Боже мой, какая зам от этого выгода? Было бы еще понятно, если бы вы были женге.[66]

— Хоть я и не женге, но и мне будет неплохо!

Абай рассмеялся и спросил с необычным для него озорством:

— Вы и вправду не перестанете?

Он бросил играть, положил перед собою домбру и пристально посмотрел на Майбасара. В его живых глазах светились лукавые искорки.

— Не перестану! Ну? Поедешь? — И Майбасар вызывающе уставился на него.

Абай прищурил смеющиеся глаза, совсем как Шоже, которого он только что видел, поднял голову и запел:

Уа, просил я вас перестать.—

Вы же стали шутить опять!

Или ваш карман, Майеке.

Стало нечем теперь набивать?

Вы обшарили все углы.

Обобрали Каркаралы,

Все вам мало — и вот вдали

Вы еще кого-то нашли!

Хороша Алшинбая дочь,—

Вы и там поискать не прочь!

Иль зарок дан вами вперед

Все отведать, что жизнь дает?

О невесте оставьте речь.

Что вас может туда привлечь?

Не шутите больше со мной!

Что я, право: бык племенной

Алшинбаю в его стада?

Кайнага,[67] не стоит труда

Выбиваться дальше из сил:

Я и так уж вас наградил!

— и Абай со смехом прижался к плечу Майбасара.

Жигиты расхохотались, пораженные неожиданной выходкой, песня понравилась всем. Майбасар, растерявшись, не нашелся, что ответить. При последних словах песни он только покачал головой и крепко выругался.

— Ну и ну! Вы смотрите, что выделывает этот озорник! — усмехаясь, сказал он, — Как же мне теперь быть?

Абай насмешливо подзадорил его:

— Отвечайте, Майеке, если хотите! Но только в стихах, иначе и слушать не стану. — И он замотал головой.

— Так тебе и надо, — заливался Жакип, весь красный от хохота. — Будешь еще приставать к нему? Получил по заслугам? Поделом, поделом тебе!

— Так ведь он— потомок Шаншара! Это он в родню Улжан пошел!.. Вот погоди, вернемся в аул, я тебе отплачу: все расскажу твоей матери! — пригрозил Абаю Майбасар.

Остальные сразу поняли его намек.

— Ясно, он же Тонтай!

— Прямой потомок!

— Острая шутка! Прямо Шаншаровы колкости! — наперебой заговорили все.

— Ну, нет, я думаю, что он эту песню откуда-то принес! Разве этот бездельник умеет сам сочинять? — Майбасар все еще не мог прийти в себя от изумления.

Действительно, никто никогда не замечал, чтобы Абай сочинял песни. Мальчик сам не ожидал, что его шутка произведет такое сильное впечатление. Он даже смутился.

— Это не я сочинил, — сказал он и добавил, лукаво улыбаясь: — Я только что видел Шоже, это его песня.

Жигиты не знали, верить или не верить его словам. Посыпались расспросы.

Абай не растерялся. Улыбаясь, он спокойно продолжал:

— Я рассказал ему, что есть у меня такой дядя Майбасар, — дразнит, не дает покоя. Научите, говорю, что отвечать? Он и пропел мне эту песню!

И в самом деле: веселое остроумие, меткие, словно колющие слова и тонкая, умная насмешливость Шоже все еще жили в душе Абая. Он и сам был очень доволен тем, как ему удалось сразить Майбасара. «У меня и вправду получилось, как у Шоже. Вот если бы мне на самом деле стать таким, как он!»— даже с завистью подумал Абай.

Жигиты, пораженные его выходкой, недоверчиво слушали рассказ о Шоже. Внезапно дверь распахнулась и вошел Карабас. Все стихли. Не успев переступить порог, Карабас громко оповестил сидящих:

— Скорее! Намаз окончен! Гости собираются к мирзе! Вас зовут! Поторапливайтесь все!

Все вскочили и начали торопливо одеваться. Абай не знал, как ему быть. Жакип сказал ему:

— Прислуживать гостям и разносить блюда тебе не дадут, а сидеть вместе с отцом среди старших — тоже неудобно. Там и так будет много народу. Оставайся лучше здесь.

Абай и сам не возражал бы против этого. Но Майбасар и Карабас посоветовали другое:

— Посмотрел бы по крайней мере на гостей и отдал бы им салем!

— Погляди хоть, как в этом городе гостей принимают! Пригодится, поучишься!

Последние слова убедили Абая, и он не спеша один пошел к отцу. Все остальные далеко опередили его.

Когда он подошел к дому, гости, проголодавшиеся за время продолжительного намаза, уже сидели за угощением.

Во дворе, полном оседланными лошадьми, не было никого, кроме слуг и людей, занятых стряпней. Серебристая пыль ночного инея покрывала коней в богато украшенных сбруях; тихо поскрипывали полозья легких нарядных санок. Кое-где на облучках клевали носом конюхи, укутанные в овчинные тулупы.

Прямо против крыльца большого деревянного дома помещалась отдельная кухня. Дверь ее то и дело хлопала. Жигиты, только что сидевшие у Майбасара, один за другим выносили блюда с горячим, дымящимся мясом. Майбасар и Жакип вертелись между парадными комнатами и кухней, — в доме, полном гостей, им тоже не досталось места.

Угощением распоряжался Изгутты.

— Сюда! Да ну, быстрее! Давай сюда! Живей, живей, — коротко командовал он.

В легком бешмете, подбитом мехом, с засученными рукавами, быстрый, расторопный Изгутты напоминал охотника. Видно было, что он не щадил сил, только бы угодить гостям и хозяину.

Абай подошел к дверям большого дома. Прямо на него вылетел Карабас и бросился к кухне. Абай посторонился. Пропустив его, мальчик снова попытался войти, но за его спиной раздался повелительный окрик Изгутты:

— Посторонись! Посторонись!

Из кухни мчались четыре жигита с глубокими блюдами, наполненными мясом. Абай опять остановился, уступая им дорогу. Жигиты гуськом пронеслись мимо. Толстое казы,[68] слоящиеся курдюки, желтое сало загривка и вымени, напоминающее расплавленное золото, дымились на морозе. Голова барана увенчивала каждое второе блюдо. Пропустив и их, Абай на этот раз сделал решительное движение, чтобы войти. Но навстречу ему стремглав вылетел Каратай и чуть не сбил его с ног.

— Эй, где туздык?[69] Вы же говорили, что подадите его отдельно?

— Сейчас! Туздык готов! Вот он! Несут! — закричал Изгутты Каратаю.

Раздосадованный тем, что ему пришлось так долго стоять у дверей, Абаи наконец вошел в прихожую. При входе он нечаянно толкнул под локоть Изгутты, когда тот, стоя к нему спиной, разливал туздык по блюдам. Струйки навара полились на пол.

— Ах ты, негодный! Кто это там! — сердито повернулся Изгутты. Увидев Абая, он снизил тон и сказал недовольно: — А, это ты, Абай! Сидел бы лучше, дорогой, где-нибудь в уголке. Что тебе надо в этой сутолоке?

Абай прижался к стене, осматриваясь. В прихожей на полу рядами стояли калоши и сапоги с войлочными чулками. Направо была большая комната, где сидел Кунанбай. Оттуда доносился громкий, оживленный разговор Алшинбая и майора, прерываемый взрывами общего хохота. Алшинбай в ударе — он так и сыплет крылатыми словами, вызывая смех всех присутствующих.

Комната напротив входа тоже битком набита гостями, сидящими тесным кругом. Это преимущественно городские купцы — татары, казахские баи. В самом центре сидит имам новой мечети — мулла Хасен. В этой комнате не так шумно, как в первой — гости смеются редко и сдержанно, стараясь соблюсти достоинство и благопристойность в поведении. В третьей комнате, налево от входа, сидят старейшины и главари родов Бошан и Карашор. Здесь тоже шумно и весело, все оживленно разговаривают, перебрасываются шутками, громко и охотно смеются.

Абай, не заходя в комнаты, только заглядывал в них; из прихожей было хорошо слышно и видно все, что в них происходит. Только бы опять не помешал сердитый Изгутты!..

Абай сел на стул, оставленный здесь в суете, и стал наблюдать за хлопотливой беготней жигитов, разносящих угощение.

Человек восемь были заняты только тем, что подавали все новые и новые блюда. Гости оказались удивительно прожорливыми: они ели, подзадоривая друг друга, — совсем как на поминках на жайляу. Пока Абай сидел в прихожей, они, наверное, успели уничтожить несколько отгульных кобыл, двухлеток и однолеток, и несчетное число баранов.

Беготня жигитов, разносивших угощение, снова усилилась. Порожняя посуда возвращалась из комнат в кухню. И не успело последнее пустое блюдо исчезнуть из комнаты Кунанбая, как от кухни к дому снова поплыла вереница блюд, наполненных горячим пловом. Румяный и соблазнительный плов словно шептал: «Ну, как тебе не съесть меня? Неужели откажешься?» В прихожей никто не разговаривал громко: Кунанбай приучил своих жигитов к порядку. У дверей во внутренние покои стояли Жакип, Майбасар и Изгутты. Когда жигиты с блюдами подходили ко входу, они осматривали каждое блюдо и молчаливым движением руки поочередно пропускали их в комнаты.

Плов… после него чай… Давно прошел час, когда принято ложиться, — пора бы уже крепко спать, а во всех четырех комнатах по-прежнему царило оживление, еще никто не отказывался от еды, и угощение продолжалось.

Абай поднялся зевая. Он решил возвратиться на квартиру Майбасара. За все это время ни один из сородичей не подарил его теплым словом. Жигиты продолжали по-прежнему суетиться.

Застегнув свою шубку на беличьем меху, он направился к выходу. Внезапно из комнаты Кунанбая донеслось громкое пение. Жигиты, разносившие блюда, тоже стали прислушиваться. Абай подошел, приоткрыл дверь и заглянул в комнату. Пел смуглый человек с длинной, остроконечной седеющей бородой.

Словно охваченный какой-то необыкновенной силой, он начинал на домбре запев, потом клал домбру на колени — и тогда мчались слова, легкие и стремительные, как степной ветер.

— Кто это?

— Кто это поет?

— Какой это акын? — послышались вопросы гостей, сидевших в других комнатах, и жигитов, разносивших угощение.

Каратай, высунувшись из комнаты Кунанбая, сообщил всем:

— Это Балта! Балта-акын!

Балта-акын, неотлучно сопровождавший Алшинбая, импровизировал с воодушевлением:

Говоришь, что жена плоха,

А сумей-ка невест найти!

Говоришь — одежда плоха,

А сумей-ка сукно найти!

Коль сказал, что выше всех,—

В ком ты друга сможешь найти?

Если в ссоре с тобою род,—

Кто прославит твои дела?

О тебе молва будет зла!

Если ж, родичи, весь народ

В крепкой дружбе сердца сольет,—

Знайте, всюду о вас молва

Светлой вести домчит слова!

Балта-акын замолк.

— Хорошо!.. Вот это слова!

— Жемчужины!

— Святые слова! — наперебой расхваливали песню Алшинбай, Каратай и переводчик. Песня, так быстро и метко сложенная, слова, призывающие к миру, к сближению враждующих, увлекли Абая. Ему захотелось слушать дальше. Он взял стул, стоявший а углу, и сел поближе, но пение не возобновлялось. Сидевшие в комнате перешли к деловой беседе.

Теперь Абаю удалось хорошо вглядеться в Божея. На его лице не было и тени гнева. Но ни благодушие, ни умиротворенность не озаряли его, — на нем отражалось одно лишь холодное, спокойное, сдержанное выжидание.

Абай посмотрел на Кунанбая, — тот был насторожен и зорко следил за всем происходящим. У него тоже не было охоты веселиться.

Алшинбай и Баймурын перевели разговор на дело. Большеносый Баймурын, светловолосый, огромного роста, привел Божея для примирения с Кунанбаем. Сейчас разговаривали только двое: он и Алшинбай. Для себя им ничего не нужно, они говорили ради Кунанбая и Божея, ради их общего дела.

Абай отвернулся, — песен больше ожидать не приходилось, а разговор его не интересовал. В эту минуту Каратай вышел в прихожую и подозвал Изгутты и Майбасара.

— Примирение состоялось, — сообщил он. — Помирились! Алшекен и Баймурын вели переговоры по доверию сторон. Они договорились за обоих — за мирзу и Божея.

— На чем же кончили? Что решили? — спросил Майбасар, придвигаясь ближе.

— Решение необыкновенное, — ответил Каратай. — Они говорят: «Если бы вы были из разных племен, мы посоветовали бы вам породниться. Но вы — сородичи, близкие по крови. Укрепите же вашу близость, — передайте один другому своего ребенка. Пусть Божей возьмет у Кунанбая дитя и воспитает его у себя. Пусть через этого ребенка примирятся ваши души».

— Так и решили?

— Какой же это ребенок? Родное дитя Кунанбая? — забросали Каратая вопросами Майбасар и Жакип.

— Ну да, я же говорил: Божей должен усыновить родное дитя Кунанбая, — сказал Каратай и торопливо вернулся к гостям.

Абай был поражен таким решением. Он и удивился и ужаснулся.

«Который? Кто будет отдан? Оспан? Смагул?»—задавал он себе вопрос: ему казалось, что речь шла о мальчике. Неужели один из них должен лишиться материнской ласки и уйти к чужим? Самая мысль об этом казалась ему невыносимой: как будто смерть отнимала у него одного из братьев, ни в чем не повинного, беззаботного ребенка, взлелеянного родной матерью.

3

Через три недели Кунанбай собрался в обратный путь.

— Если бог благословит, завтра отправляемся. Приготовьте все, что нужно в дорогу, чтобы никаких задержек не было. Выезжаем на рассвете, — предупредил он Карабаса и Жумагула.

Как только весть об отъезде облетела всех тобыктинцев, в доме Кунанбая и у Жакипа и Майбасара началась суета сборов.

Возвращению в родные места радовались и старики и молодые жигиты, но Абай, казалось, больше всех соскучился по родному аулу. За последнее время он не раз видел во сне своих матерей и аул Жидебай. Сборы в путь повсюду проходили со смехом и шутками.

— Едем домой!.. Возвращаемся!.. — уже дней пять ходили повсюду слухи. Поэтому кони и седла у всех были приготовлены.

Но от долгой стоянки на откорме кони слишком разжирели. Таких лошадей нужно с недельку погонять, подержать на выстойке и подготовить к зимнему пути. Абаю под верх предназначался Аймандай — буланый конь с черными, блестящими гривой и хвостом, отличавшийся ровным, плавным ходом. Быстрый, легкий, этот красавец конь был мечтой любого жигита.

Буланый стоял на конюшне вместе с лошадьми старших. Как только Абай услышал о возвращении, он тотчас же пришел на конюшню, чтобы осмотреть Аймандая. Тот стоял на привязи, нетерпеливо поматывая головой. Лысина на его лбу блестела, как полная луна. Абай давно уже не ездил на нем, последнее время ему не приходилось даже заглядывать на конюшню, и он соскучился по Акмандаю. Он вытер пучком сена спину и гриву коня, покрытые утренним инеем. Затем, совсем как взрослый, пощупал его загривок. Длинные худые пальцы Абая с трудом обхватили его, — буланый тоже разжирел. Абай отошел в сторону и посмотрел на него сбоку: спина у коня стала круглой.

Абай опять подошел к лошади и обнял ее за шею. «Почему завтра? — подумал он. — Поехали бы сегодня, сейчас же…»

Аймандая оседлали, сверху поудобнее разостлали бархатный наседельник, и Абай, крепко стянув завязки своего малахая, вскочил в седло и выехал из конюшни.

Аймандай, легкий как ветер, всегда брал с места иноходью, закусив удила. Сегодня он несся, как парусный челн, гонимый вихрем. Почти до самого вечера Абай не сходил с коня. Он разъезжал без всякого дела — побывал и за городом, и на базаре, и в домах, где жили его сородичи.

Обедал и пил чай он вместе с отцом, а потом опять сел на Аймандая и отправился на базар. На этот раз его сопровождал Изгутты, распоряжавшийся хозяйством Кунанбая. За обедом Абай попросил у отца денег, и тот приказал Изгутты: «Съезди с ним на базар — пусть он сам выберет гостинцы для матери и братьев. Купи все. что он захочет!»

Они проездили по базару до самого заката и накупили уйму гостинцев. Абай знал, что его старая бабушка большая любительница крепкого чая, и начал с него; потом накупил сахару, конфет, бархату и цветного шелка для женских нарядов.

Скоро седельная сумка Абая наполнилась до отказа. Тогда он начал совать покупки за пазуху, за пояс, за голенища, отдавать Изгутты. Только к вечеру они вернулись к Кунанбаю.

Перед отъездом у Кунанбая опять собрались старшины и бии, майор и переводчик, Абай не пошел к отцу, он остался в другой комнате и при помощи Карабаса и Изгутты зашил свои переметные сумы и приготовился в дорогу.

Уже время было ложиться, когда майор вышел от Кунанбая. Изгутты провожал его.

— Кто только не зарится на богатство мирзы! — вздохнул он, вернувшись. — «Вареная голова» сейчас тоже унес изрядный кусок!

— Что он получил: деньгами или скотом? — спросил Карабас.

— Мирза сказал: «Ты — правитель, пусть все любуются на твой выезд», — и дал ему трех вороных, которых сам получил в дар. Да еще пятьсот рублей ему в глотку сунул.

Кунанбай перед отъездом одарил не только майора, — переводчику тоже досталось немало, а в аул Алшинбая Каратай и Майбасар от имени Кунанбая отогнали голов пятьдесят скота. Они вернулись оттуда поздно ночью.

Дня три назад, перед поездкой в аул Алшинбая, Майбасар еще раз попробовал подшутить над Абаем. Прошлый раз он крепко поплатился за такую попытку и сам попал в глупое положение, поэтому теперь побоялся налететь прямо и начал осторожно, обиняками.

— Придется мне там краснеть перед келин,[70] — заметил он вскользь, обращаясь к старшим, как бы ожидая их поддержки.

— Не поеду! — отрезал Абай и на этот раз.

С назойливыми приставаниями о поездке к невесте было покончено. Да Кунанбай и не собирался посылать Абая к тестю, — он уже решил возвращаться домой.

Когда Майбасар, отведя скот, вернулся, Абай задумался: ведь Майбасар ездил в аул, где живет Дильда. И впервые в жизни юношей овладело необъяснимое для него самого тайное чувство, влекущее его к невесте…

Не поехал… Но ведь ему же хотелось. Какая она?.. «Шейка нежная, как пух сокола», — сказал о ней Майбасар. И Абай мысленно старался представить себе нежную, пышную шею сокола, ястреба или балабана…

«А может быть, все-таки надо было поехать?»— мелькнула у него мысль, неотчетливая и мгновенная. Но тут же он вспомнил, как грубые люди, вроде Майбасара, высмеивают самые сокровенные его чувства. Его сердце ищет Дильды, по только не так, не через все эти стеснительные обычаи, эти обрядовые поездки к родне невесты, от которых стыд заливает душу…

Абай долго ворочался в постели. Сон пришел поздно…

На другой день с рассветом, как приказал Кунанбай, они отправились в обратный путь. Из домов, где квартировали, все выезжали за город отдельными группами и съехались уже на дороге.

Кунанбай со своей свитой в тридцать человек тронулся в путь прямо из дома. Провожать его собралось больше ста человек: старшины, бии, чиновники. Они толпились вокруг него с пожеланиями: «Хош!.. Хош, мирза!.. Счастливого пути!.. Дай бог благополучно доехать!»

Путь от Каркаралинска до Чингиза и так не близок, а в этом году глубокий снег совсем испортил дорогу. И склоны гор и долины покрылись толстым снежным саваном, уже успевшим затвердеть. Порывистый ветер дул в этом голу не стихая. Буран бушевал по неделе, по десять дней, вздымая целые тучи колючей снежной пыли. Сугробы были испещрены волнистыми узорами, причудливо вычерченными ветром. Наезженной дороги не было.

Путники, вытянувшись длинной цепью, движутся вереницей, как перелетные журавли или кочующий аул.

Кунанбай едет впереди всех. Он на жирном золотистом иноходце с белой гривой и круглым, как опрокинутый котел, крупом. Стройный, сильный, с крутыми боками конь не сутулится, как другие иноходцы. Кунанбай всегда выбирает его для дальней зимней дороги.

Сам ага-султан кажется огромным и внушительным; на нем черная доха, пояс с серебряными украшениями, на голове — лисья шапка с черным бархатным верхом. Стремительно-плавный бег иноходца вынуждает всех остальных ехать на полных рысях. Когда Кунанбай умеряет его бег, Аймандай начинает раскачиваться под Абаем иноходью, а чуть только Кунанбай отпустит поводья — буланый рвется рысью и подбрасывает: ехать на нем очень неудобно.

— Ой, я совсем замучился!.. Куда отец торопится!.. Меня будто посадили на бревно и изо всей силы колотят по нему, — пожаловался Абай Карабасу.

В первый же день пути Айыандай растряс все внутренности своему седоку. Абай потерял ловкость наездника и даже не мог подобрать распустившиеся полы.

— Ничего! Скоро привыкнешь! Подбери-ка полы! — утешал его Карабас.

Если бы его воля, Абай ехал бы тихой иноходью. Но Кунанбай заранее рассчитал по дням весь путь и не думал делать поблажки кому бы то ни было. По наезженной дороге или по бездорожью, в мороз или ветер — он одинаково рвался вперед, увлекая за собою спутников.

Днем Кунанбай старался делать большие перегоны. Но когда он останавливался для отдыха в аулах, выбраться ему оттуда было не так легко. Где бы ни появлялся Кунанбай, его встречали с необычайным почетом, будто какого-нибудь хаджи, вернувшегося из Мекки.

Во всех аулах у аксакалов, старейшин и ревнителей веры на языке было одно и то же слово: «Мечеть! Мечеть!» Некоторые старики угодливо твердили: «Ты вознесся ханом нз простого рода!», «Из кровопролитной битвы ты вышел невредимым!», «Ты могучий нар,[71] звенящий колокольчиком!»— и всячески льнули к Кунанбаю. Весь аул во время остановки ага-султана из кожи лез вон. чтобы угодить ему.

Зимой аткаминеры многих из этих аулов побывали в Каркаралинске у Кунанбая для разрешения спорных вопросов. Были среди них и такие, которые благодаря ему выгодно свели счеты со своими противниками и получили от них возмещение убытков. В таких аулах Кунанбая отводили в сторону, задерживали и что-то обсуждали с ним. И отсюда за Кунанбаем обычно следовали отборные кони и отгульные кобылы.

Два вороных иноходца, один серый конь и еще три-четыре коня, поднесенные таким же образом, шли в поводу у Карабаса и других конюхов. Вначале эти подарки удивляли Абая, но особенного значения он им не придавал. Однако чем ближе к Тобыкты, тем число подношений все увеличивалось. Теперь уже мало кто из свиты не вел за собой коня. Когда достигли стоянки Тобыкты, число их дошло до пятнадцати, их уже не вели в поводу, а гнали косяком.

Это свидетельствовало о том, каким почетом сопровождалось путешествие ага-султана. И если кто-нибудь в ауле Кунанбая гадает на овечьем помете, он, наверное, видит, что у путников «бока сытые, — едут с двойными дарами», как будто дело шло о возвращении не из города, а из грабительского набега.

На седьмые сутки после выезда из Каркаралинска Кунанбай со свитой достиг западных склонов Чингиза. В пути он не задерживался нигде, кроме ночевок, не останавливался даже на обед.

В этот день путники нагнали трех жигитов, высланных ранее вперед. Зачем эти жигиты опередили остальных, Абай не знал.

Когда на желтоватом склоне возвышенности показались верховые, гнавшие конские табуны, Майбасар воскликнул:

— Вот они!

Действительно, трое всадников оказались жигитами Кунанбая. Они гнали табун — около ста голов. Кони были отборные, сытые, с крутыми загривками.

Кунанбай въехал в середину табуна и остановился, осматривая его.

У Абая мелькнула догадка. Он подъехал к Карабасу и начал расспрашивать его:

— Что это за кони? Чьи они?

— Так это же подношение. Это — подарки твоему отцу.

— Что за подарки? От кого?

— Маленький ты, что ли? Разве у твоего отца мало подчиненных? Как ты думаешь, куда девались люди, которые в городе толпой ходили за твоим отцом? Что же, отец не должен получать платы за свои труды? Даром, что ли, ему работать? — удивился Карабас.

Абай прекратил расспросы, — теперь он узнал все. Оказывается, проведя долгое время с отцом, он и не подозревал об источниках его богатства…

Ему вспомнился Шоже. «И все, чем живет народ, ворон кривой склюет…» Значит, Шоже знал о Кунанбае больше, чем родной сын, хотя и был в стороне? Видно, он хорошо понимал Кунанбая, если заклеймил его такими словами… «Какой позор!»— подумал Абай. Ему стало так стыдно, как будто сам Шоже стоял сейчас возле него.

Путники опять рысью тронулись вперед. Сегодня они предполагали доехать до аула Кунке, находящегося в Карашокы. Сегодня же вечером они увидят своих родных и близких. Но даже мысль об этой встрече не смогла снять с души Абая тяжести.

Чем больше он думал, тем больше темных, постыдных дел открывалось перед ним. Из таких табунов были, наверное, и те пятьдесят голов, которых отогнали в аул Алшинбая. Калым… Значит, и калым за его невесту был собран таким же нечистым путем?..

«Шейка нежная, как пух сокола», — так старались соблазнить его и растревожить его мысль о невесте, Дильда… его невеста… Что происходит?! И чистый, безоблачный мир его юных грез тускнеет… «Невеста!» Это прекрасное, святое слово тоже теряет свой прежний смысл. В нем поднималась обида и за себя и за Дильду. Не только обида — гнев…

Лихоимство — самый тяжелый грех. Он не раз читал об этом в книгах. Лихоимство навеки заклеймило прах знаменитого бия минувших времен — Кенгирбая, несмываемым позором легло на его имя. Позорна добыча, вырванная у безответных людей, сжатых тисками жизни. Если послушать народ или Барласа и Шоже, — это ничем не искупаемый грех… «Дом вседержителя» — мечеть, увенчавшая Кунанбая славой и почетом, — может быть, и она построена на такие же средства? И такая мечеть, возведенная на взятки, продолжает стоять! Не рухнет под тяжестью позора! Больше того, — в ней именем бога, именем пророка возвещают священные слова наставлений и проповеди, мулла с набожным видом читает громким голосом коран на протяжный бухарский лад!..

До аула Кунке путники доехали только к вечеру. Несмотря на темноту, Абай не остался там с отцом: он отправился в Жидебай в сопровождении Жумагула и всю дорогу нетерпеливо гнал коня. Они ехали то вскачь, то крупной рысью.

Было поздно, но матери Абая еще не ложились спать и даже не принимались за ужин, когда мимо их окон пролетели верховые, встреченные лаем собак.

Высокий, возмужавший юноша с салемом переступил порог. У него обветренное лицо, как у настоящего бывалого путешественника, солидная походка, сдержанные движения.

При его появлении весь Большой дом в Жидебае встрепенулся от радости.

— Абай!

— Абайжан!

— Родной мой!

— Ягненок мои черненький! Абайжан! — раздались отовсюду возгласы. Его встречали с шумной радостью.

Все были здоровы, в доме было все благополучно. Бабушка и мать чувствовали себя отлично. Они наперебой принимались целовать его. Оспан тоже еще не спал. Взвизгнув от радости, он вскочил с места, шлепая себя по бедрам.

— Давай гостинцы! Ну-ка, где сладкое? Давай скорее! — приставал он к Абаю, мешая ему поздороваться с матерями, с Габитханом и Такежаном. Он шарил у Абая за пазухой, залезал в карманы.

После возвращения из города Абай около недели безвыездно прожил дома и даже не ходил гулять. Особенно он избегал встречи с отцом. До Жидебая доходили слухи, что в Карашокы происходит большой сбор, что аул Кунке переполнен гостями, что прибыло множество людей, приехавших узнать о здоровье мирзы. Но из Жидебая поехал к Кунанбаю один Такежан, едва услышал о подаренных отцу конях.

— Говорят, кони отборные! Конечно, Кудайберды заберет себе самых хороших, — говорил он, завидуя своему старшему брату от другой матери, Кунке. — Я тоже отберу себе и приведу! Посмотрим чьи будут лучше!

Он уехал в Карашокы и задержался там.

Абай целыми днями рассказывал матерям и Габитхану обо всем, что видел и слышал в Каркаралинске. Послушать его заходила и младшая мать, Айгыз.

Абай сообщил о примирении с Божеем, но о передаче ему ребенка не обмолвился ни словом. Страшное решение тяжелым камнем лежало у него на сердце. Пусть об этом говорит отец, а он, Абай, не в силах омрачить радость, с которою встретили его матери. Что будет с ними, когда они узнают об этом от отца, — покажет время. Но, если горькая весть дойдет до них сейчас, из уст Абая, они могут поднять плач, впасть в отчаяние, наговорить лишнего. Лучше пока молчать и не мучить их.

Абай решил это еще по дороге в Жидебай. Он просил и Жумагула, сопровождавшего его, никому ничего об этом не говорить.

Дней через пять стало известно, что приехал Божей.

Кунанбай немедленно отправил в Жидебай Карабаса. Тот явился к Зере и Улжан.

— Мирза передает вам привет, — сказал он им. — Завтра приедет сюда с гостями. Сбор и окончательное примирение с Божеем будут у вас, в Большом доме. Сюда приедут Божей и Байсал. Мирза велел приготовиться и встретить гостей с должным почетом.

Это известие не смутило Улжан, — с помошью Айгыз она приготовилась за день. Они приказали развязать тюки, вынули большие ковры, кошмы с богатыми узорами, одеяла и украсили все три дома: Большой, где жила Зере, Гостиный и дом Айгыз. Пекли горы баурсаков, палили целых овец, разводили курт, готовили угощение. Сливочное масло выбирали малого засола, приятное на вкус.

На следующий день прибыли Кунанбай и Божей. За ними приехала их свита.

Когда Божей переступил порог Большого дома, Зере поднялась с места, подошла к нему и со слезами поцеловала его.

— Свет мой, не ожесточилось ли твое сердце? Ведь ты же всегда был мне сыном, а я матерью тебе! — проговорила она.

— О жарыктык![72]

— О незлобивая мать наша! — воскликнули Байдалы, Суюндик и другие спутники Божея, растроганные словами старой матери.

Божей сам был искренне тронут. Он с тяжелым вздохом крепко обнял Зере. Без слов, одним движением руки он попросил ее сесть — и сам опустился рядом с нею.

Несколько минут он молчал и наконец повернулся к детям. Абай сидел недалеко от бабушки, ближе к дверям. Потом поцеловал Оспана и Смагула — он хотел отблагодарить Зере за радушную встречу.

Божей почитал Большой дом. Для него этот дом был не только домом самого Кунанбая, — это был дом всего племени — уютный и гостеприимный.

Когда спутники Божея разместились, Кунанбай тоже пришел сюда. Его сопровождали Каратай, Майбасар и свита.

Абаю тяжело было видеть своего отца сидящим рядом с Божеем. Надо было освободить место старшим, и под этим предлогом он вышел из комнаты.

Ни в этот вечер, ни на следующее утро он не заходил сюда. Мать на его расспросы отвечала, что Кунанбай и Божей разговаривали односложно, внешне учтиво, но теплоты в них не чувствовалось.

Наутро Божей собрался в путь. Наступил час, когда должно было осуществиться ужасное решение.

Айгыз, рыдая, ничком упала на пол, — Карабас взял из ее рук Камшат, одел и увел в Большой дом. Беленькая, со жгучими черными глазами девочка с любопытством смотрела на всех.

— Ага, ата! Ата, ата! — нежно лепетала она, растягивая слова.

Улжан была не в силах смотреть на ребенка; вне себя от жалости, она вышла из комнаты. Зере упала, скорчившись, и замерла в рыданиях, не проронив ни слова. Страшным, обжигающим холодом пахнуло на Абая от всех старших, и он тоже вышел из дома.

Кунанбай смотрел на эту печаль, на эти полные жалости лица сверлящим взглядом своего единственного глаза. Он исполнял решение, вынесенное в Каркаралинске, — отнял ребенка у матери и отдал Божею.

Камшат сидела спокойно, не зная об ожидающей ее участи. Когда незнакомый человек взял ее на руки и понес из комнаты, она испуганно вздрогнула.

— Апа, апа!.. Аже! Аже!..[73] — в слезах закричала она. Маленькое сердце девочки сжалось от страха, она закричала так, как будто ее крошечные ножки наступили на пылающие угли.

Ее жалобный плач слышался до тех пор, пока Божей со свитой не скрылся из виду. И чем дальше уносили их кони, тем крик ее становился жалобней и отчаянней, как вопль тонущего или горящего на костре.

В ДЕБРЯХ

1

По возвращении из Каркаралинска Абай остался на зимовье в Жидебае с матерью и бабушкой, никуда не выезжая.

До самой весны его единственным занятием было чтение книг. Впервые после медресе он принялся за них серьезно и читал целыми днями. Кое-что из арабского и персидского языков он за это время успел уже забыть. Ему помогали словари, взятые у Габитхана.

Мулла Габитхан был большим любителем книг. В его собрании Абай нашел произведения Фирдоуси и Низами, Физули и Навои, «Жамшид» и «Тысяча и одна ночь», «История» — Табари, «Жусуп и Зюлейка», «Лейли и Меджнун», «Кер-Оглы». Абай читал их не отрываясь. По вечерам, между чаем и ужином, он пересказывал матерям понравившиеся ему места из прочитанных книг.

Зере, видя, что Абай увлекается книгами, как-то сказала ему:

— Это хорошее дело, сын мой. Мало ли на свете людей, у которых в голове нет ничего, кроме еды и сна. Всю жизнь они суетятся без толку — и так и остаются пустоголовыми бездельниками! Не будь похож на них, не расставайся с этими мудрыми листами.

Такое уважение бабушки к его книгам обрадовало Абая: он еще больше углубился в чтение. Его занимательными рассказами, которые повторялись теперь ежедневно, заслушивались все: и матери, и слуги, и дети. Айгыз тоже стала заглядывать к ним и слушала Абая часами. После того как у нее отняли Камшат, она стала задумчивой, побледнела, поблекла; на прекрасное лицо ее легла тень глубокой печали. Как Абай понимал ее! Когда она приходила послушать, он рассказывал с особенным старанием и охотой.

Абай становился превосходным рассказчиком. Даже Габитхан с интересом слушал его.

Одно плохо: к весне все книги были прочитаны.

Абай кончил свои пересказы, и теперь весь аул осаждал чабанов и «соседей», в свою очередь пересказывавших то, что они запомнили из историй Абая, но они не умели говорить так, как Абай.

Улжан шуткой прерывала их:

— Скоро лето, скот уже ягнится, время рассказов прошло. Если мы будем продолжать, зима затянется, не надо!

Но самого Абая Улжан нередко просила повторить наиболее понравившиеся ей истории.

Габитхан и Абай раздобыли кое-какие книги у мулл и набожных книголюбов. Раз Габитхан даже съездил в Карашокы в аул Кунанбая и привез оттуда полный мешок книг.

Кунанбай получил их еще в Каркаралинске через муллу Хасена. Но, когда однажды Абай попросил их у отца, тот ответил: «Оставайся у меня и читай вслух. А если хочешь получать удовольствие один, не дам». Абай не захотел жить у отца и лишился новых книг. Теперь Габитхан сумел уговорить Кунанбая и выпросил их. Эта добыча была драгоценной и для Абая и для всего дома. Но, к несчастью, отец вызвал Абая в Карашокы, и ему пришлось уехать.

Едва Абай появился о ауле Кунке, отец послал его с поручением к Кулиншаку, одному из старейшин рода Торгай. Абай постарался в точности запомнить поручение отца и а тот же день выехал в сопровождении посыльного Карабаса.

Аул Кулиншака находился неподалеку. После захвата земель бокенши осенью к роду Торгай перешли западные склоны Карашокы, где раньше находилось зимовье Кодара. Доехав до него, Абай остановился на могиле Кодара и Камки и совершил молитву.

Страшная картина встала перед его глазами так отчетливо, как будто он видел ее только сегодня. Весь ужас, боль, горькие слезы, пролитые им в тот день, — все снова поднялось в его душе. И когда они подъехали к аулу Кулиншака и спешились, юноша был холодно-сдержан и молчалив, как взрослый.

Здесь жили еще в зимних помещениях. Обычно, чуть станет теплее, юрты ставят подле построек и переселяются туда, но Кулиншак оставался в доме.

Абай приехал с поручением Кунанбая, и Кулиншак встретил его, как взрослого, несмотря на его юный возраст. Когда гости сели и взаимные расспросы о здоровье и благополучии закончились, Кулиншак повернулся к своей жене.

— Эй, хатын,[74] ставь котел гостям! — приказал он.

Из пяти богатырски сложенных сыновей Кулиншака, прозванных «пятью удальцами», дома находился только Манас. Это был действительно настоящий богатырь: огромный ростом, с открытым красивым лицом, молодой, крепкий. Манас сидел молча, тихо перебирая струны домбры, и время от времени бросал на гостей недружелюбный взгляд.

Чай был готов. Молодая жена Манаса разостлала скатерть и приготовила посуду. У нее было продолговатое лицо, прямой тонкий нос и иссиня-черные волосы, чуть выбившиеся на висках из-под головного убора. Абай невольно залюбовался ею. Она подкупала своим врожденным благородством, удивительной опрятностью, сдержанной заботой о гостях. Каждое ее движение было полно скромного изящества. Когда она разлила чай. Абай наконец приступил к делу:

— Кулиншак-ага!..

Кулиншак повернулся к нему, вынул рожок, постучал по нему ногтем, взял щепотку табаку и с наслаждением затянулся.

— Отец посылает вам салем…

— Да будет здоров и он…

— Он передаст вам через меня об урочище Беткудык. Раньше оно принадлежало роду Борсак, теперь перешло к Акберды вместе с зимовьем. В прошлом году вы пользовались им по соглашению с Сорсаками. Теперь Акберды обратился к моему отцу: «Как бы опять Кулиншак не поставил там весной юрты. Я хотел бы, чтобы эта земля отдохнула, а осенью возьму ее под покос. Пусть Кулиншак не ставит там аула». Он просил об этом через моего отца.

— Акберды для меня мало значит. Что думает твой отец?

— Отец поддерживает Акберды. Он прислал меня просить, чтобы вы туда не кочевали.

Абай говорил уверенно, спокойно, деловито, с достоинством взрослого человека. Кулиншак молча кивнул головой и невесело усмехнулся.

— Выпей чаю!.. — И он подсел к пиалам.

В ожидании его ответа Абай тоже принялся за чай.

Уже две пиалы были выпиты, а Кулиншак все еще молчал. Внезапно он резко повернулся к Абаю.

— Вот что, сын мой… Хорошо ли твоему отцу известно, как обстоит дело с Беткудыком? Когда им владели борсаки, я пользовался этой землей по очереди с ними. Сено мы делили пополам. Знает ли он об этом?

— Знает. Он говорит так: «Одно дело собственность, а другое — уговор. Хозяевами этой земли были борсаки. Кулиншак пользовался ею не как хозяин, а по договоренности с владельцами. Если он сумеет договориться с Акберды, может пользоваться по-прежнему. Пусть только помнит, что земля теперь принадлежит Акберды», — закончил Абай.

— Одним словом, хозяином коня будет Акберды! Захочет — посадит нас сзади, не захочет — иди пешком. Скажи лучше прямо: «Распрощайся с Беткудыком, хоть он и рядом с тобою!»— недовольно отрезал Кулиншак.

Абаю была понятна его обида. Сам он не стал бы притеснять его. До этого юноша не сознавал всей тяжести порученного ему отцом дела. Только теперь, увидев расстроенное лицо и возмущенный вид своего почтенного собеседника, он понял, что возложил на него отец.

— Я только передаю вам поручение отца. Остальное в вашей воле, решайте сами, — сказал он.

— Что ж делать, — вздохнул Кулиншак и горько усмехнулся. — Не знал бы я беды, если б не было Акберды.

Острое словцо Кулиншака понравилось Абаю. Он тотчас подхватил:

Не сберечь от Акберды

Ни земли и ни воды.

Ни луны и ни звезды:

Богом дан нам Акберды!..[75]

Шутка Абая рассмешила всех. Жена Манаса, разливавшая чай, даже причмокнула языком от удовольствия и засмеялась, бросив восхищенный взгляд на Абая. Кулиншак с довольным видом откинулся назад.

— Э, сын мой, ты ловко сказал! Дай бог, чтобы слова твои дошли до Акберды!

Он перевел разговор на другое и начал расспрашивать Абая о его семье, о старой Зере, об Улжан и под конец задал вопрос:

— Скажи мне, свет мой, как поживает малютка, которую недавно отдали Божею? Говорили, бедная Айгыз совсем убита горем.

Вопрос был неприятен Абаю — он растравлял его душевную рану. Абай промолчал, но Кулиншак продолжал:

— Род Божея, кажется, недоволен тем, что не получил настоящего выкупа за обиду. Я слышал, твою маленькую сестру держат в черном теле… Бедная Айгыз, наверное, догадывается об этом. Как она себя чувствует?

Но юноше не хотелось отвечать.

— Аксакал, скажите, почему ваших сыновей называют «бескаска»?[76] — в свою очередь спросил он. — Мы вчера спорили об этом с Айгыз…

Кулиншак понял, что Абай избегает ответа на его вопрос, и невольно подумал: «Э, да он сообразительный! Какова выдержка! Уже приучили все скрывать…» Он усмехнулся.

— Сами-то они думают, что они — пять батыров, — кивнул он в сторону Манаса. — Не знаю только, кого покорили эти батыры? Так, пустые слова!.. Когда бокенши не хотели уступать зимовья и заявили: «Умрем, но Карашокы отстоим», — я по первому слову твоего отца прилетел туда со своими пятью!.. Надеялся, что получим хоть клочок земли, которая осталась без хозяина… Вот и получили! Камнем в лоб получили эти пять батыров, вот что! — закончил Кулиншак, снова возвращаясь к неприятному для Абая разговору.

— Пословица говорит: «У разоренного народа не бери и бульдерги».[77] Кому пойдет впрок добыча, взятая у ограбленных бокенши? — убежденно сказал Абай. — Да они и не чужие вам, а сородичи…

Но Кулиншак был другого мнения, хотя Манас и его жена вполне соглашались с Абаем. До самого конца беседы он неизменно сводил разговор на свои обиды и ворчал на Кунанбая. Абай понял, что Кулиншак возмущен главным образом тем, что при разделе награбленных земель его обошли. Юношу поразила эта беззастенчивая алчность.

Вернувшись домой. Абай передал отцу согласие Кулиншака, но о его недовольстве умолчал. О своей поездке рассказал сжато, в нескольких словах.

Кунанбай вызвал Карабаса и наедине расспросил его о подробностях. Тот принялся расхваливать Абая.

— Сын ваш знает цену словам, — доложил он. — Его речь обдуманна. Говорит с достоинством, как взрослый человек… Он не стеснялся Кулиншака, вел беседу, как равный с равным…

Карабас не скупился на похвалы. Но Кунанбай движением руки остановил его.

Поведением сына он остался доволен и на следующий день дал Абаю новое поручение. Карабас опять поехал с ним. На этот раз они отправились к Суюндику.

Они приехали с наступлением темноты. Изгнанный из своих мест аул проводил зиму в верховьях Караула, в ущелье, носившем название Верблюжьи горбы. Люди жили в юртах: многолюдный аул не успел отстроиться на новом месте.

В белой Большой юрте Суюндика было тепло: ее покрывали два ряда войлока снаружи и шерстяные вышитые ковры или узорчатая кошма — внутри. Абай, одетый еще по-зимнему — в бешмете, подбитом белкой, и в сапогах с войлочными чулками, — не чувствовал холода. Впервые ему нынче пришлось быть в юрте. Необъяснимое чувство легкости и свежести охватило его, — ранней весной он особенно любил жизнь в юрте, куда свободно проникает чистый воздух степи.

Посередине юрты тускло мерцал светильник. Кроме Суюндика с женой и двух его сыновей — Адильбека и Асылбека, здесь было еще одно существо, с появлением которого в юрту, казалось, врывалась свежая прелесть весны. Это была дочь Суюндика — Тогжан.

Она то к дело входила, сюда из Малой юрты, где жила ее мать, младшая жена Суюндика. Шолпы[78] своим звоном предупреждало о ее приходе. Маленькие блестящие серьги в ушах, бобровая шапочка на голове, перстни, унизавшие ее пальцы, — все казалось Абаю изящным и прекрасным. У нее нежное личико, прямой правильный нос, черные глаза. Тонкие брови, острые и длинные, как крылья ласточки, разлетаются к вискам. Когда Тогжан слушает, смеется или смущается, чудесные брови то поднимаются дугой, то успокаиваются в плавном изгибе. Может быть, это — крылья невиданной птицы? Вот они раскрылись для полета, а потом снова сомкнулись… Нет, не птицы, — какого-то легкого духа, парящего в воздухе… Они рвутся ввысь, вдаль, — манят за собой… Абай не в силах был оторвать глаз. Он смотрел на девушку восторженно — и молчал, сам не замечая, что думает о ней сравнениями, вычитанными у поэтов.

Тогжан заботилась о приеме гостей и часто заходила в юрту. Она приказала служанке разостлать скатерть, подать чай и села рядом с отцом, угощая собравшихся.

Абай обратился к хозяину с вопросом:

— Суюндик-ага, почему та одинокая сопка, которая стоит здесь неподалеку от ваших земель, называется «Караул»?[79]

— Кто ее знает, дорогой мой! — отвечал Суюндик и, помолчав, добавил — Разве бывало когда, чтобы Тобыкты и Мамай не вели междоусобных войн? Наверное, осталось с тех времен.

— Так вы полагаете, что это название дано ей нашим Тобыкты?

— А кем же? Все названия здесь даны тобыктинцами.

— А откуда же название Чингиз? Разве был какой-нибудь Чингиз в Тобыкты?

— Э, нет!.. Ты прав… Почему же тогда этот хребет назван Чингизом? — задумался Суюндик.

Адильбеку было неприятно, что отец его попал впросак, **и**  он поспешил вмешаться в разговор:

— Говорят, это название происходит от слова «Шынкыс»,[80] — здешние зимы всегда суровы…

— Вряд ли это так, — возразил Абай, — Ведь Чингиз — имя **зна** менитого хана.

— Да, верно, я тоже что-то слышал об этом. Только вот в памяти ничего не сохранилось. Если ты знаешь, расскажи нам, сын мой, — сказал Суюндик.

Молодой гость рассказал все, что знал о Чингиз-хане и его походах. Под конец он высказал несколько своих догадок.

— Вероятно, поэтому хребет и назван «Чингиз», а его вершина — «Хан». Вот та гора, которая стоит в стороне от других, могла быть его ставкой. Поэтому она называется «Орда». Не с того ли времени сохранилось и название «Караул»?

Суюндик выслушал Абая с большим вниманием. Тогжан заметила, что отец ее заслушался гостя: его пиала так и осталась полной, и чай в ней совсем остыл. Но девушка и сама не сводила с Абая любопытного взгляда. Старшие чувствовали себя неловко: они были смущены своим незнанием.

— Да, это, наверное, так, — повторяли Асылбек и Карабас. Суюндик, покоренный рассказами Абая, сам подал ему чашку.

— Выпей, закуси, Абай! — сказал он, придвигая к гостю жент,[81] масло и баурсаки.

Тогжан была удивлена почетом, который оказывал ее отец молодому гостю. Абай не раз встречался взглядом с ее черными, обращенными на него глазами. В них светилось не равнодушное любопытство, а пристальное, глубокое внимание.

Первый раз в жизни Абай так внимательно смотрел на девушку. Тогжан долго не сводила с него глаз. Потом, слегка покраснев, отвела взгляд в сторону.

Суюндик в раздумье заметил:

— Видно, знает не тот, кто много прожил, а тот, кто много постиг…

Абай подхватил его слова:

— Все это я узнал от таких почтенных людей, как вы, Суюндик-ага… — Помолчав, он продолжал — И если позволите, я хотел бы от вас самого услышать объяснение сказанного вами однажды…

— Спрашивай, свет мой! — ответил Суюндик.

— Я слышал, что когда-то вынося решение по спорному делу о земле возле Орды, вы сказали: «Меня не твои овцы ведут, а божья правда». Что это значит?

Вопрос Абая вызвал смех у Карабаса и у обоих сыновей Суюндика: видимо, всем, кроме Абая, было хорошо известно, о чем идет речь. Суюндик замялся.

— Лучше бы ты спросил об этом своего отца, — сказал он.

— Вы знаете, ага, мой отец не станет много разговаривать с юношей…

— А ты знаешь, что слова эти связаны с ним?

Карабас и другие продолжали смеяться. Их забавляло, что Суюндик, соблюдая приличия, избегал прямого ответа.

— Я знаю только то, что отец был связан с этим делом, — сказал Абай.

— Ну, так о деле, с которым он связан, лучше услышать от него самого…

— Благодарю вас, Суюндик-зга, за добрый совет. Но говорят, что эти слова были сказаны вами, когда вы были в размолвке с моим отцом?

— Правда.

— Так что же получится, если о причине вашей ссоры я слышу только от своего отца, а ваши сыновья — только от вас? Тогда мы никогда не доберемся до истины — каждый будет знать лишь одну ее сторону. Во-первых, мы запутаемся, а во-вторых, и мы, дети, станем коситься друг на друга… А вот если вы расскажете мне, а мой отец — им, тогда весы уравняются.

Доводы Абая всем показались убедительными. Карабас торжествовал.

— Мальчик прав! — воскликнул он, вызывая Суюндика на ответ.

— Э, да ты обошел меня со всех сторон, сынок! — усмехнулся Суюндик и, все еще уклоняясь от ответа, обратился к сыновьям: — Заметьте, как пытлив ум нашего молодого гостя.

Чай уже был выпит, но Тогжан не велела убирать посуду и продолжала с улыбкой слушать беседу. Она часто взглядывала на Абая, и, когда глаза их встречались, он читал в ее взгляде доверчивость и внимание, с какими смотрят на давно знакомого, близкого человека.

Абаю все же удалось уговорить Суюндика, и тот начал:

— Ну что ж, расскажу, если ты хочешь… Твой отец еще в молодости дружил с отцом Кожекпая из племени Мамай. Года два назад Кожекпай поспорил из-за земли со своим бедным сородичем и обратился к твоему отцу с просьбой помочь, — ну и пригнал ему в подарок сотни три овец. Мирза поручил мне разрешить спор. Я выслушал обе стороны, разобрался по совести и поехал на место провести межу. Твой отец был при разделе и ехал позади меня с Кожекпаем. Однако вижу, моя межа Кожекпаю не по нутру, — он так и кипит, лопнуть готов. Потом, слышу, начинает жаловаться мирзе. Твой отец и крикнул мне: «Эй пегий,[82] куда ты заехал?» Меня это взорвало, ну я и ответил: «Меня не твои овцы ведут, а божья правда…»

— Ну и что ж было дальше? — спросил Абай.

— Зачем тебе знать, что было дальше, сын мой? Дальше все пошло вкривь и вкось… Узел за узлом…

Суюндик махнул рукой и помрачнел.

Абаи вспыхнул. Младший сын Суюндика — Алильбек, резкий, угловатый, совсем не похожий на своего приветливого брата, был очень доволен, что Абай осекся. «Добивался — вот и получил свое», — подумал он. Но Абай сумел взять себя в руки и снова стал расспрашивать Суюндика. Теперь его занимали стихи, сказанные стариком на годовых поминках деда Абая, когда там поссорились Майбасар и Божей. Он привел эти стихи на память:

Никакого зла не прощает аллах

Тем, кто сеет вражду и раздор в сердцах:

Дед поссорил Лоскутный род, а теперь

Его внуки его ж оскверняют прах…

— Что это за Лоскутный род, и с кем его поссорил мой дед? — спросил Абай.

— Ой, Абайжан, зачем заставляешь меня вспоминать старое? — недовольно сказал Суюндик. — Наслушаешься моих рассказов и завтра поссоришь меня со своим отцом…

— Да нет же, Суюндик-ага! Я же спрашиваю, чтобы самому знать, а не для того, чтобы жаловаться на вас!

— Хорошие слова, дорогой мой… Ну что ж, могу рассказать. «Лоскутным родом» называли уаков, живших тут неподалеку. Дед твой перетянул часть из них на свою сторону, перессорил их между собою и послал твоего отца помогать батыру Конаю. Вражда разгоралась. Конай устроил набег, и народ укрылся от него а камышах соседнего озера… Кунанбай дал Конаю совет — поджечь камыш. Народ в ужасе выскочил оттуда, и началось избиение беззащитных людей… Ну, да что рассказывать о старом… Давайте-ка есть мясо, раз его несут. — прервал себя Суюндик.

Абай задумался. В глубине его глаз, обращенных к красноватому пламени светильника, вспыхивал яркий далекий огонек. Тогжан смотрела на гостя с нескрываемой теплотой.

Принесли ужин. Гостей принимали, как родных, поэтому вокруг скатерти разместилась вся семья Суюндика. Тогжан села между родителями, совсем близко от Абая. Теперь он мог видеть ее сбоку.

Тонкая линия правильного небольшого носа казалась Абаю еще обворожительнее. Легкое и нежное, как пух, выступало бело-розовое яблочко подбородка. Чудесная шейка белела между длинными черными косами. Маленькие серьги сверкающими капельками дрожали в ушах и невольно приковывали взгляд. Тогжан то заливается румянцем, то неожиданно бледнеет. Она во власти какого-то нового чувства, наполняющего непонятным трепетом все ее существо. Абай снова залюбовался ею.

Дом Суюндика всегда славился радушием и гостеприимством. Сегодня угощение тоже было обильное. Карабас острым ножом с желтым роговым черенком нарезал казы и сало.

Все принялись есть с нескрываемым удовольствием, но Абай не замечал еды, хотя все было приготовлено очень вкусно. Тогжан тоже редко протягивала к миске свою белую ручку, унизанную браслетами и перстнями. Суюндик и Асылбек не переставали угощать Абая.

— Что ты не кушаешь, дорогой? Бери, кушай! — не давали они ему покоя.

После горячих блюд был подан кумыс, за которым гости сидели долго, — в оживленной беседе время шло незаметно.

Но Абай не принимал участия в беседе. Хозяева решили, что молодого гостя клонит ко сну. Мужчины вышли из юрты, где женщины стали приготовлять гостям постели.

Абай с облегчением почувствовал, что предоставлен самому себе, и отошел в сторону. Рассказы Суюндика огорчили Абая, — точно тяжелая муть поднялась тогда в его душе. Сейчас она осела куда-то глубоко на дно. Сердце Абая было полно теперь другого, необычайного ощущения.

Любимая… Это волнующее слово Абай не раз встречал в книгах и слышал от других. Но сегодня оно покинуло песни, сошло со страниц книг и предстало перед ним во всем обаянии своего значения — в живом воплощении, в смехе, в движении, в улыбке, в дыхании юного существа с нежным лицом, стройным станом, с взглядом, томившим сердце.

Любимая…

Взволнованный, он поднял лицо к звездному небу. С гор доносилось ароматное дыхание весны. Абай жадно вдохнул его свежую струю.

Луна была на ущербе. Она медленно подымалась к зениту, недоступно высокая, уплывающая вверх. Она манила и сердце туда, в высоту, ясную и безоблачную. Лунный свет проникал в душу и наполнял ее радостью и грустью.

С Верблюжьих горбов виднелись отроги Чингиза. Лохматые горы, посеребренные лунным светом, замерли в неподвижной дремоте.

Огромные стада овец вокруг аула лежали спокойно. Они дремали, беззвучные, утихшие. Асылбек и Адильбек ушли спать. Тундуки юрт были плотно закрыты. Белые юрты дремали в лунном сиянии.

Суюндик с Карабасом хлопотали где-то около лошадей. В свежем дуновении весенней ночи Абай почувствовал приближение утра, необычайного, прекрасного, которое должно наступить только для него одного…

«Любовь ли это? Она ли?.. Если, это — любовь, то вот колыбель ее: мир, объятый спокойствием ночи…» Так говорит взволнованное сердце.

Лунная ночь словно купается в молоке. Грудь Абая не вмещает могучего прибоя чувств. Трепещет и замирает сердце. «Что ж это? Как разгадать? Что со мной?»

Перед его глазами — белые руки Тогжан, ее нежная шея. Она — его утро!

Ты истаешь в моем сердце, рассвет любви…

Это поет сердце. Первая песня первой любви посвящена ей, Тогжан… Она повторяет про себя эту песнь. Слова льются легко, свободно.

Голос Карабаса обрывает чудесную нить его грез; он зовет Абая в юрту. Кроме них двоих, все уже легли.

По дороге Абай силится вспомнить слова своей песни, но они не возвращаются к нему… В памяти живет только одна строка:

Ты встаешь а моем сердце, рассвет любви…

Когда Карабас и Абай вошли в юрту, Суюндик с женой уже спали на высокой кровати, за золотистой занавеской из толстого шелка. Тогжан, вероятно, уже ушла к себе. Постель гостям расстилала молодая румяная женщина, которая вечером помогала разливать чай…

Абай направился к постели. Вдруг шелковая занавеска заколыхалась, у самого входа зазвенело шолпы — и стройная фигура Тогжан появилась перед ним. Она шла с шелковым одеялом в руках. Ее движения были неторопливы, даже, пожалуй, медлительны. Казалось, что каждый шаг ее звенит серебряными переливами дорогого украшения.

Молодая женщина уже успела разостлать Абаю мягкую удобную постель. Тогжан, все еще стоя с шелковым одеялом в руках, негромко сказала женщине:

— Взбей, пожалуйста, постель повыше *в н* огах!

В этих немногих словах Абай почувствовал ее заботу о нем, — о нем одном. Сказать что-нибудь? Он и хотел бы сказать, но сердце опять сжалось. Он не находил слов.

Тогжан положила шелковое одеяло на постель и плавной походкой направилась к двери.

Это, конечно, большое внимание, — может быть, безмолвный знак уважения. Но и только, и все? Неужели все? Тогжан, не оборачиваясь, уходила. Только у самого выхода она с удивительной гибкостью обернулась и, улыбаясь, скрылась за дверью.

«Что это было? Насмешка?.. Разве я позволил себе что-нибудь недостойное?» — подумал Абай в смутился. Он быстро разделся и закутался.

Серебряный звон шолпы, удаляясь, переливался за дверью юрты. Сердце Абая громко стучало. Казалось, стремительный топот коня отдавался в его ушах, заглушая звон шолпы. Но вот ночная тишина поглотила этот звон, словно чья то невидимая рука сжала поющие серебряные звенья…

Карабас задул светильник.

Не все ли равно, горит огонь или погашен? Перед глазами Абая весь мир сиял яркими лучами. Юноша даже не заметил, что стало темно. Глаза его были закрыты, но мысль металась и рвалась, словно подхваченная могучим вихрем…

Абай не сомкнул глаз до рассвета. Он задремал перед самым восходом солнца, но чуть только в юрте началось движение, проснулся. Встал бледный, осунувшийся.

Выйдя подышать свежим утренним воздухом, он старался угадать, в которой из юрт спит Тогжан. Возле самой юрты Суюндика стояла вторая — вероятно, Асылбека. За ней была еще одна шестистворчатая юрта, по-видимому, младшей жены Суюндика. Тундук на этой юрте бил закрыт. Тогжан и ее мать, наверное, еще спали.

Суюндик уже встал и вышел из юрты. Абай передал ему салем своего отца и тут же изложил дело, по которому приехал. Разговор занял не много времени, и вскоре Суюндик повел Абая пить чай. Тогжан к чаю не вышла. Асылбек и Адильбек тоже не показывались. Карабас, рассчитывая вернуться домой еще по утреннему холодку, сразу после чая пошел седлать коней.

Но Абаю не хотелось покидать этот аул. Гостеприимные, приветливые хозяева сумели сделать свой дом похожим на теплое, уютное гнездышко. «Вот было бы хорошо, если бы я приходился им близким родичем!.. Приезжал бы сюда часто-часто, когда вздумается, гостил бы, ночевал бы здесь…»— мелькнуло у него в голове. Но уезжать надо было.

Когда хозяева остались в юрте наедине с Абаем, Суюндик стал расспрашивать, как живет Зере и Улжан.

— Передай привет матерям, сын мой, — сказал он,

Байбише[83] со вчерашнего вечера не проронила ни слова, но теперь она тоже передала привет Улжан; потом она вспомнила Айгыз и маленькую Камшат.

— Скажи, свет мой, как живет малютка, которую отдали Божею? Как бедная Айгыз перенесла разлуку с нею? И как это у вас хватило сил взять плачущего ребенка и отдать чужому?

В ее словах звучали и удивление и осуждение. На ее расспросы Абай ответил односложно, но байбише не унимались.

— Жена у Божея черствая… У нее и своих дочерей много, вряд ли она будет заботиться о бедняжке, — грустно сказала она.

— Ну, ну, а Божей на что? Не позаботится она, так позаботится сам Божей, — попытался смягчить смысл ее слов Суюндик.

— Ой, не знаю я… Только я слышала, что у них в ауле все говорят: «Скота пожалели, девочкой за оскорбление заплатили», — и обращаются с ней грубо. Напрасно ребенка разлучили с матерью!.. Бедняжка Айгыз, наверное, едва ноги волочит!.. — И байбише сама заплакала от жалости.

Байбише тронула Абая своим сочувствием и искренностью. Но слухи о грубом обращении с Камшат его встревожили. Дома, в Жидебае, эта весть о Камшат доставит новые огорчения. Он вспомнил, как грустили о несчастном ребенке Айгыз и бабушка, как они проливали горькие слезы. А ведь то была лишь печаль от разлуки с Камшат. Что же будет, когда страшный холод новых известий дойдет до их сердец? Вчера — Кулиншак, сегодня — весь этот аул… Все говорят, что Камшат брошена, отдана в рабство, унижена, беспомощна… Не зря же говорят! Вернувшись в Жидебай, он расскажет, как поступают с их маленькой Камшат. Что бы ни говорил отец, Абай должен это сделать. Он решил это твердо.

Перед самым отъездом опять подали кумыс. Гостей не отпускали в обратный путь, пока не угостили основательно.

Они простились со старшими у Большой юрты. Кони тронулись, но Абай не сводил глаз с Малой юрты. Ее тундук оставался по-прежнему закрытым.

«Тогжан и не подумала повидаться со мной еще раз! Не захотела даже встать и проститься…» И он невольно гневно хлестнул коня, чтобы скорей уехать, но не выдержал и еще раз оглянулся на заветную юрту. Возле нее показалась женская фигура. Черный чапан был накинут на ее голову, белое длинное платье спускалось до земли. Не Тогжан ли это? Наверное, она только что встала… Абаю казалось, что он ясно слышал переливчатый звон серебряного шолпы. А может, это напев его собственного сердца? Но останавливаться было неудобно… Верблюжьи горбы — даже самое название этого аула стало теперь для Абая близким и дорогим — остались далеко позади. Всадники, миновав горные отроги, ехали берегом реки Караул. Абай перевел коня на шаг.

Вдруг до его слуха донесся приближавшийся конский топот. Встревоженное сердце опять заметалось, как ночью, вспыхнуло внезапной надеждой. Абай порывисто обернулся. Но верховой — какой-то смуглый коренастый жигит — ехал не от аула Суюндика.

Всадник приблизился. Он оказался совсем юным, — над верхней губой у него только начинал пробиваться пушок. Юноша сидел на бурой кобыле, подстриженной так, как подстригают трехлеток. Поравнявшись с путниками, он отдал салем. Лицо его расплылось в улыбке, белые зубы блеснули, как жемчуг.

Ему скучно ехать одному, и вот он догнал путников, чтобы поболтать с ними. Грудь бурой кобылы была в поту, губы в пене, она тяжело раздувала ноздри.

Оба путешественника радушно встретили нового спутника. Начались взаимные расспросы. Юный попутчик оказался сыном Коменбая из аула Суюндика, по имени Ербол.

Карабас скоро запросто разговорился с Ерболом. Слушая их, Абай почувствовал к молодому жигиту дружеское влечение и ласково смотрел на него. Ербол оказался близкой родней Суюндика, его мать приходилась двоюродной сестрой матери Тогжан!.. Он, как свой человек, постоянно бывает в доме Суюндика. Веселый, словоохотливый юноша сразу завоевал сердце Абая.

Абая поразило огромное количество птиц в Карауле. Он высказал желание поохотиться в этих краях. Ербол тотчас же спросил:

— А сокол у тебя есть? Если есть, приезжай к нам. Я покажу тебе места, где водятся утки и гуси.

Дома у Абая был сокол Такежана. Предложение Ербола показалось ему заманчивым. Едва отъехав от Верблюжьих горбов, он уже мучился, обдумывая, когда и год каким предлогом еще раз и скорее побывать здесь. Приглашение Ербола открывало ему этот путь.

Разговор об охоте быстро сблизил их. Они болтали, как давнишние друзья. Казалось, что разговорам не будет конца.

Но вот они выехали в долину, где их дороги расходились. Ерболу нужно было свернуть направо, а дорога Абая и Карабаса лежала влево, в аул Кунке, у подножия хребта Чингиз.

Но Абаю не хотелось расставаться с Ерболом, и он начал упрашивать его:

— Может быть, ты уж не так спешишь в Кольгайнар? Поедем к нам!

— Ну вот! Что я отвечу, если спросят, по какому делу я приехал? — рассмеялся тот.

— Никто и не спросит. Погуляешь у нас, погостишь… Поохотимся с соколом…

Просьба Абая звучала заманчиво.

— Мне и самому это по душе. — И жигит на минуту задумался. — Нет, — внезапно решил он, — не могу! — И пояснил: — Дела!

Вскоре он простился со спутниками и поскакал к Кольгайнару, сияя веселостью, как и в первые минуты встречи. Его жизнерадостность понравилась Абаю. Он завидовал Ерболу: ведь Ербол каждый день может видеться с Тогжан. Какое это было бы счастье для Абая. А тот, небось, беспечно, со спокойным сердцем встречается с ней!.. Ербол — последняя надежда Абая. И он удаляется… Только что был таким задушевно близким — и вот исчез…

2

Они приехали в Карашокы после обеда. У просторной белой юрты Кунке и возле кухонной юрты стояло на привязи много лошадей под седлами, украшенными серебром. Очевидно, Кунанбай устроил какой-то сбор. По таврам коней Карабас тут же установил, что приехали люди только из ближайших окрестностей.

— Это все — Иргизбай, Жуантаяк, Топай, сбор обычный, — и он прибавил огорченно: — Э, всех коней заседлали, видно, уже собираются уезжать, прозевали мы с тобой обед!

Абай вошел и отдал салем. В юрте было полно народу. Кунанбай сидел подле высокой кровати. Плечи его возвышались над всеми остальными, ворот белой рубахи был распахнут и открывал волосатую грудь. Гости, уже одетые в дорогу, допивали кумыс и слушали напутственные слова Кунанбая. Некоторые приподнялись — и так и замерли на одном колене с малахаем на голове. За кроватью, ближе к двери, сидела Кунке. Рядом с нею старый Жумабай перебалтывал и переливал кумыс. Абай подсел к ним и услышал слова отца:

— Меня уверяют, что я ошибаюсь, что они не затевают новой вражды… Хорошо, поверю. Может быть, себе во вред, но поверю, — как-то мрачно подчеркнул он эти слова. — Буду терпеть, пока не удостоверюсь своими глазами. Кто мне истинный друг, — с этими словами Кунанбай окинул быстрым взглядом своего пронизывающего глаза всех, от переднего места до дверей, и впился им в старейшин родов Жуантаяк и Топай, — кто мне истинный друг, пусть терпит вместе со мной! Терпите, но будьте готовы ко всему… И когда я сяду на коня, будьте со мной. Сделайте так — будете правы перед богом и передо мной! Больше пока у меня нет ни желаний, ни просьб, — закончил он, как будто сказал этими словами: — «Кто собрался, может ехать».

Все в один голос поддержали его:

— Да будет по-твоему!

— Да будет так, как ты сказал!

Абай подумал про себя: «Точно клятву дают! Наверное, отец вызвал их, чтобы прощупать и стянуть потуже обручем…»

Кунанбай только что произнес слово «друг». Абай окинул всех взглядом и невольно задумался: люди, которых отец назвал друзьями, были совсем незнакомы юноше или знакомы очень мало. Раньше отец называл друзьями Байсала, Каратая, Божея, Суюндика, Тусипа. Сейчас здесь не было ни одного из них. Не было даже Кулиншака, к которому он недавно сам посылал его. Тут что-то другое. Что это за новые друзья? А где же прежние? Или здесь кроется какой-то новый тайный замысел?

По возвращении из Каркаралинска Абай был убежден, что распри и раздоры окончились примирением, совершившимся в городе и закрепленным отдачей несчастного ребенка Божею. Разговоры и слухи как будто тоже прекратились. А о чем шептались в народе, он не расспрашивал.

Большинство гостей разъехалось. Кунанбай задержал у себя двух-трех старейшин, но и в этом тесном кругу он был каким-то сдержанным и напряженным. Абай так и не мог рассказать ему о своей поездке к Суюндику.

Улучив удобную минуту, он отчитался перед отцом. Оставаться здесь Абаю не хотелось, его тянуло сегодня же уехать в Жидебай к матери. Но, когда он сообщил о своем желании отцу, Кунанбай резко оборвал его:

— Что ты — девчонка, чтобы в куклы играть? Не можешь отстать от матери? Тебе лучше с бабами, чем со мною? Здесь ты видишь людей, слышишь умные речи, учишься жить. А чему научишься там?

Внутренне Абай не мог согласиться с этим. «Если ты — отец, то она — мать. Сына растят и воспитывают оба…»— подумал он про себя, но прямо перечить отцу не решился.

— У меня дома сокол, — неуверенно сказал он. — Нынче много дичи, яхотел поехать в Жидебай поохотиться…

Такое желание Кунанбаю было понятно. Он не возражал.

— Побудь здесь еще дня два. Я хочу завтра послать тебя к Байдалы. А потом поедешь к себе.

Это вполне устраивало Абая. У него сразу стало легко на душе. Но, выйдя из юрты, он задумался.

Сначала Кунанбаи отправил его к Кулиншаку, с которым был не в ладах, потом — к Суюндику, давняя размолвка которого с Кунанбаем тоже всем известна. От этих стариков Абай услышал нелестные отзывы о своем отце. А теперь отец посылает его к Байдалы, сообщнику Божея…

В чем же тут дело? Почему отец дает ему поручения именно к ним? Кунанбай, вероятно, нарочно посылает его к тем, с кем враждует. «Пусть увидит, что это враги, пусть узнает их ближе, — наверное, думает он, — тогда поймет и оценит меня…»

Или это не так? Абай снова глубоко задумался. Дебри! Ему кажется, что он бредет в темных, запутанных дебрях, безоружный, беспомощный, втянутый сюда чьей-то суровой волей…

Через два дня Абай снова вместе с Карабасом выехал к Байдалы. Здесь было не то, что у Кулиншака или у Суюндика, — ни приветливой встречи, ни гостеприимства. Едва они переступили порог огромной юрты, как услышали раздраженный крик Байдалы — он на кого-то сердился.

В юрте, жаркой и душной, царил беспорядок. У самой двери скотница готовилась варить овечий сыр. Посредине кипел большой котел. Байдалы осыпал шлепками какую-то маленькую смуглолицую девочку.

— Убирайся прочь! Покоя не даешь, будь ты проклята! — крикнул он и толкнул ребенка. Перепуганная девочка чуть не свалилась в огонь и залилась плачем. Сперва она плакала громко, навзрыд, взвизгивая, а потом вся посинела, захлебываясь в плаче.

— Убери эту дрянь! Чтоб духу ее здесь не было! — приказал Байдалы жене и выгнал девочку за порог.

Абай и Карабас вошли в юрту, отдали салем и сели. Байдалы холодно принял салем и холодно поздоровался.

Когда в доме варят сыр, котел занят. Это— удобное оправдание для тех, кто не любит угощать гостей мясом. Задерживаться в юрте, где царили шум и беспорядок, Абаю не хотелось. «Пусть не угощают, тем лучше!»— подумал он, потешаясь в душе над Карабасом, который больше всего в жизни интересовался едой. Мясной обед и ужин занимали все его внимание; иногда Абай торопился с отъездом, но Карабас задерживал его на ночлег только потому, что в этом доме на ужин подавали копченое мясо.

Чернобородый суровый хозяин ни разу не обернулся к гостям и упорно смотрел на дверь, потом неопределенно кивнул жене, как бы говоря: «Принеси им кумыса, что ли…»

Карабас снял пояс и хотел было усесться поудобнее, но Абай, поняв настроение хозяев, не собирался надолго располагаться. Когда принесли кумыс, Байдалы сам переболтал и перелил его и подал гостям по чашке.

— Куда едете? — спросил он наконец. — По какому делу? Абай тотчас же изложил ему поручение отца.

Дело опять шло о земле. Перед откочевкой на жайляу Кунанбай предоставил роду Бокенши взамен отнятого в прошлом году Карашокы земли, граничащие с пастбищами Байдалы. Теперь он просил Байдалы разрешить аулам Сугира и Суюндика пользоваться пастбищами.

Выслушав Абая, Байдалы нахмурился и долго молчал, пристально смотря на юношу и не отвечая ему ни слова. Но Абай не смутился под этим немигающим взглядом, — на его лице отражалось только искреннее удивление, точно он спрашивал: что это ты на меня так уставился?

После продолжительного молчания Байдалы заявил:

— Пусть будет так! Суюндик и Сугир могут становиться там своими аулами. Что я еще могу сказать?

Это было решение мужественного, твердого человека. Он не стал тянуть, спорить, просить, хотя в душе негодовал и бесился. Абай напился кумысу, поблагодарил хозяина **и**  хотел уже уходить, но Байдалы заговорил снова:

— Я согласен на его предложение. Но я еще имею слово к твоему отцу — сумеешь ли ты точно передать ему?

— Говорите, аксакал. Я даю вам слово передать все, что вы скажете, — ответил юноша.

Его слова понравились Байдалы.

— Если бы я передал через чужих, начались бы сплетни и пересуды. А тебе говорю так, как говорил бы самому твоему отцу, — продолжал Байдалы и опять сосредоточенно помолчал.

— Не вчера ли в Каркаралинске при многолюдном сборище мы сказали: «Да будет между нами мир и дружба»? — начал он. — А на что похож сегодня наш мир? Если и после примирения Кунанбай притесняет меня, чем отличается такой мир от прежней вражды? Чем я виноват? Чем перед твоим отцом провинились мы, жигитеки? Наш прадед Кенгирбай благословил вашего прадеда Иргизбая и поставил его бием после себя. Разве у него не было своих родных сыновей? Но он сказал: «Власть примет Иргизбай». И вот Кунанбай стоит выше всех нас. у него и власть и слава. Зачем же он не перестает топтать наш род? Он не дает нам покоя, он все толкает нас: «Скорей!.. Кидайтесь в костер!.. Не успокоюсь, пока не добьюсь своего!..» Он требует ответа? Передай ему мои слова: «Если он не прекратит своих преследований, дождется беды». Передай это не только от меня, я так и скажи: «Это салем всего рода Жигитек…» А землю пусть берет! Да не одно это пастбище, пусть забирает все!..

И Байдалы махнул рукой.

В юрте было тихо. Костер ярко пылал, длинные языки пламени лизали дно большого котла, в котором варился сыр. Кислое молоко, сгустившись, тяжело булькало, вздымаясь медленными большими пузырьками. Байдалы говорил, а Абай не сводил глаз с клокочущей в котле массы… Не так ли клокочет возмущение, доведенное до крайних пределов? Как этот кипящий котел, оно бурлит не в одном месте, — негодование прорывается то тут, то там. Вот она, обида Кулиншака, горькие слова Суюндика, ненависть Божея… А теперь — Байдалы…

Речь Байдалы была сдержанна и скупа, но сколько глубоких ран он затронул, сколько горьких дум оживил, сколько запутанных узлов задел! В короткой его речи — долгие годы раздоров, упреки и обвинения, собранные по каплям, неоспоримые, доказанные…

Внешне Абай держался спокойно. Он даже виду не подал, согласен он с Байдалы или нет, — его дело выслушать и запомнить. Он поднял свою плеть, надел малахай и хотел уже попрощаться с хозяином, но Байдалы снова зашевелился, как бы желая говорить еще. Абай опять снял малахай.

Старики умеют хранить невозмутимость и таить на дне души заповедные клады глубоких дум, но такую мгновенную смену бури и спокойствия, такую силу воли и умение владеть собою Абай встретил впервые. Байдалы, только что кипевший от возмущения, неожиданно заговорил совершенно мирно:

— Ты, наверное, часто видишь Каратая? Что и говорить — золото, а не человек! Жаль, что он из маломощного Кокше, — родился бы он в Иргизбае, далеко бы пошел!

Помолчав, он продолжал:

— Как-то раз мы — Каратай, Божей, Байсал и я — говорили о разных делах, а потом кто-то задал вопрос: «Кто из тех, кого мы знаем, самый щедрый?» Все задумались. Байсал, как лесной зверь, лежал и жмурился на солнцепеке. На вопрос ответил Каратай. «Самый щедрый — Кунанбай», — сказал он. Немного погодя был задан другой вопрос: «Кто самый красноречивый?» Ответил опять Каратай: «Самый красноречивый — Кунанбай». Вот мы миновали два перевала и спросили в третий раз: «Кто лучше всех?» И в третий раз ответ был дан Каратаем: «Лучше всех — Кунанбай», — заявил он. Тогда Байсал поднял голову с подушки и крикнул ему: «Эй, лиса, что ты плетешь? Кунанбай — щедрый, Кунанбай — красноречивый, Кунанбай — лучший… Чего же тогда мы задираем нос и боремся с ним?» Каратай ответил тут же: «Ой, боже мой, разве пороки Кунанбая нас мучают? У него все добродетели, не хватает только милосердия, — потому мы и в раздоре…» — и Байдалы пристально посмотрел на Абая. — Ты, как я вижу, разбираешься в словах. Вероятно, твой отец не слыхал об этом разговоре. Расскажи ему. Каратай не раз был свидетелем его безжалостной жестокости — разве все перечтешь? — и жигитеки тоже изо дня в день видят и знают, каков он… Слова «прощаю» нам, видно, не услышать от него до самой смерти! Байдалы замолчал.

На обратном пути Абай нигде не хотел останавливаться. То, что он услыхал сегодня, было и тяжело и поучительно. Отъехав от аула, он повернулся к Карабасу.

— Давай поскачем наперегонки! — предложил он.

Карабас не был любителем скачек, но, чтобы добраться до Карашокы засветло, следовало поторопиться, да и вороная кобыла его была не хуже абаевского Аймандая.

— Ну что ж, давай! — согласился он и помчался вперед.

Они долго скакали. Соперники опережали друг друга, но ни один не сдавался. Когда Карабасу удавалось вырваться вперед, он предлагал остановиться, но Абай стегал своего Аймандая и кричал, догоняя: «Гони, гони!»— и скачка продолжалась. Карабас подумал: «Здорово задел его Байдалы!.. Ишь как загорелся!»

Перед самым закатом, взмылив коней, они доскакали до Карашокы.

За аулом возвышался каменистый холм, и на нем Абай увидел отца, сидящего с Майбасаром. Абай спрыгнул с коня, бросил поводья Карабасу и поспешил к холму.

Кунанбай понял, что сын летел вскачь всю дорогу. Буланый иноходец дышал тяжело, бока его раздувались, он не мог успокоиться, рвал и тянул коновязь. Для опытного глаза Кунанбая этого было достаточно, чтобы понять, как Абай мчался.

Но не это остановило внимание Кунанбая. Он не был мелочен я не надоедал детям упреками — заездил, мол, коня. Он не бранил их и в том случае, если конь под ними начинал хромать или даже падал: что ж, быстрая езда — обычное увлечение в молодые годы!

Кунанбая занимало другое: Абай даже не зашел домой и сразу поспешил к отцу. Кунанбай внимательно посмотрел на сына. Глаза юноши блестели, щеки пылали, ноздри раздувались. Что за перемена произошла в нем? Слишком он был не похож на обычного спокойного Абая…

Сын подошел, и Кунанбай спросил его!

— Что с тобою? Чем ты взволнован? Расскажи, что случилось. Абая удивило, что отец сразу понял его состояние. Он присел около Кунанбая и слово в слово передал весь разговор с Байдалы.

Рассказывая, он пристально следил за отцом. Сначала Кунанбай слушал терпеливо. Но при словах: «Чем провинились мы, жигитеки?» — он нахмурился и уставился на сына пронизывающим взглядом, словно стараясь ответить себе самому на вопрос; «А сам-то Абай как смотрит на это?»

Взгляд отца не смутил юношу: он не только сумел передать всю тяжесть обиды рода Жигитек, но как будто присоединил к словам Байдалы и свои собственные доводы. Наступил час, когда отцу довелось стать лицом к лицу с сыном и объясниться до конца.

Абай закончил салемом рода Жигитек, полным угрозы. Кунанбай молчал по-прежнему. Тогда, выждав, юноша передал и последний рассказ Байдалы о словах Каратая: «Теперь-то уж он должен заговорить! — решил Абай. — Но как и что он скажет?..» И Абай с нетерпением ждал ответа.

Кунанбай угадал его мысли. Ответить нужно. Не Каратаю и Байдалы, а своему сыну, ожидающему ответа. Ответить нужно хотя бы для того, чтобы сын знал цену противникам отца.

— Каратай — опытный скакун. Он знает, где мчаться, где идти шагом.[84] Может быть, он и прав, — начал Кунанбай, — но мне кажется, — из любого достоинства человека могут вырасти и его пороки. Настойчивость и упорство я считаю самыми лучшими качествами человека. И если я за что взялся, я держусь крепко. Возможно, из этого порой рождаются и мои ошибки… — И он замолчал, сильно побледнев. — Человек — раб божий. А мало ли недостатков бывает у раба? — продолжал Кунанбай спокойнее, чем вначале.

И Абай вдруг почувствовал, что отец — большой человек. Пусть косвенно, но он признал себя неправым. Он не похож на Байдалы, который легко обвиняет других, но с трудом признается в своей ошибке. Слова отца — не пустое красноречие: в них таятся глубокие мысли. Душу Кунанбая не просто познать, — так в извилистых складках горы трудно найти дорогу…

У отца — свои цели, свой путь. У сына — свои. И, подавленный, Абай уходит, унося неразвязанные узлы своих дум.

3

Перед возвращением в Жидебай Абай спросил у отца, когда и куда вести в этом году летнюю кочевку. Кунанбай велел Большому аулу кочевать первым. Но путь кочевий в этом году был новый: жайляу нынче намечалось за перевалом, в долине Баканаса.

Баканас и Байкошкар — самые большие реки на летних пастбищах Тобыкты. Раньше аулы Кунанбая летом располагались по Байкошкару, Баканас же принадлежал роду Кокше. А теперь Кунанбай, находясь а раздоре с Каратаем, как видно, решил захватить его жайляу.

Тут, несомненно, крылись и другие расчеты. Три рода — Бокенши, Жигитек и Кокше — собираются на лето объединиться и кочевать в одно место. Угроза Байдалы, переданная через Абая, была не пустой, — так может говорить тот, кто собирает вокруг себя единомышленников. Кунанбаю нужно было включить часть своих аулов в земли жигитеков: тогда все, происходящее у них, каждое их слово, каждая их уловка, каждый тайный шаг будут ему известны.

Выгоднее всего было отправить туда Большую юрту Зере: этот дом почитают все тобыктинцы. Кроме того Улжан гостеприимна, проста и щедра — не то что Кунке. Ее приветливость привлекает к ней всех. Улжан своим обращением сумеет смягчить и очистить сердца.

Взвесив все это, Кунанбай отдал Большому аулу приказание кочевать по Баканасу через перевал и расположиться на одном жайляу с бокенши.

Абай не подозревал о тайных замыслах отца. Хотя отдельная от других кочевка их аула показалась ему затруднительной, но яркая искра радости вспыхнула в нем. Кочевать по берегу Караула, идти до Баканаса — это означало оказаться вблизи аула Суюндика. Когда он до этого задумывался о Тогжан, ему казалось, что их тропинкам не суждено уже больше ни встретиться, ни даже близко подойти друг к другу. И вот сегодня извилистый путь жизни снова повел его к аулу Тогжан!..

Все последнее время при мысли о Тогжан им овладевало тяжелое чувство, а теперь Абай не мог скрыть своей радости. При словах отца он весь покраснел. Кунанбай заметил это, но расспрашивать не стал. Конечно, Абай не возражал против такой кочевки, но раз им приходилось кочевать отдельно, он не был уверен, хорошо ли их аулу отправляться совсем одному. Он высказал отцу только это сомнение. Кунанбай, однако, заранее обдумал все.

— Одни вы не будете. За вами пойдет не меньше десяти других наших аулов, я приказал им кочевать за вами, — ответил он сыну.

Договорившись обо всем. Абай вернулся в Жидебай.

Встретить Тогжан еще раз, видеть ее — и, может быть, неоднократно, — какой неожиданной, неоценимой находкой наградила его судьба! Дорогой он позабыл обо всем в мире, — его мысли были полны Тогжан, и только ее образ возникал перед взором Абая.

«Моя единственная! Моя надежда!»— повторял он. Слова вырывались сами, непроизвольно и вторили топоту Аймандая, который мчал ого вперед. Неповторимые минуты. Крылатая молодость, пламя, бушующее в груди…

От самого Карашокы до Жидебая Абай ехал быстрой рысью. Никогда еще этот путь не был так короток — Абай и сам не заметил, как доехал.

В Жидебае все уже перебрались в юрты. В этом году река Караул разлилась очень широко, и поемные луга уже покрылись зеленым ковром. Аул, приветливо белея многочисленными юртами, как будто зазывал к себе гостей. Вокруг него сгрудились отары овец, ягнята с громким блеянием бегали за матками, лаяли собаки, люди весело суетились и шумели. Абай остановил коня у Большой юрты, поздоровался с матерями и передал распоряжение отца о кочевке. Жайляу в этом году зазеленели рано, аулы, расположенные в Чингизе, не стали откочевывать к подножию, а сразу пошли на летние пастбища, — значит, не следует отставать и Большому аулу.

Улжан соглашалась с этим, но ответила сыну, что не может двинуться так быстро: сборы, увязка тюков, устройство остающихся при зимовке — все это потребует по меньшей мере пяти-шести дней.

Абай заволновался. «А вдруг аул Суюндика успеет перевалить горы и удалится так, что потом его и не догонишь?»— подумал он. А ведь какое это удовольствие — кочевать вместе с аулами, где есть друзья! Вместе двигаться, вместе останавливаться и на дневной и на ночной отдых! Кроме того в пути к жайляу на привалах ставят обычно маленькие легкие юрты, шалаши, шатры. Если с кем сошелся душой — как хорошо тихой лунной ночью встретиться в одиноком шатре!.. От старших жигитов Абай не раз слышал о радости этих мгновений, пока еще неведомых ему.

Однако решение матери было непреклонно. В делах, связанных с хозяйством аула, Улжан всегда поступала по-своему и не считалась даже с Кунанбаем. Как бы ни рвалось сердце, Абаю пришлось подчиниться.

За ужином Абай передал Зере и Улжан, как живет маленькая Камшат. Он рассказал все, что слышал, со всеми подробностями, ничего не скрывая. Пусть плачут, горюют, но о тяжкой судьбе Камшат дальше молчать нельзя.

Зере тяжело вздохнула и начала осыпать Кунанбая горькими упреками. Улжан несколько минут сидела молча, потом обратилась к Абаю:

— Не говори пока об этом Айгыз. Ее сердце и без того разрывается от печали… Утром она сказала, что видела во сне, будто Камшат упала в самое пламя очага… — Она прибавила: — Жена Суюндика — настоящая мать, чуткая и любящая. Она не станет зря говорить. Доберемся до Чингиза, возьми с собою кого-нибудь из взрослых и поезжай к Камшат, посмотри своими глазами. Будем все знать, поговорим и с отцом. Тогда и Айгыз можно будет рассказать.

Все одобрили ее предложение…

Десять дней спустя Большой аул Кунанбая, перевалив через хребет, остановился на отдых в соседстве с землями жигитеков и*бо* кенши.

Всего прикочевало сюда около десяти аулов, как и говорил Кунанбай. До самого последнего дня они не могли догнать кочевий бокенши и жигитеков, которые тронулись с подножий Чингиза раньше. Как видно, Большой аул шел медленнее других.

В первый же день им со всех сторон стали приносить мясо и кумыс — полагающееся по обычаю приношение Зере и приветствие Большому аулу. Женщины приходили непрерывно, по нескольку человек. Старую Зере не обошел никто. Несмотря на размолвку с Кунанбаем, родичи, жившие в этих местах, все побывали у нее, кроме Божея, Байдалы, Сугира и Суюндика. В доме Зере всех встречали радушно, а о тех, кто не пришел, не вспоминали, будто и не замечали их отсутствия.

На другой же день после приезда на жайляу Абай отправился с Габитханом в аул Божея. Он находился неподалеку, по ту сторону холма, зеленевшего на западе, на берегу пресного озера. Они приехали туда в обеленное время. Сразу бросалось в глаза, что аул Божея был небогат — новых нарядных юрт белело не много, большинство же давно потемнело от ветхости.

Абай и Габитхан подъехали к юрте Божея и сошли с коней. Хозяина дома не оказалось, он находился на обеденном угощении по ту сторону озера, у одного из сородичей.

Когда, привязав коней, они направились к юрте, до слуха Абая донесся слабый, жалобный плач маленького ребенка: так умоляюще могло плакать только больное дитя.

Абай узнал голосок Камшат. Сердце его сжалось от тяжелого предчувствия. Обойдя юрту, они подошли к двери. Грубый голос осыпал дитя попреками и бранью. Это говорила байбише Божея. Она резко отчеканивала слова, и каждое тяжким ударом отзывалось в сердце Абая:

— Не вой! Нечего выть, подкидыш проклятый!

Абай распахнул войлок двери и вошел в юрту вместе с Габитханом. Просторная юрта внутри оказалась богаче, чем снаружи — она была полна дорогого имущества, ковров, занавесей. Однако все было в беспорядке — пол не подметен, постель не прибрана, веши раскиданы. У кровати сидела за прялкой крупная смуглая женщина. Подвижные ноздри и непрерывно шевелившиеся губы выдавали ее сварливый нрав. За кроватью на полу сидели обе дочери Божея, занятые вышиванием. Перезревшие девицы, некрасивые и неуклюжие, казались такими же озлобленными, как и их мать.

Плач ребенка продолжался.

Да, это плакала Камшат. Она лежала на рваной, грязной подстилке, свернувшись комочком. Под голову ей вместо подушки подложили рукав старого чапана. Она плакала слабым, дрожащим голосом, как будто жаловалась на черствость и жестокость окружающих.

Румяная, полненькая Камшат теперь высохла и побледнела, как после тяжелой болезни. Ее ручки и ножки стали невероятно тонкими. Личико выражало беспомощное страдание. Ресницы точно удлинились, щеки ввалились и покрылись морщинами, как у взрослого человека, перенесшего большое горе или сильный голод. Измученный, заброшенный ребенок был жалок и беспомощен.

Абай и Габитхан сразу бросились к малютке, но она не узнала их и пугливо отвернулась.

Габитхан, пораженный, не удержался.

— Ой, бедняжка беззащитная! Сколько мук ты терпишь безвинно! — воскликнул он и заплакал.

Абай весь побелел. Все в нем задрожало от ярости.

Женщины, чтобы оправдаться, стали болтать невпопад всякие небылицы.

— Другие дети все здоровы, одна она, бедняжка, болеет поносом! Никак не может поправиться! — начала байбише.

— Сказано: «Заболел живот — держи пустым рот». А разве ребенок понимает это? Чуть ему лучше — сразу же начинает все хватать!.. Разве может она так поправиться? Сама себе портит, — присоединились девицы, пытаясь выказать свою заботу.

Абай не разговаривал с ними. Самый вид этих безжалостных людей точно ножом полоснул его сердце, едва он успел перешагнуть через порог.

Жена Божея приказала поставить самовар, но Абай отказался от угощения.

— Мы не будем пить, мы сейчас уезжаем, — сказал он.

Разве можно было думать о еде, когда рядом томилась маленькая Камшат, измученная в неволе!.. «Ой, родной, родной мой!»— так плачут, когда умирает родич. А что толку вспоминать о родстве после смерти! Нет, надо уходить, иначе Абай не выдержит, бросится к малютке и не выпустит ее из своих объятий. «Несчастная, родная моя, беззащитная!»— хотелось крикнуть ему.

Но перед этими очерствелыми людьми лучше молчать. Возмущенный лживыми словами девиц, он готов был накричать на них, излить все свое негодование, весь свой яростный гнев, душивший его. Но ведь это погубит Камшат — не облегчит, а только ухудшит ее участь. Он был бессилен…

Байбише подала ему чашку кумыса, — но разве он мог пить в такую минуту? Он поставил чашку на пол, даже не прикоснувшись к ней губами. На кого он негодует? Кого обвиняет и упрекает? Разве вина только на семье Божея? Нет, конечно!.. И с этой мыслью Абай вышел из юрты.

Такой ярости, как сейчас, он раньше никогда не испытывал. Он вернулся в свой аул только к вечеру, но злоба и возмущение не стихли в нем ни на миг.

На привязи между Большой и Гостиной юртами стоял длинный гнедой конь под седлом Кунанбая. Рядом с ним — еще чья-то лошадь. Как видно, отец только что приехал, Что ж, это хорошо: Абай твердо решил донести до отца жалобные, печальные стоны маленькой Камшат. Решил — и сразу вошел в юрту, где сидел Кунанбай, приехавший сюда в сопровождении одного только старого Жумабая.

Почти одновременно с Абаем пришла Айгыз. Ее материнское сердце как бы предчувствовало новое горе, неудержимая сила привлекла ее сюда, она знала, что Абай днем ездил к Божею. Едва переступив порог, она обратилась к юноше.

— Что нового, Абайжан? Узнал ли ты, как живет твоя бедная сестренка? — спросила она с тоской.

Зере и Улжан тоже повернулись к нему, ожидая ответа.

Абай взглянул на отца. Кунанбай молчал, не сводя с Айгыз холодного взгляда.

— Своими глазами видел, — ответил юноша. — Камшат больна, на волоске от смерти. Нас она не узнала. Все для нее чужие, все враги… Что мне говорить?

Кунанбай резко повернулся и уничтожающе посмотрел на него, но не сказал ни слова.

Женщины охали, плакали и причитали.

Лицо Айгыз побледнело, глаза наполнились слезами.

— Светик мой! Птенчик мой, сиротка моя несчастная! — вскрикнула она. — Кем проклят день, когда ты родилась на свет?

Кунанбай вскинул левую руку, как бы приказывая ей замолчать. Или, может быть, он защищался от материнских проклятий?

Айгыз продолжала лишь шептать, задыхаясь. Кунанбай закричал на нее:

— Прекрати! На свою голову накликаешь! Пропади все твое зло вместе с тобой!

Айгыз не посмела отвечать. Но тогда заговорила Улжан. Сидя возле Абая, она вытирала слезы.

— Что же это такое? Хоть сгори, но не крикни? — сказала она в отчаянии. — Разве только сегодня началось наше горе? Мы давно плачем о Камшат! А кому скажешь? Кто поймет?

Кунанбай прервал и ее, но Зере возмутилась.

— Не запугивай моих невесток! Что это? — сказала она властно. Приподнявшись на ковре, упираясь руками в пол, она гневно посмотрела в лицо своего сына. Никогда раньше Абай не видел бабушку такой грозной.

Зере продолжала пристально глядеть на Кунанбая. Под этим решительным взглядом он сразу сдал и отвел глаз в сторону.

— Кому же они могут принести свое горе и надежды кроме тебя? — негодующе начала Зере. — Если ты хочешь быть жестоким, будь жесток с врагами! К чему приведет твоя жестокость среди друзей, в собственной семье? Считай себя хоть земным богом, но ты не с небес спустился. Ты дитя простого смертного человека и рожден матерью: я родила тебя!.. Они — тоже матери и делятся с тобой своим материнским горем. Вы отдали Камшат на растерзание, а нам оставили тоску и отчаяние. Чем кричать на них — найди утешение, исцели! Освободи от мук сироту-дитя!

Голос Зере звучал повелительно.

В юрте все молчали. Кунанбай не мог найти слов для ответа, все внутри у него клокотало. Так с ним давно никто не смел говорить. Но голос матери был голосом совести и справедливости — и разил его своим острием.

— Что же я могу сделать? Ведь так присудили все старейшины рода! — попытался он оправдаться перед матерью.

Абай, давно с отвращением думавший об этом решении, внезапно заговорил:

— Что это за приговор, безжалостный, жестокий, бесчеловечный? Не так примиряют людей!.. Разве может такое решение принести мир? Горькую муть поднимает оно в сердце. Что будут эти матери чувствовать к жигитекам, когда те силой вырвали у них родное дитя? О каком мире говорить, когда жигитеки хотели скота, а получили ребенка, за которым нужен уход? Пусть они так бесчеловечны и тупы, что им пять кобыл дороже жизни Камшат, пусть!.. Но мы-то — мы сами отдали беспомощное дитя, как жалкого щенка!..

Отец внимательно прислушивался к словам Абая. Это было что-то новое. Ни у кого никогда еще не было таких мыслей… Но так рассуждать нельзя: Абай идет не по проторенному в веках пути, а по какой-то своей, неведомой тропинке.

— Э, сынок, недоросток мой! Сердцем ты прав, но ты не считаешься с обычаем народа! — сказал Кунанбай.

Сейчас он говорил уже иначе: он не приказывал, а будто обсуждал вопрос, который мучил всех окружающих. И хоть он и назвал Абая «недоростком», было видно, что в своем ответе он считается с сыном. Ответ его Абаю показывал также, что он делает уступку и Айгыз и Улжан.

Кунанбай немного помолчал. Потом начал снова.

— Тому ли учил обычай предков? При примирении спорящих принято заключать браки между враждующими родами. Девушку отдают, как рабыню, как наложницу. А мы отдали Камшат с тем, чтобы Божей сделал ее своей дочерью. Разве мы бросили ее на мучение? Все дело в самом Божее. Если он способен понимать что-нибудь, почему он не принял мое дитя, как свое собственное? Ведь если он обращается с ней, как с чужой, значит, он и нарушает условие, остается в долгу перед нами. Пусть он ненавидит меня. Но разве дитя мое, вынутое мною из пеленок и отданное ему, в чем-нибудь виновато перед ним? Если он не сумел внушить своей семье даже этой простой вещи, значит, он в чашке воды утонул![85]

Слова Кунанбая уничтожали Божея.

Абай и сам вернулся от Божея, впервые за все это время неся в сердце глубокую обиду на него, не веря ему больше. «Если жена у него потеряла человеческий облик, почему же сам он не может внушить ей должного?..»— думал юноша. Еще на обратном пути он говорил об этом Габитхану.

Кунанбай тут же принял решение. На следующий день старый Жумабай повез салем Кунанбая в аул Божея. Айгыз тоже отправила к байбише Божея одну из пожилых соседок и поручила сказать: «Передай ей: она губит мое дитя. Разве стал бы поступать так человек с умом и совестью!»

Жумабай вернулся от Божея мрачным и рассказал о встрече.

У Божея сидели Байдалы и Тусип. Когда жена сообщила ему и об упреках Айгыз, Божей, посоветовавшись со своими друзьями и семьей, послал Кунанбаю суровый ответ: «Кунанбай жег мою честь на костре. Он думает, что рана зажила? Что перелом сросся? А подумал ли он о том, что терплю я? Или он считает, что может сгореть все дотла, лишь бы не пострадала ни одна его ветка? Что потерял Кунанбай? Высыпалось всего одно его зернышко! Пусть не спрашивает с меня, не докучает мне, пусть не выводит меня из терпения!»

Это было все, что он передал через Жумабая. В его словах звучала прежняя глубокая обида. Казалось, ненависть и месть снова вздыбили свой грозный хребет, снова кричали: мы еще пылаем!..

Ответ Божея убил последнюю надежду Абая. Все возмутилось в душе юноши.

Где же у них жалость — не у байбише и дочерей, глупых, невежественных, — а у самого Божея? Как мог он приговорить невинную малютку к медленной смерти? Какая жестокость — и никакого раскаяния!.. Значит, только с виду Божей был человеколюбивым, мягким, милосердным? Ведь таким он казался, когда терпел удары сам, а не обрушивал их на другого… Так чем же лучше он Кунанбая, которого сам обвиняет в жестокости?..

Кунанбай слушал ответ Божея, опустив глаза. Лицо его страшно побледнело, он часто дышал. Но и тут привычная замкнутость не изменила ему. Он только с горечью сказал Абаю:

— Моя дочь — для него не человек, а волчонок. Ненависть в нем утихнет только в могиле. Если б ему попался в руки любой из моих сыновей, он ослепил бы его, просто разорвал бы в клочья! Это по всему видно… Хорошо. Принимаю все. Подожду, прежде чем ударить.

Через несколько дней громом грянула страшная весть: Камшат умерла.

Она умерла утром, а после полудня ее уже похоронили. Мало того — о ее смерти не известили ни аул Кунанбая, ни даже родную ее мать Айгыз. В ауле Улжан узнали о смерти ребенка от приезжего чабана.

Все были возмущены, и больше всех Зере и Абай. Он не находил оправданий этой дикой, бессмысленной жестокости. Камшат — малютка. Раздоры и вражда должны были отступить там, где дело шло о самом основном в жизни — о человечности.

Божей и сам, видимо, понимал это: в день смерти ребенка он поручил жене известить Айгыз. Но Байдалы убедил его не делать этого, и Камшат похоронили, не позвав ее родных.

С тех пор как Кунанбай отнял у жигитеков летние постбища и отдал их бокенши, оба рода, жившие всегда в дружбе, вступили на путь постоянных взаимных подозрений и обид. Кочевья, выпасы, реки — все стало теперь служить поводом для раздора.

Байдалы и Тусип видели это. Их не покидала тревожная мысль, что посеянная Кунанбаем вражда приведет к полному разрыву с бокенши, и тогда Жигитек лишится последнего союзника в борьбе против иргизбаев. Ненависть к Кунанбаю и подсказала Байдалы совет — похоронить Камшат, не позвав ее родных.

Божей отлично понимал, какое оскорбление наносится этим Кунанбаю, но согласился, даже предвидя все грозные последствия этого. Он слишком ненавидел Кунанбая, чтобы упустить такой удобный случай для мести.

Кунанбай пришел в ярость, узнав, что Камшат похоронили, даже не известив никого из ее близких. Он без огласки вызвал к себе в Большой аул старейшин родов Иргизбай, Топай и Жуантаяк и, рассказав им о поступке Божея, предоставил дело на их усмотрение. К Божею был отправлен посыльный.

На этот раз к жигитекам поехал не Жумабай: Кунанбай послал туда Изгутты и Жакипа — своих братьев, названого и родного, деливших его удачи и горе.

Они заговорили с Божеем прямо без обиняков.

— Что ты сделал? — сказал Изгутты. — Что она тебе: раба, которую ты добыл в походе? Разве она не родное дитя Кунанбая? Хоть бы родную мать известил, дал бы ей своею рукой бросить горсть земли на могилу! Что за нелепая месть!

Божей ответил в присутствии Байдалы и Тусипа.

— Конечно, кому же раздувать пламя, как не Кунанбаю! Неужели мне оповещать народ и устраивать поминки по ребенку с ноготок? — грубо отрезал он. — Да если бы я даже сделал это, разве отвел бы он удар от моей головы? Если я виноват, пусть взыскивает с меня за кровь. Пусть попробует, если в силе!

Очевидно, споры о земле дошли до крайних пределов. — в словах Божея звучали и вызов и готовность идти на все.

Байдалы и Тусип решительно поддержали его и, едва Изгутты уехал, собрали родичей. Раздоры с бокенши были забыты, опасность объединила всех вокруг Жигитека.

И в тот самый вечер, когда Кунанбай благословил своих союзников на начало новой вражды, в ауле Божея Байсал, Каратай, Суюндик и другие тоже приняли твердое решение бороться и скрепили его клятвой перед Божеем.

Было начало лета. Многие аулы совсем недавно перевалили за Чингиз и только начинали ставить юрты. Теперь обе стороны заторопились с кочевкой, чтобы скорее добраться до летних пастбищ на реках Баканас и Байкошкар. Лето грозило быть бурным, люди готовились и к прямым столкновениям и к скрытой борьбе.

Многолюдные кочевья Тобыкты двигались быстро. Жигиты держали наготове свои соилы и шокпары, а коней, предназначенных для летней езды, ставили на ночную выстойку, сгоняя с них жир.

Пламя разгоралось все шире и шире. Томительная тревога перекинулись и на соседние аулы. Глухие слухи о захватах и грабежах носились в воздухе и заставляли спать чутко, настороженно ожидая появления врага.

В это беспокойное, напряженное время аул Зере после безостановочной кочевки дошел наконец до реки Баканас. Только вчера поставили юрты. Вокруг Зере собралось уже не десять, а около сорока аулов. С утра и до поздней ночи целые толпы вооруженных людей наполняли юрты Улжан и Айгыз.

Во время перекочевки Кунанбай не покидал Большого аула. По пути он устраивал сборы, рассылал приказы и распоряжения. По прибытии на Баканас он собрал вокруг себя всех посыльных, старшин, биев. Три-четыре десятка аулов, расположенных поблизости, стали средоточием необычных сборов. Это не был ни съезд, ни выборы, ни поминки, ни конские скачки, ни свадебное торжество. Собирались как будто безо всякого повода, но сборы не прекращались и стали под конец ежедневными.

Абай не знал тайных замыслов своего отца. Старики окружали Кунанбая, и сын почти его не видел. Абай проводил дни с матерями, тяжело переживавшими горе.

Жигитеки, бокенши и котибаки должны были перекочевать на свои жайляу, расположенные неподалеку от Баканаса. Но почему-то они не появлялись. Кунанбай послал разузнать. Оказалось, они задержались позади, у перевала. Обычно враждующие стороны стараются кочевать либо опережая, либо тесня одна другую. В начале кочевки к Баканасу было похоже, что жигитеки повторяли этот прием. Что же с ними случилось? Какие расчеты задержали их? В чем тут дело? Всех волновали эти вопросы, и никто не мог ответить ничего достоверного.

И вдруг неожиданно до Баканаса дошла весть, поразившая всех.

Трое приезжих из рода Бокенши рассказывали, что вот уже дней пять, как Божей заболел. Говорили, что за последние дни болезнь приняла тяжелый оборот. Почувствовал ли он приближение конца, или по другим причинам, но вчера вечером он собрал всех своих родичей и прощался с ними. Приезжие сами слышали об этом.

Аулы иргизбаев и их союзников, расположившиеся по Баканасу, долгое время жили в тревожном ожидании бурных событий и внезапных набегов. Теперь разговоры велись только о болезни Божея.

А на другой день дохнула холодом новая весть: Божей скончался. Он испустил последнее дыхание прошлой ночью.

Жумабай узнал об этом в пути. Когда он с этой новостью приехал к Улжан, в ауле все пили утренний чай. В юрте сидели Кунанбай, Зере и Улжан. Из детей здесь находились Абай, Оспан и Такежан. При вести о смерти Божея все точно онемели.

Кунанбай сидел бледный и сосредоточенно смотрел сквозь открытую дверь на холм, зеленевший вдали. Потом, беззвучно пошевелил губами, медленно совершил молитву.

Зере была подавлена. Тяжелый вздох вырвался из ее груди, и крупные слезы покатились по лицу.

Абай был взволнован. Сердце его сжалось.

Аулы рода Иргизбай, находившиеся в Баканасе, ждали нарочного с сообщением о смерти. Все полагали, что, по неизменному старому обычаю, примчится верховой и пригласит на похороны.

Как бы ни ссорились люди в обыденной жизни, но по старой поговорке: «Перед пышным пиром и перед свежей могилой все должно отступать», — что бы ни было при жизни Божея, не могло оставаться ни одного сородича, который не принял бы участия в похоронах и не оплакивал бы его вместе со всеми.

Для похорон приготовили кумыс, отобрали коней на убой, сложили юрты **и**  стали толковать о том, не поехать ли, не дожидаясь приглашения. Нарочного ждали до самого вечера, но никто не приезжал.

Это было невероятно, но возражать против очевидности не приходилось: на похороны Божея Кунанбая не приглашали. Его самого **и**  его аул намеренно обошли.

Завещал ли это Божей перед смертью, или так решили его преемники Байдалы, Байсал и Тусип, — кто знает? Но это было для Кунанбая больше чем оскорбление. Кровная ненависть родичей, притаившаяся, но не угасающая, снова подняла голову и пыталась разить его даже через мертвеца. Не только из близких родичей, но и из самых отдаленных аулов всего многолюдного Тобыкты никто, кроме него, обойден не был.

Кунанбай был угнетен. Но вскоре он снова налился злобой, неукротимой и жгучей: мертвецу не отомстишь, но Байдалы и Байсалу придется поплатиться за этот поступок — небывалый, неслыханный в Тобыкты.

Однако сейчас открытую борьбу и набеги придется отложить. Кунанбай решил это твердо. Всем своим аулам в Баканасе и аулу Улжан он дал новое распоряжение: «Смотрите за хозяйством и живите спокойно!» И он уехал с Жумабаем в аул Кунке, который уже прибыл на Байкошкар.

Аулы, жившие в ожидании вооруженных схваток, теперь успокоились, и мирная жизнь пошла своим чередом. В дни, овеянные дыханием смерти, никто не может сесть на коня, чтобы лететь в набег.

Не получив приглашении на похороны Божея, Зере и Улжан глубоко опечалились. Но приходилось терпеть. Подавленные стыдом и горем, они не сдерживали слез. В течение целой недели они пекли поминальные лепешки и, разостлав скатерти, сидели в юрте, слушали молитвы, которые хотели бы совершить на могиле Божея и которые им читали Абай **и**  Габитхан.

Жигитеки, бокенши и котибаки готовились к торжественным похоронам. Все их многочисленные аулы в эти дни привлекали к себе толпы людей. Мужчины и женщины, старики **и**  молодежь съезжались, чтобы оплакать Божея. Повсюду раздавались громкие причитания, чуть слышные всхлипывания и тяжкие стоны. Родичи, друзья в сверстники Божея приезжали со своими слугами, юртами и убойным скотом. Давно уже не было таких похорон.

Смерть Божея прервала перекочевку этих аулов на отдаленные жайляу, где они должны были провести лето. Теперь они решили держаться здесь до сорокового дня после смерти, принять всех, кто пожелает почтить память умершего, и совершить поминальные обряды седьмого и сорокового дней.

Божей болел недолго. Он свалился сразу и уже не мог подняться. С первых же дней стало ясно, что он неотвратимо приближается к могиле. Уже на третий день смерть наложила отпечаток на его лицо. Он метался в постели, не находя покоя.

Байсалу не раз приходилось видеть умирающих. Он прикладывал руку к груди Божея, слыша биение его сердца, и предчувствовал тяжелый конец. Байдалы, Тусип и Суюндик сидели тут же, — может быть, Божею захочется сказать им последнее слово. Однажды под вечер Байсал начал негромко говорить о больном:

— Болезнь его — простуда… А простуда валит человека с ног крепким ударом. Вот если бы он вспотел хоть раз, все бы прошло…

Божей вдруг нахмурил брови, стиснул зубы и собрал последние силы. Его бескровное, пожелтевшее лицо покрылось свинцовой тенью гнева. Он заговорил, отрывисто бросая слова, то громкие, то еле слышные, перемежающиеся тяжким дыханием:

— Внезапный удар… Откуда удар? Снаружи… или изнутри, где сердце мое точил червь? Теперь — все равно… Просторнее будет Кунанбаю… Видно, я откочую из этого мира… Перестану стоять на его пути… Уйду… Но вы?.. Какие дни ждут вас?..

Из всех четырех друзей, сидевших вокруг него, только старый Суюндик не выдержал и заплакал. Остальные не проронили ни звука. Потемневшие, сгорбившиеся, они хранили глухое молчание.

Это было последнее прощание Божея. Больше он не сказал ни одного слова. Через несколько часов он умер.

Дыхание Божея прервалось вечером, а до поздней ночи все четверо стариков вместе с женщинами и детьми заливались слезами и не могли прийти в себя. Байсал с рыданиями встречал валивших в юрту людей. Внезапно он зашатался и упал, потеряв сознание. Байдалы вместе с Тулипом и Суюндиком вывели его из толпы, наполнившей юрту. Сев с ним в сторону, Байдалы заговорил:

— Если бы слезы могли воскресить его, — разве мало мы их пролили?.. Посмотрите. — И он указал на аул, где девушки, женщины и мужчины громко причитали и стонали. У него вырвался вздох, похожий на тяжелый стон, но он продолжал властно и твердо — Опомнись, Байсал! Будьте крепки духом и вы! Обсудим, как готовить похороны…

Они созвали на совет еще несколько стариков. И прежде всего Байдалы исключил из числа приглашенных аулы Кунанбая.

В полночь около сорока верховых были уже наготове. Вестники печали на лучших, выхоленных конях понеслись во все стороны по аулам обширного Тобыкты, на соседние земли Керей, Мамай и даже в отдаленные племена, расположенные близ Каркаралинска.

Байдалы с остальными стариками всю ночь не смыкал глаз. К восходу солнца возле юрты Божея была поставлена самая боль-

шая юрта в округе — восьмистворчатая юрта Суюндика. Вещей в нее не вносили, только весь пол застлали коврами. С правой стороны установили большую кровать с костяными украшениями, покрытую черным ковром. На этой постели тело Божея должно было оставаться до окончания прощального торжества.

Когда умершего вынесли из его юрты, дочери и остальные женщины зарыдали еще громче. Божея уложили на кровать, и тогда Байдалы принес и своей рукой укрепил с правой стороны юрты траурное полотнище. Это было самым большим знаком почитания покойного, знаком печали: траурный стяг, укрепленный на острие пики. Если бы Божей происходил из ханского рода, то вывешено было бы знамя тюре — белое, голубое или полосатое. Если же умерший простого происхождения, то цвет знамени зависит от его возраста. Байдалы советовался об этом с Суюндиком, который славился как знаток старых обычаев. Суюндик ответил, что у тела молодого умершего вывешивается красное знамя, у старика — белое, а у человека среднего возраста, каким был Божей, знамя должно состоять из двух полос — черной и белой.

Этот стяг, водруженный Байдалы с правой стороны траурной юрты на другой же день после смерти Божея, свидетельствовал о том, что память покойного будет почтена особо торжественно. Это означало прежде всего, что почитание его памяти не прекратится в течение целого года, после чего будет устроен ас — поминальный пир.

По другому старому обычаю была свершена общая молитва, и к двери траурной юрты с противоположных сторон подвели двух коней и привязали к косяку. Один был огромный, жирный, темно серой масти. На рыжем коне Божей ездил зимой, темно-серого холил с начала этого лета.

Увидев коней, напоминавших о живом, чтимом всеми Божее, толпа не выдержала: поднялся новый горький плач. Некоторые рыдали, опираясь на свои посохи, другие падали на колени и склонялись к земле.

— О несравненный мой! Лев мой! Родной мой! — гудела толпа. Байдалы пришел в себя раньше других. Он приблизился к темно-рыжему коню, привязанному у правого косяка.

— О бесценный жануар![86] — обратился он к коню. — Умер твой хозяин, осиротел ты, несчастный!

И, подойдя к нему, он срезал его челку, потом захватил хвост и, хрустя ножом по конскому волосу, отрезал его вровень с коленами. Так же он подстриг и темно-серого коня. Потом оба меченых коня были отпущены в табуны на отгул. За год отдыха они разжиреют, и тогда их забьют на поминках хозяина.

Байдалы посмотрел вслед коням.

— У темно-серого — грива и хвост черные. Пусть он и будет траурным конем. Во время кочевок он будет ходить под седлом хозяина, покрытым черным, — решил он.

Здесь же, у траурного стяга, старейшины решили, какое количество скота и имущества следует выделить на похороны.

У богатых смерть расточает клад, а у бедных — оголяет зад. Божей не богач, но и не беден. Как он может быть бедным, когда за ним стоят такие родичи, такие друзья? Тот, кто делил с ним все при жизни, разве покинет его теперь? Как они могут забыть его, когда его могила еще не успела зарасти травой?

Никто не сказал этого вслух, но все подумали так.

И родичи приняли на себя все хлопоты о похоронах. Мало того — било решено, что семья Божея сама не израсходует ни одного козленка. В течение целого года всякий усталый, бесприютный путник, проголодавшийся в дороге, близкий и дальний, даже совсем чужой, будет находить приют и покой в доме Божея. Их благодарность и молитвы дадут Божею полное блаженство на том свете.

В то же утро на совете было решено убрать траурную юрту самыми ценными вещами и украшениями. От Суюндика, Байсала и Байдалы были принесены богатые ковры и шубы, узорчатые кошмы, драгоценное убранство.

В траурной юрте сидела убитая горем байбише Божея. Вокруг ее бледного смуглого лица был повязан белый платок. Распущенные черные волосы падали на плечи. На ее бескровном, усталом лице ясно выступали голубоватые жилки. Кровь на расцарапанных в порыве горя щеках еще не подсохла.

Обе дочери Божея сняли девичьи шапочки и накинули на головы черные шали. Сразу же после смерти отца они сложили тоскливый плач и с самого утра встречали этим скорбным напевом всех, приходящих почтить умершего.

Отовсюду съезжались все новые к новые люди. Они толпами двигались с обширных равнин, далеких жайляу, из горных ущелий, змеящихся по ту сторону Чингиза. Земля содрогалась от конского топота. Несколько дней над аулом стоял заунывный плач по умершему.

Тело Божея решено было не оставлять на жайляу, его отвезли на зимовье через перевалы Чингиза и похоронили в Токпамбете около его зимовья.

В похоронах Божея, чтимого всем народом, не участвовал один лишь Кунанбай.

ПО ПРЕДГОРЬЯМ

1

До полудня еще далеко, а душная, тяжелая жара уже невыносима. На небе не сыщешь тучки хотя бы величиной с монетку. Давно не было дождя, все лето жгучий томительный зной сушит землю. Но река Баканас многоводна, берега ее богаты травами, кустарниками, дикой акацией, ковыльными и полынными кормами, и потому аулы стремятся сюда на жайляу. Не будь такой жары — лучшего пастбища не найти.

Абай, обливаясь потом, вышел из юрты.

Люди, изнемогая от зноя, едва волочили ноги по солнцепеку. Огромный желто-пегий пес лежал у Большой юрты. Он широко разинул пасть, высунул язык и быстро, часто дышал.

Табуны оставили пастбища, забрались на голую вершину отдаленного холма и сбились в кучу, спасаясь от назойливых, свирепых оводов. Овцы, вернувшиеся с выгона, повалились в мокрую грязь берега. Коровы влезли в самую воду и дремали там, высунув только головы. Несколько бычков и телок, оставшихся на берегу, метались во все стороны, спасаясь от оводов. Задрав хвосты, раздув ноздри и выпучив глаза, они, точно перед убоем, носились как очумелые.

Тундуки юрт закрыты, весь нижний войлок поднят.

Абай не знал, куда деваться от зноя. Он долго стоял возле юрты, как в полусне, потом лениво зевнул и побрел к реке. Капли пота текли с его носа, голова трещала от духоты, он готов был проклинать Баканас с его жарой.

В реке купались мальчишки. Оспан и Смагул больше всех брызгались и орали. Абай отошел в сторонку от них и бросился в воду. Два раза подряд он переплыл широкий, полноводный Баканас туда и обратно и, сразу повеселев, принялся нырять. Оспан по берегу подбежал ближе, следя за Абаем с завистливым восхищением.

— Нырни еще раз! Еще! Вот так! — кричал мальчик, шлепая себя по бедрам. Вдруг он с разбегу вскочил на спину Смагула. Тот начал метаться, стараясь сбросить братишку.

— Меня стригун[87] не смог сбросить, — вертись, сколько хочешь, не скинешь! — торжествовал Оспан. Он обхватил Смагула за шею и пришпоривал его ногами, как коня.

Смагулу пришлось смириться. Покорно таща Оспана, он подбежал к Абаю к шлепнулся в воду вместе с седоком.

Озорство Оспана уже давно надоело Абаю. Года два назад он сам любил повозиться с братом, но теперь неугомонный мальчишка докучал ему, и Абай всячески его избегал. А если шалун не отставал, Абай строго прикрикивал и отгонял его. И сейчас он вышел из воды, неторопливо оделся и собрался идти домой.

На берегу у самой реки он заметил Такежана. Верхом на коне, нарядно одетый, тот выглядел настоящим жигитом. На руке у него сидел сокол. Его черногривый буланый конь-четырехлетка весь взмылился, грыз удила, рвался и не мог успокоиться.

В тороках у Такежана висели пестрая варнавка и две утки. Увидев уток, дети бросились к Такежану, крича наперебой:

— Э, агатай,[88] мне!

— Мне… Отдай мне!

Обычно после охоты Такежан дарил свою добычу детям, но он любил, чтобы ребятишки упрашивали, умоляли, всячески унижались перед ним. Зная это, дети не отставали от его коня.

Такежан взглянул на Абая и самодовольно улыбнулся. Он всегда старался подчеркнуть свое превосходство над братом. Он, Такежан, — уже взрослый жигит, может охотиться с соколом… Что перед ним Абай? Недоросток, мальчишка! А Такежан этим летом уже ездил к невесте. У него друзья среди настоящих жигитов. Он подкарауливает в кустах девушек, чтобы поднять переполох. Нет, Абаю до него далеко!..

Оспан и Смагул продолжали приставать к нему. Он ответил им грубой насмешливой бранью. Такежан вообще любил сквернословить. В присутствии отца он молчал, как нашкодивший кот, но едва скрывался с его глаз, как начинал ругать детей, пастухов, батраков, — это уже твердо вошло у него в привычку. После долгих упрашиваний Такежан наконец отвязал уток и отдал их ребятам со словами:

— Чем с утра воду мутить, собирали бы лучше ягоды, чумазые! — и снова отвратительно выругался.

— Ягоды? А где ягоды? — пристал к нему Смагул.

Летом все дети бредят ягодами, но по берегам Баканаса их нет. Абай тоже оживился и начал расспрашивать. Оказалось, Такежан нынче на охоте слышал, что на соседней речке, за холмом, полным-полно ягод.

Дети зашумели и заторопились.

— Так поедем сейчас же!

— Ловите скорей коней!

Такежан и сам был не прочь полакомиться. Через час оба брата, собрав детей, поскакали за ягодами. Дети, вскарабкавшись на лошадей по одному и по двое, целой стаей помчались за ними.

Оспан отстал от них. Не слушая табунщиков, советовавших ему сесть на смирную лошадь, он выбрал серого стригуна, которого только сегодня начали выезжать.

Конь этот давно занимал мальчика. Высокий и стройный, серый стригун не знал узды. Он был выкормлен дикой кобылой, которая весь прошлый год не давала доиться, и стригун сосал ее второй год. Он унаследовал всю дикость своей матери. Заметив недавно а табуне этого серого красавца, Оспан не давал покоя жигиту Масакбаю, который умел отлично выезжать самых неукротимых лошадей. Нынче утром Масакбай согласился и поймал арканом бешено отбивавшегося коня.

Стригун оказался диким и злым. Он начал проделывать невероятные прыжки, чтобы освободиться: бил задом, взвивался свечкой и два раза скинул самого Масакбая. Тот, впервые в жизни потерпев такую обиду, разозлился и решил во что бы то ни стало переупрямить стригуна. Он хватал его за уши, душил арканом, рвал губы удилами, а под конец накинул вместо седла кошму, прикрутив ее веревкой, и опять вскочил на него. Под ударами плети, сыпавшимися куда попало, стригун начал бешеную скачку. Измучив и смирив коня, Масакбай вернулся, и Оспан с восторгом любовавшийся ловкостью жигита, сам вскочил на стригуна. Тот, хоть утомленный, все еще не сдавался и, не желая подчиниться такому легкому и маленькому седоку, снова взвился и начал метаться, стараясь сбросить мальчика. Но Оспан был неумолим и, как похвалялся он потом перед Смагулом, все-таки подчинил себе коня.

Сейчас, когда все отъехали, Оспан задержался именно из-за этого стригуна: тот опять начал свои выходки — бился, извивался, кидался из стороны в сторону. Оспан держался крепко, осыпал стригуна ударами и сиял довольной улыбкой. Не сумев сбросить седока, конь неудержимо понесся вперед. Этого и ждал Оспан. Он начал изо всех сил хлестать скачущую лошадь.

— Аруах! Аруах! — кричал он во все горло, догоняя детей, уже успевших отъехать далеко вперед. Но стригун и тут не смирился. Продолжая бешеную скачку, он не слушался узды, несся боком и наконец со всего размаху налетел на Такежана.

Дети всполошились и разлетелись в разные стороны. Оспан повернул стригуна и хотел было мчаться дальше, но конь, вобрав шею, завизжал, отпрыгнул и снова начал биться, то взвиваясь, то припадая к земле, как кошка.

Абай испугался за Оспана, но, взглянув на него, был поражен его бесстрашным видом. Большие глаза мальчика сверкали. Он наслаждался борьбой со стригуном и, видимо, не испытывал ни малейшей боязни. Казалось, ему хотелось, чтобы конь подольше не сдавался. Перед Абаем был не озорной мальчишка, а опытный борец, который выдерживал тяжелую схватку. И когда конь, пытаясь освободиться, начинал беситься, метаться, взвиваться свечкой, мальчик мгновенно сковывал неожиданный прыжок животного.

Все невольно залюбовались необыкновенным единоборством. Такежан только прищелкивал языком от удивления и, поражаясь неустрашимости младшего брата, посылал вего сторону восхищенные ругательства.

— Камень, — сказал он, — этого, видно, ничем не проймешь. — И, стегнув своего буланого, он поехал дальше.

Дети тронулись за Такежаном. Стригун вылетел вперед. Оспан продолжал осыпать его ударами и кричал в самозабвенном восторге:

— Аруах! Аруах! Масакбай! Масакбай! — Он точно заклинал животное именем духа укротителя Масакбая.

Дети долго собирали ягоды на склоне горы, покрытом густою сочною зеленью, источавшей сладкий аромат земляники. День уже клонился к вечеру, тени, отбрасываемые холмами и пригорками, становились длиннее, в низинах, оврагах и ущельях повеяло прохладным ветерком. Ягод, казалось, ничуть не становилось меньше. Дети и сами наелись до отвала и набили все свои тюбетейки, шапки, торбочки и карманы.

Вдруг до их слуха донесся какой-то странный гул. как будто за холмом шумел и трещал степной пожар или двигалось большое войско. Мальчики насторожились, поглядывая на старших — Такежана и Абая.

На вершине холма появился огромный конский табун и начал спускаться по склону к широкому оврагу. Белые и серые кони, фыркая, безостановочно двигались вперед; слышалось ржание жеребят и стригунов; молодые кони, вырвавшиеся из табуна, носились кругами по траве. Лошади, на которых приехали дети, услышав приближающийся топот, тоже забеспокоились. Подняв уши и заржав, они, неловко подпрыгивая в своих путах, направились к табуну. Дети бросились к ним.

В безлюдном месте табун мог появиться только с кочующим аулом. И когда ребятишки вскочили на своих стригунов, на возвышенности, откуда только что спустился табун, в самом деле показалась кочевка.

Впереди шел караван из пятнадцати верблюдов. За ним длинной растянутой вереницей двигались остальные — из десяти, пятнадцати и восьми верблюдов. За табунами ехали всадники, вооруженные соилами и шокпарами. Изредка попадались жигиты, державшие на руке беркутов в колпачках.

Караван, который двигался за верховыми, поразил и мальчиков и самого Абая.

Он был окружен множеством женщин на конях. И юные девушки и женщины всех возрастов — все они были богато одеты и сидели на отборных кобылах и бегунах, седла, уздечки и нагрудники сверкали на солнце серебряными украшениями. Впереди стройным рядом ехало несколько девушек, ведущих в поводу оседланного темно-серого коня с подстриженными челкой и хвостом. За ними следовала исхудалая, бледная пожилая женщина в черном платке. Вьюки на всех пятнадцати верблюдах были покрыты черными коврами, темными вышитыми покрывалами и пестрыми кошмами с черным узором. От всего шествия веяло глубокой скорбью и мрачной торжественностью.

Мальчики невольно остановились, не смея пересечь путь необыкновенной кочевке. Они с удивлением и любопытством смотрели на странное торжественное шествие, пропуская его мимо себя.

Когда девушки, открывшие шествие, подъехали ближе, они о чем-то перемолвились между собою и тотчас изменили строй своего ряда — две из них выехали вперед, ведя в поводу оседланного темно-серого коня.

Оспан долго смотрел на них с удивленным любопытством и наконец подъехал к Абаю.

— Как это? Что это за кочевка? — спрашивал он, беспокойно ерзая в седле, тыча Абая плетью в бок. Вдруг он расхохотался — Ой-бай, Абай, посмотри-ка на них! Взгляни, какие шапки!

Абай сердито повернулся к нему.

— Тише, не бесись! — строго сказал он.

То, что так рассмешило Оспана, было совершенной новостью и для Абая.

И он сам и Такежан давно поняли, что это шла траурная кочевка Божея. Остриженный траурный конь шел под седлом умершего. Красная шуба хозяина покрывала коня. К передней луке седла была прикреплена плеть Божея, на которую был надет его малахай. Но внешний вид двух девушек, выехавших вперед, действительно был совсем необычным: на головах их был мужской головной убор— черные тонкие шапки из мерлушки, крытые черным же бархатом. Но мало того, что, обе надели головные уборы, не принятые у девушек, — они надели их задом наперед, прикрыв назатыльниками лица.

Заметив, что встречные остановились, пропуская кочевку, эти две девушки затянули поминальный плач. Остальные пять, следовавшие за ними, выровняли ряд и присоединились к их пению. По старому обычаю, девушки траурной кочевки, проезжая мимо аулов и незнакомых путников, должны заводить плач.

Но какое было дело Оспану до каких-то старых обычаев? На его памяти дома никто не умирал, и было бы бесполезно объяснять ему все значение такого шествия — он все равно ничего не понял бы. Все, что он сейчас увидал, ему казалось просто нелепым, и он невольно расхохотался. Но теперь, боясь Абая, он не смел поднять головы. Плечи его тряслись от беззвучного смеха.

Абай взглянул на девушек — и, сам того не замечая, поднял левую руку, продетую в петлю плети, и так и замер на месте, точно готовый крикнуть: «Остановись хоть на миг!» Но ни один звук не сорвался с его губ. Задыхающийся, бледный, он бессильно уронил руку на гриву коня.

Средняя из пяти девушек, проезжавших мимо него, была Тогжан. Она сидела на белом иноходце с шелковистой гривой. Абай видел ее впервые после встречи весной.

Легкий чапан из черного атласа мягко колыхался при каждом ее движении. Голову покрывала новая камчатная шапка, вокруг шеи причудливыми складками переливалась тонкая шаль. В ушах лениво покачивались большие золотые серьги. На коне среди этих девушек — она казалась утренней звездой, сверкающей на тусклом небосклоне. Окруженная сверстницами, она ехала медленно. Сияющий открытый лоб, мягкая линия белоснежной шеи, волосы, черными волнами падающие на спину, — все сливалось в один чудесный облик. Руки ее лежали на желтом шелковом поясе, повязанном поверх черного чапана. Глядя прямо перед собой, она громко пела скробную песню смерти, и лицо ее было полно такой чистой, такой трогательной красоты.

Абай смотрел на нее немигающим взглядом. Казалось, само дыхание остановилось в его груди. Печальная песня проникала в его сердце. Он слышал только высокий, где-то в небе звенящий голос. Она ли это пела, или другая девушка?.. Но разве такой голос мог принадлежать кому-нибудь, кроме нее?..

Все на миг исчезло перед его глазами. Казалось, сумрачное небо, висевшее над ним все это время, вдруг разорвав тучи, открыло за ними сверкающую луну, поражающую спокойной красотой. И этот миг чуть не свел с ума Абая. Он склонил голову перед этим сиянием, невиданным никогда и познанным впервые.

Но это был только миг. Тотчас же новое, острое до боли чувство, рожденное представшим перед ним зрелищем, вихрем закружило его напряженную мысль.

Плач Тогжан, плач дочерей Божея, траурное шествие, темные одежды, осиротевший подстриженный конь — ведь это печаль всего рода… И эти люди не позвали Кунанбая на похороны, не простили его, не позволили ему принять участие в их горе, разделить общую скорбь. Шествие, в котором сверкала бесценная жемчужина — его Тогжан, холодно прошло мимо него, Абая, точно говоря: «Отойди и ты вместе с твоим жестоким отцом… Тебе не дозволено нас видеть!..»

Ему казалось, что в скорбной песне его любимой, в плаче народа о близком по крови Божее, унесенном смертью, — во всем звучал укор и ему, Абаю. «Разве я виноват?»— пытался он оправдаться, но новая волна печали сдавила его грудь. И он молчал под тяжестью этой мысли и ничего не видел и не слышал вокруг, кроме заунывного напева смерти.

Кто-то неожиданно толкнул его сзади. Чей-то голос сказал: «Едем!» Абай быстро обернулся. Его точно разбудили. Это был Такежан. Заметив волнение Абая, он поморщился и зло усмехнулся.

— Что это ты раскис? — насмешливо спросил он.

Абай вздрогнул, нахмурился и провел рукою по лицу. Он вовсе не собирался плакать и сам не подозревал, что крупные слезы давно катились по его щекам.

Траурный караван уже успел пройти. Между ним и остальной кочевкой, следовавшей несколько позади, образовался широкий промежуток. Дети тронули коней вслед за Такежаном. Оспан сорвал с одного из мальчиков малахай, надел его задом наперед и с хохотом ударил своего коня.

Но, увлеченный своею шалостью, он совсем забыл, что под ним упрямый стригун, и ударил его, даже не прижав ног к его бокам. Дикий конь опять начал кидаться. Не успел Оспан подобрать поводья, как тот неожиданным прыжком сбросил его. Однако мальчик не растерялся, — отлетев в сторону, он не выпустил поводьев и, быстро поднявшись, резко дернул их. Раскрасневшийся и хохочущий, он, как ни в чем не бывало, снова вскочил на стригуна и, не давая ему опомниться, стал осыпать его ударами плети. Стригун помчался вперед, сопровождаемый детьми.

Такежан и Абай ехали не торопясь и отстали. Такежан не переставал разыгрывать взрослого.

— Ты что — мальчик или баба? С чего это ты разревелся? Абай рассердился:

— А вот ты вырос, а ума, видно, не нажил! Разве он нам чужой? Ты сам должен бы оплакивать его!

— Нам плакать?.. Они даже не позвали нас на похороны!

— Тебя не пригласили живые, при чем тут мертвый?

— При всем! Он сам был в ссоре с нашим отцом.

— А кто виноват в этой ссоре? Ты, видно, во всем разобрался, все понял — скажи: кто прав, кто виноват?

— Понял или не понял, я на стороне своего отца! Кто друг отцу — друг и мне. Кто ему враг — тот враг и мне.

— Неужели ты думаешь, что волчонок от великого ума бежит да волком?

— Не болтай вздора! Для тебя, понятно, нет никого умней бабушки, хоть она и выжила из ума от старости!

— А ты стоишь за отца. Много ты от него ума набрался?

— Что? Так, по-твоему, я дурак? — Такежан выругался.

— Вот-вот! Ты, видно, только для того и вырос, чтобы сквернословить! Хорош взрослый — только и слышно, как ругаешь пастухов, доярок, батраков!

— Ишь какой храбрый!.. Вот подожди, я все расскажу отцу.

— Говори сколько хочешь! Я тоже расскажу бабушке, как ты назвал ее выжившей из ума.

Такежан замолчал. Серьезных схваток он не выдерживал — недоставало решительности. Отец был далеко — ему не пожалуешься. И кто знает, чью сторону он примет. Бабушка сердится редко, но уж когда рассердится, то бывает очень крута. Как-то весной Такежан обругал женщину из своего аула — и нажил себе большую неприятность. Когда та, получив незаслуженное оскорбление, со слезами пришла к Зере и Улжан, бабушка вскипела от негодования, — она вызвала Такежана к себе и крепко отколотила его. Это произошло, когда Такежан, как настоящий взрослый жигит, собирался ехать к своей невесте.

Сейчас, споря с Абаем, он вспомнил это и постарался прекратить ссору.

— Да брось ты, право! — сказал он и, снова выругавшись, хлестнул коня и поскакал вперед.

Абай был рад, что избавился от него, и, продолжая ехать шагом, снова задумался.

«Не от великого ума волчонок бежит за волком». Слова вырвались у него в споре, и лишь теперь он сам понял их смысл, всякий сумеет следовать по проторенной дорожке, проложенной отцами! Если ты в силах, ищи своих путей…

Погруженный в размышления, Абай не заметил, как доехал до Баканаса.

Как только Зере и Улжан узнали от Абая, что аул Божея прибыл на свое жайляу, они спешно отправили нарочного к Кунанбаю. «Траурный аул совсем рядом с нами. Если мы сейчас не съездим туда, — как будем потом смотреть в глаза людям? Пусть быстрее решает, что нам делать». — передавали они.

Кунанбай решился. В ту же ночь он с Кунке, десятью старейшинами и жигитами приехал в Баканас. Все двадцать аулов, расположившиеся там, запасали кумыс, отбирали и кололи скот, предназначенный для поминок.

К полудню двинулась в путь толпа верховых — около пятидесяти мужчин, до сорока женщин и небольшая кучка подростков — Абай, Такежан, Оспан и другие. Только Зере и Улжан сели в повозку. С ними ехала еще одна пожилая женщина, которую все называли Сары-апа. По распоряжению Кунанбая, повозка эта отправилась в путь раньше верховых.

Кунанбая сопровождали братья — Майбасар и Жакип, ближайшие родные, а также старейшины других родов, державших его сторону, — Жуантаяка, Карабатыра, Топая и Торгая. Кунке, Айгыз, младшая мать Таншолпан и другие ехали немного отстав. Свита Кунанбая двигалась отдельными отрядами позади ага-султана.

Приблизившись к траурному аулу, вся толпа с криком и воем, далеко разносившимися но равнине, понеслась по склону вперед.

Старый обычай требовал, чтобы приезжающие для поминок летели к аулу умершего вскачь с печальным кличем «Ой, родной мой!». Начинать должны были старшие. Задние ряды ждали знака от передового отряда. И когда Кунанбай со своей свитой поскакал вперед с криком и плачем, все ехавшие позади уже ринулись за ними, присоединив свой плач.

Абай был в среднем отряде. Рядом с ним скакали его старший брат от Кунке — Кудайберды, посыльный Жумагул, старый Жумабай, за ними — Такежан, Оспан и другие.

— Ойбай, родной мой!.. Брат мой!.. Утес мой недосягаемый!.. Опора моя! — кричали люди, мчавшиеся рядом с Абаем.

Жумагул и Такежан раскачивались в седлах — вот-вот упадут! Посмотреть на них, — они совсем изнемогали от горя, но их показная печаль не обманывала Абая.

Сам он скакал тоже с горестным кличем, но не старался преувеличенно выказать свое горе. Крик его искренне вырывался из его груди. Рядом с ним мчался Кудайберды, тоже не лицемеривший в поминальном кличе. Абаю всегда был по душе этот брат, хотя им и не приходилось часто встречаться. Абай решил все время поминок держаться вместе с ним.

Повозка Зере уже доехала до Большой юрты Божея, купол которой возвышался в самом центре аулов, окруживших его кольцом. Белая траурная юрта стояла отдельно; около нее развевалось бело-черное полотнище, прикрепленное к шесту.

Поднявшись на бугор перед аулом, скачущие сразу заметили траурный стяг и понеслись к нему стремительно и бурно, точно весенняя река. Люди мчались с криком и громким плачем. Абай, скакавший в средних рядах, различил около тридцати мужчин, стоявших за белой юртой; они согнулись и плакали, опираясь обеими руками на белые посохи. Это были родичи Божея, приготовившиеся к встрече гостей.

Всадники доскакали и спешились. Во главе ожидающих стояли Байдалы, Байсал, Тусип и Караша, за ними — остальные родственники; они тоже опирались на белые посохи и плакали навзрыд.

Целая толпа ловких, быстрых жигитов выбежала навстречу приехавшим; они помогали верховым спешиться, привязывали коней и под руки отводили гостей к старшинам аула. Вместо приветствий приехавшие обнимали хозяев и плакали с ними. Увидев, как рыдают Байдалы, Байсал и другие старейшины. Абай не выдержал. Сходя с коня, он разразился искренними слезамн.

Приезжих, рыдавших и причитавших, так под руки и уводили в Большую юрту. Там раздавались неумолкаемые вопли.

Большая юрта была полна женщин. Они сидели рядами от двери до переднего места и вели похоронный плач, раскачиваясь и упираясь руками в бедра. В самом центре причитала в голос байбише Божея. На ее голову была наброшена черная шаль. Из глаз градом катились слезы неподдельного безутешного горя. Несколько дальше сидели пять девушек и тоже громко причитали. Купол Большой юрты, казалось, не мог вместить стонов и заунывного воя.

Мужчины, входя в юрту, становились на колени перед сидящими женщинами, обнимали их и плакали вместе с ними.

Абай шел за Кудайберды и поочередно обнимал всех, к кому подходил тот. Обойти с плачем и печальными приветствиями всех женщин, наполнявших юрту, было просто невозможно. И Кудайберды со слезами направился прямо к байбише Божея и с громкими рыданиями обнял ее.

— Ага-экем, родной мой! — причитал он.

Абай тоже начал с нее, потом он направился к девушкам, сидевшим несколько дальше.

Наконец долгий общий плач закончился. Только байбише Божея продолжала причитать и пять девушек сопровождали ее слова громкими рыданиями. Байбише оплакивала невыносимую утрату и жаловалась на судьбу, которая так жестоко наказала ее. Все сидевшие в юрте были глубоко растроганы. Постепенно стихла и она.

Но обе дочери Божея не кончали своего причитания. Теперь их плач звучал, как скорбная песня, и голоса их сливались, как будто пел один человек. Они произносили отчетливо каждое слово, временами прерывая свою песню тяжелым вздохом, или стоном, — и снова продолжали причитать.

— О отец!.. Дорасти нам не дал — покинул нас… Не достигнув цели, ушел от нас… Сиротами несчастными покинул нас… На кого ты бросил нас? Зачем на горький плач осудил нас? — говорили они, и присутствующие начинали тихо всхлипывать за ними.

Эти минуты показались Абаю самыми тяжелыми из всего обряда.

Плач девушек постепенно превращался в песню о жизни отца, о его храбрости, благородстве, о прекрасных делах рук его. Голоса их становились все трогательнее и жалобнее.

Они пели не об одном Божее, они упоминали и всех окружавших его, перечисляли имена всех живших с ним в одно время. И вдруг они назвали имя Кунанбая.

В юрте все затихли.

Кунанбай сидел молча, нахлобучив шапку на брови. Услышав свое имя, он угрюмо опустил голову. Песня девушек ударила его, как пощечина.

Но это был обычай. Это был плач, которого никто не имел права прерывать, ибо он священен, как намаз. Остановить его невозможно, запретов на него нет. Он всесилен. А слова песни становились все резче:

Кунанбай, ты врагом нам стал,

За обиду — дитя нам дал…

Кунанбаем зовется враг,

Как кулана,[89] дик его шаг,

Как змея, он пестр и лукав…

Этот звенящий плач жестоко карал Кунанбая, — казалось, он разил его прямо в единственный глаз.

Старики, сопровождавшие Кунанбая, заерзали на месте, испугавшись возможной вспышки. Они закашляли, засморкались к беспокойно зашевелились. Кунанбай только стиснул зубы и продолжал сидеть молча.

Абай опустил голову, еле живой от стыда. Еще раньше, в самом начале плача байбише Божея, он заметил, что среди девушек находилась и Тогжан. Но лицо ее было прикрыто шалью, и она сидела боком к нему. «Если бы земля разверзлась и поглотила нас, и то было бы легче, чем терпеть такой позор!» — подумал Абай.

Кто-то из сидевших рядом с ним вдруг громко чмокнул языком от удивления. Абай поднял голову: это была Сары-апа. Она с недовольным видом вышла на середину юрты, села на корточки, накрыла голову черным чапаном и затянула громкую песню.

Она начала с восхваления Божея и долго оплакивала его смерть. А в конце добавила:

Эй вы, девушки, где ваш стыд?

Мир не добрых, а злых плодит!

Иль Божей не был чтим кругом,

Чтоб его хоронить тайком?

Пропев эти слова громко, на всю юрту, она сразу смолкла.

Все, что накопилось в сердце обеих враждовавших сторон, было высказано устами этих женщин в двух сменивших друг друга плачах. Никто не прибавил ни слова. Габитхан, сидевший возле Зере, начал чтение корана нараспев, по-бухарски. Сидящие замерли в молчании.

Так совершил Кунанбай поминки Божея.

После чтения женщин оставили одних, а мужчин повели в другую юрту для угощения. За гостями ухаживали все, начиная со знатных старейшин аула — Байдалы и Тусипа. Но ни чай, ни кумыс, ни мясное угощение не содействовали простоте и искренности разговоров между близкими Божея и гостями. Когда Байдалы и Кунанбай перекидывались редкими замечаниями, их речь звучала слишком учтиво и холодно. Байдалы сам подавал Кунанбаю чай и вообще оказывал ему особый почет. Но едва они пытались завязать разговор — получалось опять то же: холодность, прикрытая учтивостью. Говорить было не о чем.

Они лишь обменялись несколькими словами о том, как поправляется скот и хороши ли в этом году корма. Потом заговорили о набегах соседних племен Керей и Найман, предпринятых ими летом друг против друга, и взаимных грабежах. Это был их единственный разговор до самого отъезда Кунанбая. Все прибывшие разъехались в тот же вечер по своим жайляу — молчаливые, тихие, угрюмые.

С плеч Кунанбая свалилось бремя.

Возвращаясь в аул Кунке, он долго молчал и наконец обратился к своей байбише.

— Сары-апа надо уважать и почитать! — внушительно сказал он.

2

Наступила осень. Уже третий день не переставая моросил дождь. Аулы вернулись с жайляу, перевалив через Чингиз, закончили сенокос и, не задерживаясь на зимовьях, быстро переправлялись на осенние пастбища.

На лугах Жидебая и соседних урочищах собралось сейчас много аулов. Они наводнили и бесконечные долины Чингиза, и склоны, и горные отроги, и ущелья.

Большие летние юрты были уже сложены и убраны. Аулы ютились в небольших, но более теплых юртах. Каждый старался утеплить свой кров. В юртах разводили костры, а стены завешивали большими кошмами. В осеннее время удобнее всего маленькие, не боящиеся копоти юрты из одного цельного войлока. Каждый, как мог, старался устроить свое жилище уютнее.

Овец уже не доили — верный признак того, что жайляу покинуты и аулы перекочевали на осенние пастбища. Ягнята выросли и паслись с овцами.

Мужчины, большую часть времени разъезжавшие по аулам ради всевозможных пересудов и препирательств, теперь выглядели иначе, холодные ночи и слякоть заставили их обуться в сапоги с войлочными чулками, надеть толстые зипуны или шубы из мерлушки. Они переменили и коней, — лошади, на которых ездили летом, к осени уже отощали, и их пустили в табуны, под верх пошли отгульные кони. Ездили на них шагом, не торопясь, стараясь не загонять разжиревших скакунов, и часто оставляли их на выстойку, иногда на всю ночь.

В эту пору начинается общая горячка: коней покупают, обменивают, берут во временное пользование. Если предполагают, что осень будет неспокойной и полной хлопот или же предвидятся большие передвижения и частая езда, то спрос на крепких, надежных коней еще увеличивается: лошадей выпрашивают, выклянчивают, вымогают, всячески надоедая владельцам.

Вот и сейчас, к вечеру, Майбасар и Кудайберды, съежившись под дождем, ехали в аул Кулиншака, старейшины рода Торгай, именно по такому делу. Их сопровождали Жумабай и Жумагул. Они ехали быстро, чтобы пораньше добраться до места.

В ауле Кулиншака, казалось, ждали кого-нибудь от Кунанбая. Как только четверо верховых показались на поляне возле аула, Кулиншак, сидевший на холмике со своими «бес-каска», тотчас встал.

— Вон, едут! — сказал он.

— Быстро скачут! — присоединился Турсынбай, старший его сын, приглядываясь к приближающимся всадникам.

— Ну, началось! Манас, скачи к Пушарбаю! Надо его известить. До всех сами добраться не успеем — пусть Пушарбай передаст дальше остальным котибакам! — распорядился Кулиншак.

— А те пусть передадут и жигитекам и бокенши, — добавил Турсынбай.

— И скажи: если они вправду хотят помочь мне в откочевке, пусть сразу же съезжаются сюда!

— Пусть приезжают сегодня же ночью, если их обещание не пустые слова! — напутствовали брата сыновья Кулиншака.

Манас только выслушивал распоряжения старших, а сам не проронил ни слова, — его отправляли с поручением. Он должен был мчаться тотчас же, но приостановился в ожидании всадников.

Когда Майбасар со своими спутниками подъехал к юрте Кулиншака, тот уже спустился с холма. Они сухо поздоровались и сразу же зашли в Большую юрту.

Манас вскочил на коня и поскакал на Караул. Увидев самого Майбасара, он сразу понял, что медлить нельзя.

Майбасар вошел в юрту со злым лицом. Он не снял пояса и малахая, подбоченился и, не выпуская из рук сложенной плети, нахмуренный, бледный, с раздувающимися ноздрями, скосил глаза на Кулиншака и его сыновей. В мрачном его взгляде горели ненависть и презрение.

— Что же это, родичи мои? За что вы избили моего посыльного? Если он был не прав, разве не могли вы пожаловаться мирзе! Или вам захотелось показать свою силу? Не вы ли вчера стояли с нами в одном ряду?.. Говорите, чего вам не хватает! Прямо говорите! Мирза нарочно прислал меня, чтобы вы сами изложили мне свои жалобы! Он и сына своего, Кудайберды, послал со мною!

Майбасар сплюнул в лениво дымившийся очаг и повернулся к Кулиншаку.

Сыновья Кулиншака угрюмо молчали, опустив головы, как будто не слыхали ни единого слова.

Сам Кулиншак сидел на своей постели, разостланной на полу. Один только Кадырбай, примостившийся возле отца, смело, не сводя глаз, смотрел на Майбасара.

Кулиншак несколько минут просидел с закрытыми глазами.

— Ты говоришь, избили твоего посыльного, — начал он. — Почему же ты, почтенный Майбасар, молчишь о своем поступке? Если мирза так внимателен, почему он не обращает своего взора на того, кто хотел грабить? Почему он не взыскивает с тебя?

— Не тяни вкось, аксакал! Я приехал разобраться, кто тут виноват, и положить конец подобным выходкам.

— Значит, ты предлагаешь мне не перебегать тебе дорогу? Ну, а если я решил порвать с тобой и откочевать к тем, кому я нужен?

— На это не будет ни согласия, ни разрешения. Мирза просил тебя не откочевывать, — он обещал сам разобраться во всем.

— Да пошлет ему бог здоровья! Но пусть не обижается и не пеняет на меня: я все-таки откочую.

— Почему? Что случилось, аксакал? — вмешался в разговор Кудайберды. — Отец говорил вот что: «Если он откочует, то восстановит против меня весь род Торгай. Разберемся вместе, кто в чем виноват. Пусть он сам укажет место, где вести переговоры, пусть скажет, что ему нужно, и возьмет возмещение. Но пусть отменит откочевку и не уходит к моим врагам!» Отец просит об этом.

Майбасар не дал Кулиншаку ответить.

— Скажи, в чем ты обвиняешь меня? Ведь ты же сам избил моего посыльного! — наседал он на него.

— У моих сыновей— вот они сидят перед твоими глазани! — единственный хороший скакун. Ты попросил его — я объяснил, что отдать его не могу. Неужели это так трудно было понять? А ты прислал своего посыльного, эту собаку, которая злей волка, чтобы ом увел коня… Ты просто устроил набег. Разве это справедливо, Майбасар?

— Коня просил не я. Просил мирза. Конь понравился Кудайберды. Я и подумал: «Кудайберды первый раз протягивает руку к гриве лошади, надо ему помочь. Кулиншак не обидится на маленькое озорство», — и послал посыльного.

— Озорство! Хорошо озорство! — вскрикнул старший из «бес-каска», Турсынбай.

— Кого ты обманываешь? Это — не озорство, а насилие! Так поступают только с чужаками, с рабами, с беззащитными! — подхватил Кадырбай, третий сын Кулиншака.

Договориться оказалось невозможным. Спор оборвался и некоторое время все хмуро молчали. Потом Майбасар снова начал упрекать Кулиншака за задуманную тем откочевку к жигитекам.

Салем Кунанбая, посланный с Майбасаром и Кудайберды, в основном касался откочевки. Разговор о скакуне и о связанном с ним избиении посыльного Майбасар затеял уже сам. Он думал этим поприжать Кулиншака, но тот и не собирался признавать себя виновным.

Несколько дней назад, обозленный приказом Майбасара взять коня, Кулиншак избил его посыльного и твердо решил порвать с Кунанбаем. Он послал к жигитекам верхового с просьбой принять его к себе в род и помочь откочевать к ним. Сегодня утром слух об этом дошел до Кунанбая. Отпустить из-под своей руки такой близкий род, как Торгай, казалось ему и большим позором и убытком.

После смерти Божея а течение целого лета противники ни разу не сталкивались открыто, но всеми силами вербовали себе сообщников. Вражда нарастала глухо, скрыто, но неудержимо. Ненависть и озлобление, овладевшие обеими сторонами, достигли предела и в любую минуту могли разразиться нежданной грозой.

Схватка в Токпамбете, окончившаяся неслыханным избиением Божея, была последним крупным столкновением. Но с тех пор жигитеки, котибаки и бокенши не переставали лихорадочно готовиться к борьбе и намеревались крепко отплатить Кунанбаю. Со смертью Божея борьба внешне как будто прекратилась, но это спокойствие было только видимым; кровоточащая рана по существу углубилась. Божей своей смертью сплотил ряды противников Кунанбая, укрепил их решимость. Самыми непримиримыми были ближайшие друзья Божея — Байдалы, Байсал, Каратай, Тусип и Суюндик.

Кунанбай нацелился на скакуна в самую напряженную минуту.

Будь другое время, Кулиншак легко уступил бы Кунанбаю, он просто не осмелился бы не отдать коня. Но теперь он располагал союзниками, — Байсал и Пушарбай уже неоднократно предлагали роду Торгай покровительство котибаков. И Кулнншак, решившись на все, скакуна не отдал.

Майбасар не понял всей сложности положения: «Не дает? Что за вздор! На что мы годны, если даже у торгаев не сумеем взять того, что нам нужно? Ну что он может сделать?»

Отказ Кулиншака его взбесил, и он пошел на насилие. Этим Майбасар сам дал толчок, род Торгай решил отложиться от Иргизбаев и откочевать к жигитекам и котибакам.

Теперь Майбасар всеми силами старался отговорить Кулиншака, но тот на доводы его просто не отвечал. Не добившись ничего, Майбасар разозлился и по привычке решил действовать угрозами и принуждением.

— Уа, Кулиншак-аксакал, я передал тебе просьбу мирзы, чтобы ты не откочевывал. И сам прошу тоже: не уходи. Я все сказал и больше разговаривать не намерен. Дай мне слово, что откочевывать не будешь, — или ты пожалеешь об этом дне!

Кулиншак возмущенно посмотрел на Майбасара.

— Ах так!.. Что ж, и я не намерен больше разговаривать с тобой. Насмотрелся и натерпелся довольно! Вот мой ответ: кочую! — отрезал он решительно.

Приехавшие с волостным насторожились и озадаченно переглянулись.

Разъяренный Майбасар хлестнул плетью по разостланной постели и заговорил, задыхаясь от злобы:

— Знаю я, к кому ты уходишь! Это они зовут тебя! Наверное, наобещали: «Мы сумеем защитить тебя, не бойся!..» Но пусть они только попробуют взять тебя из-под моей руки! Видно, у Байдалы и Байсала пазухи широки и силы много! Ну, хорошо же! Я этим мирзам всажу стальную пику в самый зад! — Майбасар весь дрожал от ярости, глаза его злобно сверкали. — Они добьются, что я отплачу им на голой спине! Еще раз вспомнят Токпамбет!

Кадырбай, самый горячий и смелый из «пяти удальцов», заерзал на месте и заговорил, тяжело дыша:

— Довольно, почтенный, довольно, волостной! Тот позорный случай не принес тебе славы! Лучше не упоминай о нем!

В юрту быстро вошел Пушарбай с двумя жигитами, тот самый Пушарбай, который в прошлом году в Токпамбете, пытаясь защитить Божея, сам пострадал от плетей Кунанбая. Пушарбай — густобородый, огромный, смелый — не забывал нанесенной ему обиды и не сидел сложа руки: благодаря ему и Байсал с родом Котибак окончательно перешел на сторону жигитеков.

При его появлении сыновья Кулиншака зашевелились и насторожились, точно приготовляясь к чему-то. За дверью опять послышались шаги. Жумабай подумал: «Кто это ходит? Что они затеяли?»— и вопросительно взглянул на Майбасара.

Из-за дверей раздался голос:

— Эй, есть кто-нибудь дома?

Пушарбай прислушался и громко откликнулся:

— Я тут!

В ту же минуту в юрту ворвались десять жигитов во главе с Манасом. Они бросились прямо к переднему месту. Остальные «бес-каска», с нетерпением ожидавшие их появления, вместе с ними кинулись на Майбасара и его спутников.

— Прочь! — крикнул тот и, не успев подняться, хотел размахнуться плетью.

Но Кадырбай обхватил его, повалил навзничь и насел сверху. Троих его спутников смяли другие жигиты.

Дело с посыльным теперь казалось пустяковым, — самое страшное наступило сейчас.

Пушарбай, Кадырбай и Манас били Майбасара до изнеможения. Та же участь постигла его спутников, кроме Кудайберды, бить которого Кулиншак не дал; он оттащил юношу в сторону и прикрыл его голову полами своей одежды. Внезапно жигиты, молча избивавшие Майбасара, закричали:

— Вытащить его из юрты! Давайте вытащим! Его потащили. Кадырбай злорадствовал:

— Он только что угрожал нам: «Я потешусь—всех вас догола раздену!» Он только грозить умеет, а мы на деле покажем! Снимай, сдирай с него чапан, сапоги, штаны. Потом со всего размаху ударил его по голой спине, повалил наземь и начал пинать ногами. — Что ты только с нами не делал! И с чего так обнаглел? — приговаривал он с каждым ударом. — Я еще не так опозорю тебя!

И он перевернул Майбасара ничком.

— Стальную пику в зад — да? Ты так угрожал? Вот тебе «стальная пика»! — заорал он и втиснул сапогом в голый зад Майбасара несколько шариков верблюжьего помета, лежавшего у юрты. — Если есть в тебе хоть капля чести, сдохни от этого позора! — пнул он его ногой.

В ту же ночь аул Кулиншака, опозорив брата и сына Кунанбая, сложил юрты и тронулся кочевкой. Как только он сдвинулся с места, жигитеки и котибаки, извещенные Манасом, окружили откочевавший аул и с почетом проводили его. В ту же ночь они успели присоединить к себе большое количество аулов рода Торгай.

Майбасара и его спутников освободили лишь тогда, когда торгаи были уже далеко. Коней своих они смогли разыскать только с восходом солнца, а до Кунанбая добрались к обеду. Все сторонники Кунанбая находились в это время в Жидебае. Тесные ряды аулов иргизбаев, топаев, жуантаяков и карабатыров заполняли пастбища верст в десять окружностью.

«Жигитеки избили и опозорили Майбасара и Кудайберды и силой увели к себе аул Кулиншака», — эта весть мгновенно облетела все аулы.

Кунанбай отдал срочный приказ. Не успел бы вскипеть чай. как сто пятьдесят жигитов уже сидели на конях. Во главе их были сам Кунанбай, его названый брат Изгутты и племянник Акберды.

В полдень Кунанбай, который ни на одни день не упускал *из*  виду передвижения аулов жигитеков, отдал новый приказ собравшемуся ополчению:

— Им нужны набеги и насилие— пусть испытают их на себе! Нападите и силою верните вон ту кочевку жигитеков!

И он двинул свой многочисленный отряд на большую кочевку, проходившую по долине Мусакул. Отряд налетел дико, внезапно, не разбираясь, на кого он нападает. Разъяренный Кунанбай тоже долго не раздумывал. «Достаточно того, что это кочевка жигитеков!»— решил он.

Действительно, это была кочевка жигитеков, но та, в которой перевозили траурную юрту Божея.

Вооруженный отряд обрушился на табуны и стада, шедшие впереди, быстро разбил и рассеял всех мужчин кочевавшего аула и угнал лошадей и коров. Иргизбаи хотели увести с собой и караван, но Жакип и Изгутты, скакавшие впереди, поняв, что это кочевка Божея, не посмели напасть и отвели от нее свои отряды. Обе дочери Божея с остриженным конем в поводу продолжали путь со своим заунывным плачем, как будто ничего не замечая вокруг. Только байбише Божея, приостановив коня и задержав верблюдов, обратилась к нападавшим:

— Уа, бессовестные! Напали на траурную кочевку! Чтоб вам выть в ваших могилах, богоотступники!..

Как только Кунанбай узнал, что это кочевка Божея, он сразу же отдал приказ:

— На эту кочевку не нападать! Но пусть она не двигается дальше и ставит юрты там, где находится сейчас!

Кочевка Божея сбилась в кучу, задержалась и начала ставить юрты в долине. Отряд Кунанбая отхлынул обратно.

Новая весть разлетелась по аулам жигитеков: «Кунанбай напал на траурную кочевку Божея!.. Оскорбил память умершего!»

Всю ночь напролет жигитеки готовили оружие и снаряжение, мужчины все до единого сели на коней. Местом сбора был назначен аул Божея. Байсал решился выступить против Кунанбая и собирал отряды котибаков. Суюндик поднял на ноги всех бокенши.

В ту же ночь в Жидебай непрерывным потоком стекалось ополчение Кунанбая. Мусакул находится от Жидебая всего в трех верстах. Долина готовилась стать полем кровопролитной битвы. Кунанбай собрал не только роды, находившиеся поблизости, он разослал нарочных с заводными конями и к самым дальним родам.

То же самое делали Байдалы и Байсал. Они разослали нарочных по аулам Каратая в род Кокше и в многочисленные племена Мирза и Мамай.

Предвидя надвигающиеся события, Байдалы сделал еще один ход: на Кунанбая были составлены приговоры и жалобы, заверенные печатями разных родов. В них говорилось: «Ага-султан правитель Кунанбай громит аулы, напал на траурную кочевку. Он вовлекает роды Тобыкты в кровопролитные схватки и взаимные убийства». Все это было сделано необычайно быстро. Байдалы вручил приговоры Тусипу, дал ему в сопровождение пятерых жигитов и набил его карманы деньгами. Нарочные взяли с собой несколько заводных лошадей — и Тусип тотчас же тронулся в Каркаралинск.

Теперь Байдалы ничего больше не оставалось, как без колебания идти на открытое столкновение.

Чуть забрезжил рассвет, дружины Кунанбая с криком и барабанным боем стремглав понеслись вперед…

Байдалы, Байсал и Суюндик вскочили на коней и подняли тревогу. Оседланные кони жигитеков уже стояли на привязи, соилы и шокпары были наготове — и отряды бесстрашно ринулись на ряды Кунанбая. Оба войска с поднятыми соплами и пиками наперевес ожесточенно схватились друг с другом и смешались в одну сплошную кучу. В облаках пыли жигиты беспощадно избивали друг друга.

Этот бой. получивший впоследствии название «Мусакульской битвы», долго жил в памяти Тобыкты. Каждая из сторон насчитывала тысячное войско. Кунанбай не имел численного перевеса: его отряды несколько раз бросались на противника и всякий раз были вынуждены откатываться назад. В каждой схватке падало человек десять-пятнадцать раненых. Их убирали с поля тут же.

Первый день жаркого боя прошел с переменным успехом. К вечеру обе стороны отступили.

На следующий день ожесточенная борьба возобновилась, но ни та, ни другая сторона по-прежнему перевеса не имела.

Небывалый бой продолжался уже третьи сутки. В этот день по приказанию Кунанбая сто пятьдесят лучших жигитов пересели на отборных бегунов и, оставив соилы, вооружились только секирами и острыми пиками. Ожесточенное сопротивление жигитеков и их бесстрашие взбесило Кунанбая. В порыве мести Кунанбай неумолимо и твердо решил любым путем добиться победы.

Он начал заманивать врага. Двинув сперва вперед отряды, вооруженные только соилами, он в середине боя стал отводить их назад, изображая отступление, — ему хотелось завлечь лучших жигитов противника.

Его замысел удался. Из войска жигитеков л котибаков скоро выделились кучки, которые наступали с остервенением и упорно преследовали отходившего неприятеля. Среди них мчались все «пять удальцов» Кулиншака, Пушарбай, Кареке. Преследуя иргизбаев, они приблизились к возвышенности, на которой стоял сам Кунанбай. Тот только и ждал этой минуты; он внезапно двинул из засады своих лучших жигитов, вооруженных секирами и пиками, исам помчался вперед вместе с ними.

Под предводительством Изгутты они врезались в ряды противника, обратили его в бегство и понеслись преследовать. Десять отбивавшихся жигитов были заколоты на месте. Сам Изгутты налетел с секирой на Пушарбая. Кареке, пытаясь защитить старика, кинул ся к ним. Изгутты размахнулся и изо всех сил опустил секиру на его голову. Тот увернулся в сторону, и топор, не размозжив ему головы, только отрубил нос. Кровь мгновенно залила все лицо и одежду Кареке, и он на полном скаку полетел с коня на глазах у Пушарбая. Друзья не смогли даже вынести его: им пришлось спасаться самим.

Наступил тот момент боя, который выражался двумя словами: «Враг бежал». Кунанбай рвался вперед, яростно преследуя противника.

Но тут позади жигитеков поднялись тучи пыли. Казалось, что по широкому склону холма хлынуло многочисленное войско.

Лазутчики еще раньше сообщили Кунанбаю: «Жигитеки послали нарочного в род Коныр, ждут войско и из Мамая». Кунанбаю было ясно, что если прибудет Мамай, то жигитеки возьмут верх. В этом была самая большая опасность. И вот, едва он успел отбросить врага, как на холме показалось войско Мамая, смутившее его жигитов. Изгутты и его отряд невольно сдержали своих коней, — судя по облакам пыли, через горы перевалило по меньшей мере человек пятьсот.

Дружины Кунанбая тут же повернули обратно, но отряды жигитеков не проявили особого желания преследовать их. Обе стороны разъехались как раз в то время, когда должен был разгореться самый жаркий бой.

Кунанбай так и не догадался, что был жестоко обманут. Байдалы тоже решил пойти на хитрость: пустив слух о том, что приближаются войска из Коныра и Мамая, он приказал собрать из ближайших аулов всех верблюдов и гнать их по склону, поднимая как можно больше пыли. Грозная толпа, остановившая дружины Кунанбая, была табуном верблюдов.

Кунанбай не подозревал этого и отступил. Байдалы в свою очередь не рискнул преследовать уходящего противника.

Так закончилась трехдневная Мусакульская битва. Кунанбай не сумел сломить противника, а жигитеки доказали свою способность отражать любое нападение Кунанбая и с оружием о руках отстаивать свои права.

Битва кончилась, но слухи, толки, неугомонная молва, горячие споры и бесконечные рассказы носились в воздухе и как пожар охватывали весь край со всех сторон.

Что касается самих главарей, то Байдалы и его друзья стали говорить более уверенным голосом и точно выросли на голову. Приближенные Кунанбая, наоборот, были сдержанны и молчаливы. Они, казалось, застыли в яростном безмолвии. Уже одно это говорило об их неудаче.

Что делать дальше? Как заставить повиноваться тех, кто и впредь осмелится выступить открыто и пожелает помериться силами в схватке?.. Кунанбай волновался от одной этой мысли.

Прошло десять дней полного затишья, молчания и покоя. Противники Кунанбая торжествовали. «Рухнул утес Кунанбая, дрогнула его сила», — повторяли они. У них шли непрерывные взаимные угощения, для которых не жалели ни коней, ни баранов. Они совершали благодарственные молитвы, завязывали дружбу и в порыве общей радости роднились, сватались и праздновали сговоры.

Род Жигитек торжествовал недаром: на десятый день после отъезда Тусипа прибыло из Каркаралинска пятнадцать вооруженных казаков. Тусип к этому времени тоже успел вернуться к своим. Все решили, что по заявлению рода Жигитек приехал «чиноулык» с вооруженной охраной для допроса Кунанбая.

С отрядом действительно приехал чиновник Чернов, командированный корпусом. Для прибывших, поставили десять юрт между Жидебаем и Мусакулом. В течение трех дней Чернов вел следствие. С самого приезда он стал держать себя с Кунанбаем строго. Вопрос о снятии его с ага-султанства он, видимо, считал уже решенным и хотя открыто этого не говорил, но обращался с ним, как с обыкновенным подследственным. Жигитеки, бокенши, борсаки и котибаки учли это и засыпали чиновника жалобами.

Но сообщники Кунанбая тоже не дремали и платили противнику той же монетой. «Убивали людей! Грабили аулы! Палили пастбища! Доводили беременных до выкидыша!»- самые невероятные жалобы на видных старейшин Жигитека и других родов, действовавших с ним заодно, поступали к Чернову. В этих заявлениях доказывалось, что Кунанбай вел справедливую борьбу с такими преступлениями и что виновные в них мстили ему теперь клеветою. Друзья Кунанбая защищали его всеми правдами и неправдами.

Чиновник не стал выносить заключение на месте. Он только выслушал жалобы обеих сторон и на третий день вечером объявил Кунанбаю:

— Вы поедете с нами в Каркаралинск. Выезжаем рано утром. Собирайтесь.

Это уж действительно пахло бедой.

Выйдя от чиновника, Кунанбай собрал на совет десять самых близких своих друзей и родичей. Среди пожилых были Изгутты, Жакип и Майбасар, из молодых — Кудайберды и Абай.

Совет вел сам Кунанбай. Он сообщил собравшимся о грозящей опасности. Кое-кто из стариков размяк и хотел было прослезиться, но Кунанбай сурово отрезал:

— Нечего реветь! Если ты в силах, дай совет. Помоги!

В такие минуты красноречием и многословием не поможешь. Надо было найти путь для решительных действий. Но никто не указал его. Кунанбай, поняв беспомощность своих друзей, начал сам:

— Дело передается на рассмотрение властей. Теперь все зло — в бумагах, а разве бумага считается с честью, именем, званием? Если сумеете, остановите дальнейшие жалобы, чтобы они не преследовали меня по пятам. Ничего не жалейте, но остановите! — твердо сказал он.

Что для этого нужно предпринять — ни один из ограниченных и нерешительных родичей сообразить был не в состоянии. Не нашлось ни одного человека, который смог бы нащупать выход. Абай был поражен растерянностью и безволием людей, окружавших его отца. Раньше он избегал говорить и давать советы, но сейчас решился.

— Чтобы остановить жалобы, нужно расположить к себе тех, с кем мы в ссоре, — оказал он.

Кунанбай бросил из него суровый взгляд:

— Уж не предложишь ли ты челом бить?

— Нет, зачем? Но надо вернуть им отнятое и возместить убытки. Иначе они никогда не замолчат.

Кунанбай понял, но он хотел услышать мнение других, а потому выжидательно промолчал.

К совету Абая присоединились все. Но высказывались робко, неопределенно, хотя в конце концов приходили к тому же выводу. Один Изгутты отрезал напрямик:

— Все они — и жигитеки, и бокенши, и котибаки — думают только о пастбищах и зимовьях. Попробуем поделиться землею, больше делать нечего!

По существу такое решение было равносильно тому, чтобы принести повинную роду Жигитек. Гордость Кунанбая жестоко страдала. Он горел в бессильной ярости, но ни звуком себя не выдал: приходилось идти на уступки. «Если их удовлетворит земля и скот, пусть жрут и успокоятся! Ничего не поделаешь, жизнь безжалостна и требует жестокого унижения». — решил он.

Он отпустил собравшихся и оставил у себя только Жакипа, Майбасара и Изгутты, чтобы растолковать им, через кого следует начать переговоры с жигитеками.

Умилостивить врага — нелегкое дело. Идти к самому Байдалы— даже не унижение, а несмываемый позор. А эти недогадливые родичи способны на все. Кунанбай предвидел их беспомощность и сам назвал людей, которые могли бы стать посредниками в переговорах.

Одним из первых он упомянул Байгулака, самого уважаемого человека из молодого поколения. Вторым может быть Каратай из рода Кокше. Он, правда, в ссоре с Кунанбаем, но вступить в ряды вооруженных жигитеков все же отказался. Кунанбай приказал передать Каратаю свой салем: «Если будем живы, встретимся еще не раз. В жизни всякое бывает: и спиной повернешься и дружбы ищешь. Но да будет светлым день нашей встречи! Вот все, чего я желаю!..»

На следующий день Кунанбай без огласки простился со своими друзьями, детьми и женами и отправился в путь. Его сопровождали только пять жигитов. Самым надежным из них был Мирзахан. Он с малых лет служил жигитом у Кунанбая и до такой степени сроднился с ним, что готов был жизнь за него отдать. В решительную минуту Кунанбай мог положиться только на него.

Какая участь ожидает гордого Кунанбая, никто не знал. Сменят его или оставят на месте — никому не было известно. Одно оставалось бесспорным: самовластный Кунанбай, еще так недавно громивший аулы набегами, был вынужден ехать в округ против своей воли.

Все это было большой радостью для жигитеков, бокенши и котибаков. Они шумно, как долгожданный праздник, проводили эти дни. В общем веселье и скачках принимала участие не только молодежь, но и пожилые люди. Все три рода, давшие общий отпор Кунанбаю, точно срослись за это время, сроднились и жили теперь одним дыханием.

— Больше ему назад не вернуться! — говорили они, упоенные успехом. — Мы его в ссылку загоним, жалобами доконаем, в пропасть свалим! Отомстим за Божея!

Они готовили новые жалобы и приговоры и собирались снова отправлять Тусипа в округ.

В разгар этих приготовлений подоспели Байгулак и Каратай. После долгих переговоров и обсуждений им удалось приостановить поток жалоб. От жигитеков вел переговоры сам Байдалы, и Каратай больше всего напирал на него.

— Если ты решил не останавливаться ни перед чем, мы не можем одобрить тебя. Мы смотрим со стороны. Кунанбаю приходится каяться в своей непримиримости — сейчас для тебя самое удобное время вернуть все. Прими от него землю за убытки своего рода!

Переговоры длились дня три. Все горячо обсуждали предложение Каратая, и наконец оно было принято.

Байдалы поставил свои условия. Он потребовал возвращения пятнадцати зимовий, которые в течение десяти лет Кунанбай одно за другим отобрал у своих соседей хитростью или принуждением. Каждый из четырех родов — Жигитек, Бокенши, Котибак и Торгай — получил по нескольку пастбищ и зимовий.

Но земли достались только знатным старейшинам родов и богатым аулам. Говорили о «возмещении за урон, понесенный всем народом», требовали земли «для блага народа», — а окончился этот шум тем, что пастбища и зимовья достались Байдалы, Байтасу и Суюндику с их друзьями. Остальным аулам заткнули рот небольшим количеством убойного скота, предоставлением во временное пользование лошадей, уступкой бычков и телок. А тяжесть расплаты легла не только на Кунанбая и его богатых старейшин, — ее делил весь род Иргизбай.

Враждующие примирились через десять дней после отъезда Кунанбая. Отправка жалоб в округ прекратилась. Главари родов, получившие землю и табуны, торжествовали и, празднуя победу, щедро раздавали скот ближайшим родичам. Днем и ночью в жертву создателю и духам предков, оказавшим помощь в трудном деле, кололи несчетное количество баранов. Многолюдные торжественные сборы, праздники с их играми, скачками, песнями не прекращались долгое время. В этом ликовании была уверенность в прочности наступившего благоденствия.

3

С того дня, как вражда прекратилась и жиэнь вошла в обычное русло, аулы покинули Жидебай и Мусакул и тронулись кочевкой вниз по склонам Чингиза по своим осенним пастбищам.

Осень стояла на редкость холодная. Пронзительный леденящий ветер, мелкий дождь, тяжело нависшее свинцовое небо — все дышало гнетущим холодом. А когда зимнее дыхание повеет так рано, благоразумнее держаться поближе к зимовью. Заботясь о своей старой свекрови и о детях, Улжан решила дойти в три перегона до Осембая, провести там осеннюю стрижку овец, а потом сразу перебираться на зимовье.

После отъезда отца Абай никуда не выезжал, но до него доходили слухи о торжествах и неудержимом веселье в роде Жигитек. Он знал и о том, что пятнадцать зимовий, уступленных его родом, перешли во владение лишь нескольких старейшин. Немного погодя пришли новые вести: эти самые старейшины не сумели поделить между собою полученных земель, стали тягаться и наконец рассорились. Абая это уже не поражало: он много повидал за этот год.

«Народ стонет… Народ изнемогает от непосильного бремени… Народу тесно!»— говорили старейшины. Почему же они не поделились с народом?.. Эти главари родов будто бы боролись за честь Божея, но чего же стоила эта честь, если ее оказалось возможным променять на землю и зимовки?.. Абай много думал, и мысли терзали его: ему было стыдно за этих людей. Он убедился, что все раздоры и ссоры продолжались до тех пор, пока главари родов не набили себе брюха. А как только их алчность была удовлетворена, все было забыто.

Эта осень открыла перед Абаем истинное лицо биев и аксакалов, которое они так старательно скрывали. Когда раньше эти люди называли его отца насильником, казалось, что они действительно думают о народе. «Кунанбай обирает бедноту, отнимает земли народа, ввергает в слезы неимущих», — твердили они. Но почему же теперь, когда сила оказалась — в их руках, они сами так же обманывают и грабят народ? Почему вместо того, чтобы вернуть народу отнятое у него Кунанбаем, они сами норовят обобрать его еще больше? Получалось так, что добычу одного Кунанбая поделили между собой пять кунанбайчиков… Шли против него за память Божея, а сломив его, продали ее за полученные зимовья…

Думая над этим, Абай понял, как обманут народ и как вместе с ним обманут и он сам. «Ворон ворону глаз не выклюет, — видно, о таких своих попечителях и говорит народ», — размышлял Абай. Нет, не из среды старейшин, которые сегодня против Кунанбая, а завтра вместе с ним выйдет настоящий заступник народа… Народ должен выдвинуть его из людей совсем другого склада…

Однажды вечером после верховой прогулки он, по обыкновению, зашел к матерям и в присутствии Габитхана, Такежана, Оспана и нескольких чабанов взялся за домбру. Он играл с особенным воодушевлением, а под конец спел едкую, полную колких словечек песню. Эта песня высмеивала Байдалы и Байсала, получивших наконец свои земли обратно и тут же перессорившихся из-за них. Она была сложена хлестко и проникнута язвительной, уничтожающей насмешкой.

Песня понравилась всем, ее прослушали с веселым смехом.

— Чья это песня? — спросила Улжан. Абай ответил невозмутимым тоном.

— Байкокше. Это он сложил, — назвал он акына, приезжавшего когда-то к ним вместе с Барласом.

Всю осень, особенно после переезда на зимовку, Абай все чаще поверял домбре свои чувства и мысли и играл мелодичные кюи[90] и трогательные песни. Он встретил старых домбраши, побывавших на испытании у знаменитых Биткенбая и Таттимбета. Учась играть на домбре. Абай порой пел шутливые, язвительные песни, которые неизменно приписывал Байкокше.

Когда аул прикочевал на зимовье. Абай снова часами стал просиживать над книгами. Начитавшись стихов Бабура, Навои и Аллаяра, он брался за бумагу и карандаш и начинал писать, подражая им.

Любовь, возлюбленная — вот что привлекало теперь Абая больше всего. Жизнь еще не познакомила его с чувством, о котором он так много знал из книг, любовь не сказала ему ни одной из своих сладких тайн, но сердцем и мыслью он рвался к ней и знал, что она зовет его. И его память обжигало теплое дыхание прекрасного, единственного существа, навеки овладевшего его душою… Тогжан… Тогжан, далекая, оторванная от него кровавыми боями и схватками!.. Точно горы и пропасти легли между ними… Как часто Абай думал о ней! Робкие, нежные песни сердца, сложенные им этой зимой, все были посвящены ей. В течение зимы он написал небольшой сборник песен под названием «Первые звуки — твоему лучезарному лику» и закончил давно начатые стихи: «Ты встаешь в моем сердце, рассвет любви». Иногда под тихий аккомпанемент домбры он пел их Такежану и Габитхану.

Изредка он ездил охотиться на зайцев с рыжей черномордой гончей. Раз или два он ездил в Карашокы, в аул Кунке, погостил у своего брата Кудайберды. Кудайберды женился рано, этой зимой у него родился уже четвертый сын.

Аул Кунке раньше других получал вести о Кунанбае. Совет ага-султана находился прежде здесь, в ауле байбише. На склонах Чингиза расположено много аулов рода Иргизбай и других, поэтому всякая новость прежде всего попадает именно сюда. И когда дома начинали особенно волноваться об отце, Абай приезжал в Карашокы, чтобы узнать новости.

В эти приезды ему не раз приходилось выслушивать несправедливые попреки Кунке. С тех пор как Кунанбай уехал, она не переставала обвинять Улжан, не стесняясь даже Абая:

— Улжан, наверное, и думать забыла о мирзе!.. Если бы она болела за него душой, она собирала бы родичей и близких, не давала бы опустеть Большой юрте! А то — кочует отдельно, сидит со своим аулом в Жидебае одна… Что ей дела мужа? Она заботится только о себе. И хлопоты и расходы ложатся на нас одних! Все бремя на нас взвалила!

Действительно, Улжан редко собирала аткаминеров в свой аул. А в Карашокы, в окружении многочисленных аулов, у Кунке, естественно, постоянно бывали гости. Волей-неволей приходилось резать скот для гостей. Расходы росли. И чем больше Кунке терпела убытков, тем больше злилась на Улжан и тем чаще поносила ее перед родичами, соседками, стариками и даже перед детьми.

В пререкания с нею Абай не вступал. Все, что она говорила, он выслушивал равнодушно и безучастно и старался как можно скорее забыть. Кудайберды никак ее не поддерживал, не повторял злых сплетен матери и радушно встречал Абая, как самый близкий, родной человек.

Ни разу Абай не передал Улжан обидных слов Кунке, но после каждой поездки в Карашокы он старался выбрать минуту, когда никого не было дома, и долго советовался с бабушкой. Выслушав обвинения Кунке, старушка говорила:

— Не обращай внимания на ее слова. И без нее каждый сам знает, как ему жить и вести себя. В ней говорит чувство соперницы. Разве такие, как Кунке и Айгыз, когда-нибудь уймутся? Не передавай этого матери, а их я проучу сама!

Действительно, Зере вызвала к себе Изгутты и отправила его к Кунке со строгим приказанием: пусть она прекратит распускать сплетни, пусть лучше займется заботой о близких и родичах своего мужа, а пустые пересуды бросит.

Возвращения Кунанбая пришлось ожидать долго. Байдалы, Байсал и их друзья давно уже успели обосноваться на пятнадцати зимовках, полученных ими от Кунанбая и служивших когда-то предметом жарких споров. Осень прошла незаметно. Зима тоже перевалила за половину, а Кунанбай все еще не возвращался. Каждый месяц он присылал очередного жигита за убойным скотом и через посланного передавал различные хозяйственные распоряжения и сообщал о своем здоровье и делах.

Из всех его сообщений о себе только одно было определенным и ясным: как только он прибыл в Каркаралинск, он сразу же лишился своего ага-султанства. Скоро ли удастся уладить дело? Кто знает!.. Ведут следствие и не разрешают ему возвращаться домой. Это было все, что он кратко сообщил о себе.

Действительно, в Каркаралинске был избран новый ага-султан — Кусбек, потомок тюре Бокея. Кусбек и раньше занимал эту должность, но был вынужден уступить ее. С первого же дня возвращения к власти он повел себя по отношению к Кунанбаю недоброжелательно, мстя ему за свое поражение на прошлых выборах. Через Баймурына он усиленно поддерживал сторонников Божея.

Ага-султаны сменились, но майор оставался тот же. Теперь и он косо поглядывал на Кунанбая. Сообща с Кусбеком они с самой осени затягивали дело и скрытно от Кунанбая переписывались с корпусом, стараясь добиться того, чтобы суд происходил в Омске. Если только удастся передать дело туда, можно почти ручаться, что Кунанбай будет сослан.

Но эта тайная стряпня не укрылась от Кунанбая, и он сразу же привлек к делу наиболее влиятельных и сочувствующих ему людей, в первую очередь Алшинбая.

Стоило только вмешаться Алшинбаю, как Кусбек начал постепенно отходить в сторону и облегчать ход следствия. Но некоторые жалобы уже успели попасть в Омск. Прибывший оттуда чиновник оказался достаточно прожорливым, и теперь приходилось считаться не только с майором. Расположить их к себе и добиться прекращения дела было поручено Алшинбаю. Для этого требовались бешеные взятки и богатые подарки, а Кунанбай и Алшинбай уже нуждались в деньгах.

В половине зимы в Каркаралинск приехал крупный семипалатинский купец Тинибай. Целая вереница ямщиков везла за ним тюки мануфактуры и других ценных товаров. Он приехал для скупки шкур.

В его торговле Кунанбаи и Алшинбай были всегда большой опорой. Для выгодного размещения мануфактуры в долг, под залог скота, купец всегда должен пользоваться поддержкой главарей племен и местных правителей. Тогда впоследствии за овцу он может получить бычка, за бычка — вола, а за ягненка — овцу: старейшины и правители сумеют взыскать недоимки. Еще в прошлом году Тинибай настоятельно просил Кунанбая породниться с ним. Кунанбай счел для себя унизительным отдать свою дочь за городского купца. Он боялся сплетен и пересудов, — выдал, мол, дочку за незнатного, продал за деньги, за богатство. Но определенного ответа он Тинибаю не дал и надежды у него не отнял.

Теперь Тинибай возобновил свое сватовство как раз тогда, когда Кунанбай испытывал острую нужду в деньгах. В переговорах участвовал Алшинбай, и дело кончилось сговором: свою младшую дочь от Улжан — Макиш, воспитывавшуюся в ауле Кунке, — Кунанбай именем божьим обещал в жены сыну Тинибая. Купец открыл свату кошелек, и майор быстро пошел на уступки. Но Кунанбая беспокоило, пойдет ли на подкуп прибывший из Омска чиновник Чернов. Два вечера подряд Алшинбай и переводчик Каска угощали и обхаживали Чернова и наконец принесли радостную весть. Алшинбай вошел к Кунанбаю с сияющим лицом:

— Я тоже боялся, что в этом чиновнике — смертельный капкан для тебя… Дай ему бог здоровья: он оказался человеком прожорливым — только успевай подносить! Зажмурит глаза — и знай себе гложет и гложет без остановки… Что ни дай — ничем не брезгает. Ему даже свежего мяса не нужно: можно подсовывать и шерсть, и волосы, и всякий хлам — только облизывается!

Дела Кунанбая начали поправляться, оставалось лишь задержать переписку и уничтожить бумаги, но из Омска вдруг грянуло распоряжение: на основании ранее полученных материалов корпус предлагал майору отправить Кунанбая со всем делом в Омск. Каркаралинские чиновники, уже порядком наглотавшиеся взяток, растерялись. О невыполнении приказа корпуса не могло быть и речи…

Кунанбай спешно отправил нарочного в свой аул. Когда там услышали об отправке в Омск, все в один голос решили, что Кунанбай будет осужден и сослан. А жигитеки и бокенши говорили, что Кунанбай уже приговорен и что его ссылают не то на дальний север, где ездят на собаках, не то на гору Каф.[91]

В своем салеме родным Кунанбай просил за него не тревожиться и особенно успокоить его старую мать. «В Омск съездить придется, но все должно кончиться благополучно», — сообщал он. Но, несмотря на это, Зере овладела немая печаль. Она стала чаще вздыхать и молиться. Временами, сама того не замечая, она среди молитвы громко говорила вслух: «Один он у меня был… один… единственный, несчастный…»— и этими немногими словами выдавала все, что непосильной тяжестью давило ее душу.

Обсудив распоряжение корпуса, Алшинбай, майор, Чернов и Тинибай решили, что уклоняться от поездки в Омск Кунанбаю не следует. Майор тотчас выслал вперед «почту с пером»,[92] кратко сообщая в корпус: «Выезжаем». Следом за ней должны были двинуться Кунанбай и майор со всеми материалами: он решил ехать сам и добиваться прекращения дела.

Вскоре Кунанбай тронулся в путь. В поездку были взяты и лучшие кони, и теплые уютные сани, и провиант на дорогу, и запасная упряжка. Набив деньгами карманы и голенища, Кунанбай выехал в сопровождении двух жигитов и верного Мирзахана.

С самого отъезда из Каркаралинска Кунанбая никак не переставало мучить сомнение. Он не доверял «вареной голове», несмотря на принятые тем богатые взятки и данные в ответ добрые обещания, и перед отъездом настойчиво просил Алшинбая и Тинибая: «Следите за майыром. Разрешите все вопросы до конца и пришлите мне вдогонку человека с сообщением…»

Через три дни после отъезда Кунанбая догнал в пути жигит Алшинбая. День был морозный, но солнечный. Жигит прискакал с заводным конем в поводу. Пышные гривы обоих буланых жеребцов, волнами струящиеся вниз, длинные челки и блестящие хвосты были покрыты серебром инея. От взмыленных коней валил пар — нарочный летел, не жалея их.

Жигит помог Кунанбаю сойти с саней, отвел его в сторону, вполголоса передал ему поручение Алшинбая, потом пожелал счастливого пути, распрощался с путешественниками, и тройка Кунанбая помчалась дальше.

Кунанбай поделился новостями с одним Мирзаханом:

— Алшинбай передал: ждите майыра в Павлодаре, задержитесь там и дальше поедете вместе.

— Выходит, он не собирается менять своего слова? — спросил Мирэахан.

— Не должен… Зачем ему идти на измену? — ответил Кунанбай и замолчал. Потом он добавил — Мы ведь и сами можем прижать его. Скажу в свое время…

Мирзахан не переставал недоумевать: если «вареная голова» верен своему слову, — зачем же он все-таки отправил Кунанбая в Омск?

Но Кунанбай объяснил спокойно:

— Так нужно! Он должен показать перед всеми, что по первому же распоряжению корпуса он и меня отправил в Омск и сам выехал туда. Важно оправдаться, а что значит поездка? Омск недалеко, рукой подать.

В Павлодаре, где Кунанбай прождал четверо суток, «вареная голова» действительно нагнал их. В первый же вечер он пригласил Кунанбая к себе. Кунанбай явился с одним только Мирзаханом.

Майор остановился у своего приятеля — русского купца Сергея, гостеприимного, дружившего с казахами. Он принял Кунанбая и Мирзахана без хозяина, в отдельной, богато обставленной комнате. Он уже свободно говорил по-казахски, хотя в Каркаралинске все еще держал переводчика.

— Ну, Кунанбай Оскенбаевич, тебе, наверное, не терпится посмотреть бумаги с обвинениями против тебя? Так, что ли? — обратился он к Кунанбаю.

— Покажи! Все до единой покажи!

— Что ж, покажу, обманывать не буду! Дал слово Алшинбаю, значит, покажу! — сказал майор.

Он запер дверь на крючок и вытащил из дорожной сумки целую кипу бумаг, сшитых в толстые книги. Кунанбай, следя за ним, зябко потер ладони и спросил:

— Что у тебя так холодно, майыр? Я совсем озяб, вели-ка затопить!..

Майор внимательно посмотрел на него, позвал слугу и приказал затопить печь. Слуга быстро притащил охапку дров, заложил в печь и затопил. Майор достал две бутылки коньяку, расставил закуски, предложил выпить Кунанбаю и сам поднял рюмку.

Кунанбай угостил и Мирзахана. Он не переставал уговаривать майора выпить еще и продолжал беседу. Огонь в печке разгорался все сильнее, — уже жарко пылали ярко-алые угли. Майор основательно выпил и охмелел.

Кунанбай, ткнув пальцем в кипу бумаг, лежащих на столе, обратился к нему:

— Майыр, мы достаточно долго работали вместе. И гостили друг у друга и делились всем между собой. Открой мне их все! Пусть это будет знаком нашей крепкой, нерушимой дружбы!

— Больше ничего нет, Оскенбаевич, — ответил майор. — видит бог, нет! Вот — все, что есть! Больше ни клочка!

Кунанбай поднялся с места, зашел за кресло майора, наклонился над бумагами — и вдруг охватил майора сзади, скрутил ему руки назад и крикнул Мирзахану:

— Живо, Мирзахан! Кидай все бумаги в печку!

Майор начал рваться и всеми силами пытался освободиться, но Кунанбай еще с молодых лет славился ловкостью и до сих пор отличался большой силой. Он не давал майору двинуться с места.

Мирзахан уже успел швырнуть кипу бумаг в пылающую пасть печи. Майор, поняв свое бессилие, принялся умолять Кунанбая:

— Довольно, Оскенбаевич, перестань! Ведь это же казенные дела! Что ты делаешь?.. Как же мне теперь быть?

Через несколько минут от бумаг осталась только куча пепла. Мирзахан и Кунанбай закрыли печь и переглянулись молчаливой улыбкой. Майора окончательно развезло: он сидел в кресле, закрыв глаза и развалившись; казалось, он крепко уснул…

В ту же ночь Кунанбай выехал из Павлодара и двинулся дальше.

Как только гости вышли из комнаты, майор вскочил с места, — он был совершенно трезв. Покачав головой, он выпил еще несхолько рюмок коньяку и позвал хозяина дома.

Сергей — надежный друг. Они обо всем договорились. Выйдя неслышно во двор, они подожгли один из небольших сарайчиков. В этом сарае стояли сани, на которых приехал майор, а в санях заранее были свалены старые кошмы и ворох бумаг. В одну минуту все было охвачено пламенем…

Слабый дымок маленького пожара не впервые окутывал полным мраком ловкие проделки майора. Со стороны Сергея это была услуга за услугу: в прошлом году Сергей присвоил казенные товары и обанкротился, майор точно таким образом устроил ему «пожар», а затем составил акт, заверил печатью и спас Сергея от беды. Сегодняшний «пожар» был просто отплатой за прошлогоднюю услугу.

Утром Сергей без труда спелся с прожорливым городским начальством, — вызвали положенных свидетелей и составили акт, в котором было указано, что все дела сгорели во время пожара в доме Сергея.

На шестой день пути Кунанбай и майор с актом в кармане, порознь друг от друга, прибыли в Омск.

В течение двух недель канцелярия корпуса вела следствие над Кунанбаем. После нескольких коротких допросов Кунанбая признали невиновным, он был полностью оправдан. Майор, спокойно закончив свои дела, поехал к себе в округ.

Едва Кунанбай, оправданный таким своеобразным способом, вернулся в Каркаралинск, в Тобыкты один за другим понеслись верховые — каждому хотелось доставить радостную весть и получить суюнши.[93] Кунанбай не торопился в аул. Он надолго задержался в Каркаралинске.

Описывая подробности поездки в Омск людям Алшинбая и другим надежным друзьям, Мирзахан не щадил красок. По его рассказам выходило, что майор был настроен очень враждебно; он будто бы угрожал Кунанбаю собранными материалами, ссылался на закон. «Вот чем уничтожу!.. Вот чем с липа земли сотру!.. Как ты из этого выпутаешься?»— высокомерно говорил он и со злорадством развертывал перед Кунанбаем одну бумагу за другою. Изображая майора злым и властным, Мирзахан одновременно делал его каким-то ротозеем, простофилей. Но не было ни одного слушателя, который усомнился бы в правдивости его рассказов, — все принимали их за чистую монету. Мирзахан всячески подчеркивал «непоколебимую храбрость», «ловкость и находчивость» Кунанбая. С посланными верховыми сказки Мирзахана доходили и до аулов Кунанбая, раздутые и приукрашенные.

Кунанбай, снова примирившись с майором и всеми каркаралинскими чиновниками, пробыл в городе до самой весны. Он хлопотал о предоставлении ему должности, но теперь уже не мог и мечтать об ага-султанстве.

Когда растаял снег и первая зелень покрыла обсыхающую землю, Кунанбай покинул Каркаралинск и поехал в аул в должности волостного Тобыкты, сместив Майбасара и получив назначение на его место.

Не успел он еще выехать из Каркаралинска, как эта весть долетела до его аулов.

4

Странное чувство владело Абаем этой весной. Оно делало его равнодушным к окружающей суете и шуму, к радостям и печалям близких людей. Он весь — и мыслью и чувством — погрузился а новый, одному ему доступный мир. И домбра и бумага послушно повторяли горячие, прочувствованные слова его песен и стихов — откровенные признания молодого взволнованного сердца. Но как много еще осталось невысказанным, как много песен было еще не спето! Тайны сердца рассказаны не все. А сказанное — так бедно и скудно… О, если бы нашелся друг, который захотел бы заглянуть в его смятенное сердце и прислушаться к его голосу, — он излил бы ему в напевах не передаваемую словами тоску, наполняющую его душу!..

— Боже мой, что же мне делать? Слова бедны, язык бессилен… — грустно говорил он. Невозможность передать словами все, что теснилось в его сердце, угнетала его.

Все стихи, сочиненные, записанные им, до сих пор жили только в нем самом. Ни одна песня не дошла до той, для кого он слагал их. Надежда? Надежды тоже не было. Ему оставалась лишь одинокая, грустная мечта.

По временам где-то далеко-далеко ему слышался серебряный звон шолпы… Звон то приближался, то отдалялся. Слабый отзвук надежды трепетал в этом звоне и томил душу… Мечта? Нежные золотистые лучи ее горели там, далеко, куда не достигал его взгляд… Там был рассвет, утро, яркое утро… Незабываемый образ не покидал его ни на мгновение.

Чуть только дохнуло теплом и яркие лучи солнца с материнской нежностью начали обогревать землю. Абай не мог усидеть дома: он седлал коня и уезжал куда придется. Нашелся и предлог для этих бесцельных поездок — рыжая черномордая гончая.

Отъехав от аула. Абай пускал коня вскачь: пусть пес сам разыскивает зайца… Вскоре Абай и вовсе забывал про собаку. Иногда он надолго терял ее. Вспомнит внезапно — начнет громко звать. Порой гончая вспугнет зайца в зарослях, летит за ним стрелой по равнине, а Абай безучастно смотрит на них пустым взглядом, отсутствующий и равнодушный.

Случалось даже, что он проезжал мимо гончей, когда она, поймав зайца, придавит его и с гордым видом ждет хозяина. Гончая знала, что в таких случаях хозяин спрыгивает с седла и отнимает у нее добычу, но Абай проезжал мимо. Собака смотрела вслед в полном недоумении, потом начинала метаться и лаять. Хозяина не останавливало и это, — совершенно непонятная вещь!.. Гончая суетилась, кидалась то к хозяину, то к зайцу, в обиде на то, что труд ее пропал даром, но и тогда Абай не замечал. И гончая, потеряв терпение, расправлялась по-своему: она отставала от хозяина, терзала зайца, наедалась до отвала и с окровавленной мордой догоняла Абая. Только тогда странный охотник замечал свою оплошность.

Но нить мыслей а нем не прерывалась. Он начинал петь длинную трогательную песню — дар сердца ей, Тогжан.

Когда прохладный ветер, колебля высохшие травинки, дул ему навстречу, Абай снимал свой малахай и, стоя на месте, с наслаждением вдыхал свежий аромат. Быть может, ему казалось, что ветер, летящий с Чингиза, Верблюжьих горбов и Караула, доносит до него дорогое теплое дыхание? Не этот ли ветер облагораживал его душу своим дуновением? Да, Абай был уверен, что это так! Действительность и грезы, жизнь и мечты, ломая все извечные грани, сливались в нем в одно неразделимое прекрасное целое, наполняя сердце несказанным волнением.

Но однажды одиночество его было внезапно нарушено: к нему подъехал всадник. Он точно вырос из-под земли в безлюдной степи. Абай вздрогнул — чудесный сон был прерван.

Они стояли на открытом месте, впереди расстилалась голая равнина. Абай мельком взглянул на всадника и недружелюбно отвернулся. Но тот весело улыбнулся ему и приблизился просто и уверенно, как хороший знакомый. Он окликнул Абая по имени и поздоровался. Теперь Абай узнал его, обрадовался и весь вспыхнул.

Перед ним был Ербол, жигит, с которым он познакомился в прошлом году, возвращаясь от Суюндика. Абай испугался, что выдал себя.

Но Ербол, видимо, ничего не заметил.

— Охотишься? — спросил он. — А где же твоя собака?

— Где-то здесь, в кустах, — ответил Абай, оглядываясь кругом. Рыжая гончая выбежала из кустов. Ербол взглянул на нее и расхохотался.

— Хорош охотник! Ведь она только что наелась! Ой, боже мой. что она такое сожрала? — И Ербол осмотрел собаку со всех сторон. — Ты даже не знаешь, что она поймала дичь! Она же сожрала свою добычу!

Абай постарался перевести разговор на другое. Ему не хотелось отпускать приятеля; они поехали вместе, и Абай пригласил его к себе в аул. Ербол был свободен и согласился охотно.

Абай не отпускал его от себя целых пять суток. Они рассказывали друг другу занятные истории, по вечерам пели и веселились. Абай пел ему и свои собственные песни. За эти несколько дней Ербол стал самым близким его другом. Абай раскрыл ему тайну своего сердца.

— Передай эти песни Тогжан, — просил он.

Ербол выучил наизусть все песни Абая и, дав своему другу слово, что передаст их Тогжан, уехал к себе.

Абай мечтал только об одном — как бы увидеться с Тогжан наедине и хоть несколькими словами перекинуться с нею. Его поручение было выполнено: через трое суток, показавшихся Абаю бесконечными, Ербол вернулся в Жидебай и увел своего друга в Чингиз, прямо в Верблюжьи горбы.

Оказалось, Ербол начал с того, что посвятил во все Карашаш — невестку Тогжан, жену Асылбека. Он пересказал ей все песни, которые Абай посылал своей любимой как салем. Невестка была очень дружна с Тогжан. Сперва она наотрез отказалась быть посредницей в свидании, но песни Абая подействовали и на нее, да и Ербол был необычно красноречив, настойчив и умел добиться своего. Вдвоем они пересказали Тогжан все песни Абая, и она согласилась встретиться с ним.

Взволнованный и нетерпеливый, Абай даже не заметил, как они доехали до Верблюжьих горбов. Когда начало смеркаться, оба жигита добрались до аула Ербола, расположенного в кольце гор.

Маленькое зимовье состояло из одного жилья Ербола. Оно находилось по эту сторону реки Караул. Зимовье Суюндика было расположено по другую сторону реки, в версте от берега, и было отсюда хорошо видно. Там во всем чувствовался достаток. Из труб зимних построек Суюндика валил густой черный дым; сытые псы лаяли с каким-то спокойным достоинством. Аул был богат.

Но вход туда был недоступен для Абая. Он — сын Кунанбая, с которым аул враждовал. Если там узнают о цели его приезда. Абаю не поздоровится. Адильбек и Асылбек — гордые и мстительные жигиты. Узнай они о его намерениях — они пришли бы в ярость. Поэтому оба друга до самого наступления ночи не переходили на тот берег.

В условленное время, когда стало совсем темно. Абай и Ербол, оставив своих коней, пешком перешли по льду на ту сторону. Аул Суюндика был погружен в сон. Собаки мирно спали.

Ербол тихонько открыл ворота скотного двора, ввел Абая в верблюжий сарай, а сам вышел. Абай остался в темноте один. Он боялся дохнуть и ясно слышал стук собственного сердца.

Ербол вернулся скоро. Он схватил друга за руку и прошептал ему:

— Сам бог помог… Асылбека нет сегодня дома! Идем!

Когда Абай с учтивым салемом переступил порог богато обставленной комнаты, Карашаш стояла возле кровати, а Тогжан сидела на полу на разостланном одеяле. Пол от самого порога до переднего места был устлан ковром, а стены завешаны пестрыми кошмами и шелковыми покрывалами. Белая шелковая занавеска наполовину отгораживала высокую кровать с костяными украшениями.

Абай поздоровался. Карашаш учтиво подошла к нему, сняла с него малахай и развязала пояс.

Тогжан была сильно смущена. Она еле слышно ответила на приветствие Абая и вся залилась румянцем, но румянец поминутно сменялся бледностью. Горячая кровь, не умеющая хранить тайны, выдает все, что скрывает душа, — волнение сердца, стыд, боязнь и надежду.

Ерболу не хотелось стеснять друзей.

— Ну, я пойду на тот берег и буду возле коней, — сказал он. Абай в знак согласия только молча кивнул головой. Карашаш вышла приготовить чай. Больше она не возвращалась. Оставшись наедине с любимой. Абай в первую минуту совсем растерялся. Он видел, что и Тогжан застенчива и стыдлива, как дитя. Абай молчал, не зная что сказать. Он наклонился к Тогжан и долго смотрел на нее, не сводя глаз.

— Тогжан… Ты слышала мой салем? — спросил он наконец. — Его слова рождены тоской по тебе, думами о тебе… Ты выслушала их?

Тогжан всем своим видом, казалось, говорила: «Зачем же тогда я здесь? Не твой ли голос привел меня к тебе?» Она скромно улыбнулась и ответила:

— Слышала, Абай! Ваши песни очень хороши!

— Я не акын… Но с первой же встречи с тобою я не могу прийти в себя. С тех пор я ни на миг не мог забыть тебя.

— Почему же вы ни разу не приезжали с тех пор?

— Как я мог приехать? Разве ты не знаешь, что происходит вокруг? Мы могли видеться только в мечтах!

— Правда, — сказала Тогжан, вспыхнула и потупилась. — А я вас раз видела… Видела во время кочевки… Заметили вы меня или нет — не знаю.

Абая взволновали и обрадовали эти слова.

— Боже мой, Тогжан, как прекрасно то, что ты сказала!.. Я тогда хотел крикнуть: «Постой, остановись хоть на миг!»— и еле удержался. Я решил, что ты меня не заметила… А если заметила — значит, я оказался достойным твоего внимания… Да разве можно забыть тебя, Тогжан? — И Абай, подойдя к ней, взял ее нежную белую руку.

Тогжан вздрогнула и застенчиво убрала руку.

Долгий вечер связал два молодых сердца крепкими узами. Они ничего не требовали друг от друга: только видеться, только говорить… Это было их первое свидание. Разговор не прерывался, — казалось, словами они утоляли давнюю жажду и не могли напиться.

Карашаш вернулась лишь под утро. Когда она, приготовив чай, опять вышла, Абай подошел к Тогжан и поцеловал ее. Тогжан вся вспыхнула и, робко прижав свои нежные ладони к его лицу, осторожно отстранила его. Но разве это было сопротивление, а не обаятельная стыдливость? Абай порывисто притянул ее к себе, крепко обнял и поцеловал в глаза. Тогжан, затрепетав, на мгновение прижала свое пылающее лицо к лицу Абая — и опять отстранилась от него.

— Лучезарный свет мой! — воскликнул Абай, снова раскрывая объятия.

В комнату вошла Карашаш.

— О боже, Абай, дорогой мой! Река тронулась! На Карауле — ледоход!.. Где твой конь? — тревожно спросила она.

Ее взволнованные слова не доходили до сознания Абая — слишком сильно было его волнение; но Тогжан растерялась и испугалась.

— Что ты говоришь? Как же вы теперь переберетесь через реку? Вам нельзя оставаться на этой стороне! — заговорила она, дрожа за любимого.

Абай наконец понял. Конь на той стороне — значит, выхода нет. Остаться в ауле невозможно. Еще немного — и он будет обнаружен. А если даже его не схватят сейчас, то утром все равно заметят его на реке, а на этом берегу вряд ли найдется человек, который благожелательно отнесся бы к нему… Но прежде всего надо уйти отсюда, чтобы не вмешивать в события Тогжан и ее женге, которая так приветливо встретила его…

Он быстро оделся и, прощаясь, крепко сжал ручку Тогжан, ободряя ее:

— Не бойся, Тогжан, переправлюсь как-нибудь! Жди обо мне вестей от Ербола!

Тогжан прикоснулась своими белыми пальцами к груди Абая прижалась к нему и прошептала:

— До свиданья! Не забывай!

Обходительная, милая Карашаш проводила Абая через темные сени до выхода.

— Ну, дорогой мой, — сказала она ему, — недолго нам удалось побыть вместе. Но ты мог убедиться, что здесь у тебя друзья, которые дышат одним дыханием с тобою… Не забывай нас!.. Только осторожней переправляйся через реку! Хош!

Абай взял ее за обе руки:

— Женешетай,[94] никогда не забуду! Умру — не забуду всего, что вы сделали для меня, — ответил он и не спеша вышел.

Дикий рев ледохода донесся до его слуха, но Абай, казалось, не слышал его. Мысли его были все еще там, с этими удивительными людьми, с которыми он только что простился. Он жил неизъяснимой радостью и задыхался, переполненный их красотой и светом, вспоминая трогательную чуткость Карашаш и нежную обаятельную Тогжан.

Он подошел к самой воде. Бурлящие потоки горной реки, разлившись, хлынули из берегов. Грохотали камни, трещали льдины — и все уносилось стремительным течением.

Абай долго стоял, не зная, как быть дальше. О переходе вброд нечего было и думать. Уже занималось утро. Он направился вдоль по берегу и дошел до небольшой рощи. Метнулся вперед, вернулся назад — выхода не было. Он терял время, а утро приближалось, — все кругом уже можно было различить отчетливо. Как только в ауле проснутся, все сразу повалят на берег любоваться ледоходом. Первыми выйдут заботливые, хозяйственные старики. И возле аула Суюндика они обнаружат сына Кунанбая, да еще пешего. Их подозрения могут оказаться гибельными для Абая.

И все-таки Абай не испугался. Радость, наполнявшая сердце, ни на минуту не покидала его, и страха он не испытывал. Перед лицом опасности он не растерялся, не стал суетиться: спокойствие и самообладание ни на минуту не оставляло его, как будто он был не юношей, а зрелым, уверенным в себе человеком.

Ему удалось кое-как спрятаться в реденьком лозняке. Оттуда он стал наблюдать за зимовьем Ербола. Вскоре он заметил человека, торопливо шагавшего к реке несколько выше лозняка.

— Ербол! Эй, Ербол! — крикнул Абай.

Да, это был Ербол. Он круто повернулся на голос Абая и сделал резкий знак рукой вниз: «Присядь!» Но Абай не сел, он оставался в ожидании.

Хоть Караул и узок, но течение его быстро. Ербол подбежал к противоположному берегу бледный как полотно. Он был так растерян, будто несчастье случилось с ним самим. Он дрожал за Абая и думал, что тот остановился неподвижно тоже от растерянности и ужаса.

Но Абай прошел по берегу и, став прямо против товарища, рассмеялся, показывая свои белые зубы.

— Ну, выручай! Караул решил предать меня! — крикнул он. Ербол в один прыжок соскочил с крутого берега и, подойдя к самой воде, крикнул Абаю:

— Стой в кустах, никуда не уходи! Я сейчас вернусь, не бойся! Он убежал и через несколько минут вернулся на огромном красном воле. Абай был поражен: почему его товарищ не оседлал коня? Ербол подъехал к самой реке и, понукая вола, спустился в воду. Но вол не желал идти в ледяной поток и упрямо крутился на месте.

Ербол осилил. Попав в воду, вол уже не стал пятиться и двинулся вперед. Место было неглубокое, но река текла со стремительной быстротой, и лед шел сплошной массой. Вол пробирался я ледяном водовороте медленно, но прямо. Ербол выбросил на берег конец длинного повода. Абай на лету схватил его и начал тянуть к себе. Под ударами плети вол выбрался на берег.

Ербол показал себя настоящим другом, — он шел на помощь, подвергая опасности собственную жизнь. Абай кинулся обнимать его.

— А где же мой конь? Что это за вол у тебя? Почему ты сам не на коне? — засыпал он друга вопросами.

— Если б я бегал за конем в аул, тебя давно словили бы, — рассмеялся Ербол. — Обойдемся и без него!..

Оба друга сели на вола и повернули обратно. Но теперь вол никак не хотел лезть в воду. Промучившись с ним и перебрав его предков до семьдесят седьмого колена, Ербол бросил вола и огляделся вокруг сквозь жидкие кусты лозняка. Небо на востоке стало уже багрово-алым, все было видно ясно, как днем. На счастье, аул еще не просыпался.

Внезапно Ербол бросился бежать.

Абаю не пришлось ожидать его долго — Ербол примчался на крепкой темно-серой кобыле.

— Ого! Откуда ты ее взял? — спросил Абай.

Паслась рядом… Это кобыла чабана из аула Суюндика.

— А как же чабан?

— Какое тебе до него дело?

— Ну как теперь ему быть с овцами? Пешему-то!

— Ай, боже мой, ну и пусть остается пешим, да не только он, а сам дух-покровитель его стад! Разве я могу оставить тебя здесь? Садись живей!

Быстрым движением он посадил друга на неоседланную кобылу. Его слова тронули Абая.

— Ербол, дорогой! Какой ты хороший! Ты — лучший из друзей! Никогда я этого не забуду! — воскликнул он.

Ербол тем временем взобрался на вола, подал Абаю повод и крикнул:

— Брось болтать. Абай! Трогайся!

Фыркая и скользя, кобыла спотыкалась в ледяном потоке, но упорно удерживалась на ногах. Вол побрел за нею, и оба друга благополучно переправились через реку.

Выбравшись на другую сторону, жигиты, бросив кобылу и вола, побежали по берегу, согнувшись и прячась, и, только отойдя далеко вниз по течению, спокойно вышли на возвышенность.

Абай, не заходя в зимовку, попросил поскорей оседлать своего коня. Растроганный преданностью Ербола, он попрощался с ним, как с лучшим другом, и берегом реки направился домой…

5

К возвращению Кунанбая из Каркаралинска некоторые аулы уже успели перейти из зимних помещений в юрты, белоснежные и сероватые купола которых усеяли зеленеющие поляны возле зимовья. Семьи, где были старики и старухи, еще оставались в домах, но вся молодежь переселилась в просторные юрты, полные весенней свежести. Аулы стояли, как в ярком весеннем оперении, были полны молодой бодрости, кипели полнокровной жизнью. Пестрые ягнята и козлята и прыгали и резвились на солнцепеке, оглашая воздух непрерывным блеянием; важно выступали пушистые верблюжата, поводя большими карими глазами; конские табуны кишели курчавыми длинноухими жеребятами; телята, подросшие и проворные, задрав хвосты, смешно подпрыгивали и носились по траве. Вся природа, расцветавшая пышно и неудержимо, пела согласный гимн торжествующей жизни. Все живое, казалось, утверждало: «Мы — радость земли, украшающая и благотворящая мир, мы посланы из небытия в бытие», — все сияло, ликовало и кипело в неудержимом цветении весны.

Оба аула Кунанбая уже находились в Жидебае. Всюду доили кобыл, пасшихся год со стригунами, и каждое утро и вечер звонко перебалтывали терпкий кумыс в черных лоснящихся кожаных мешках.

Кунанбая встретили с необыкновенным почетом не только свои, но и все другие аулы родов Иргизбай, Топай и Жуантаяк. Родичи и друзья, в течение последних дней скакавшие из аула в аул с радостными вестями, многолюдной толпой валили теперь в Жидебай, — они являлись к Кунанбаю с салемом, гостили у него, шумной толпой сопровождали его в свои аулы, и с утра до вечера угощали и пировали сами.

Зажиточные родичи приглашали к себе не только самого Кунанбая, но и всю его семью: жен, детей, мать и ближайших родных.

Зере зарезала лучшего барана, которого она уже давно обещала в жертву за благополучное возвращение сына. Кунанбай тоже заколол в ауле Кунке жертвенного коня, обещанного им самим за счастливый исход поездки. Эти праздники и угощения были необходимы Кунанбаю, чтобы собрать родичей и сделать в уме отбор их: кто из них сочувствует ему, а кто нет, кто как встретит его после тяжелых испытаний.

В многолюдных сборах принимали участие все аксакалы и карасакалы.[95]

Каратай, старейшина рода Кокше, всю осень державшийся осторожно и двойственно, сейчас выехал навстречу Кунанбаю, с шумной радостью приветствовал его и, присоединившись к нему, неразлучно сопровождал его днем и ночью.

Еще недавно аулы были полны слухов о том, что Кунанбай сломлен, сослан, лишен власти и чина, — теперь он вернулся не только оправданный, но и в звании волостного. Сплетни мгновенно смолкли.

Кроме того рассказы Мирзахана о мужестве и смелости Кунанбая проникли всюду и повторялись даже маленькими детьми. А ежедневные щедрые угощения и приемы гостей имели для Кунанбая большее значение, чем простое торжество в честь радостного события: он собирал людей, объединял родичей, успевших разбрестись, вновь крепко стягивал сдерживающий их обруч и поднимался в их глазах на прежнюю высоту.

За это время все аулы уже успели покинуть зимовья, сплошным потоком двинулись с гор в долины к весенним пастбищам и начали расходиться в разные стороны. Гостей, которые ежедневно валили к Кунанбаю целыми толпами, тоже стало меньше. Теперь он мог все свое свободное время проводить с женами и детьми. Три дня он пробыл в долине, где расположился аул Улжан. Абай заметил, как сильно поседел отец и как много морщин прибавилось на его лице.

Однажды на обед у Улжан собрались Кунке, Кудайберды и Айгыз. Обратившись к Зере, Кунанбай сказал несколько слов, предназначенных для всей его семьи. Горечь, рожденная тяжестью минувшего испытания, дышала в его словах. Теперь он особенно остро чувствовал свое одиночество — ни среди старших, ни среди младших сородичей он не видел ни одного, на которого мог бы опереться. Он жалел, что, имея нескольких взрослых сыновей, до сих пор откладывал их женитьбу и лишал себя радости иметь внуков, лелеять их и любоваться их забавами.

Все матери вместе с Зере могли только приветствовать его слова. Это значило — женитьба взрослых сыновей, внуки… Все это радовало женщин, как долгожданное счастье…

Кунанбай сказал между прочим, что в последних испытаниях его высшей опорой был создатель, а человеческой поддержкой — два свата. У них, по его словам, он нашел настоящую дружбу и участие. Это были Алшинбай и Тинибай. Кроме того по пути в Омск он встретил исключительное сочувствие и радушие у Байтаса, старейшины рода Тасболат.

Тут же Кунанбай рассказал о решении, принятом им еще в пути. У Байтаса есть маленькая дочка Еркежан. Кунанбай решил засватать ее для Оспана, и она уже наречена невестой его озорника-сына. Все, особенно матери, встретили это решение Кунанбая с неподдельной радостью. Они со смехом обсуждали, как сообщить шалуну, что на его ноги уже надеты путы.

Кунанбай заговорил и об остальных двух сыновьях Улжан. Такежан в прошлом году ездил к невесте, его тесть получил уже весь калым. Зачем же оттягивать дальше — пусть утвердится Молодая юрта Такежана. Второе решение — самое важное, требующее участия и заботы всех присутствующих: нужно снарядить Абая в поездку к невесте. С Алшинбаем Кунанбай уже сговорился об этом, они решили устроить свадьбу теперь же, весною.

Среди других сватов Кунанбая Алшинбай занимает особое место. Помимо того, что их обоих связывает крепкая дружба. Алшинбай — сын и потомок Казыбека и Тленши, известных всему Аргыну. Он самый влиятельный человек этого края, никто не может сравняться с ним. Послать к нему жениха, да еще в первую поездку, — дело нелегкое и требующее большой подготовки. Нужно потратить немало средств, скота и ценностей.

Матери одобрили и это намерение. Только Зере призадумалась.

— Не лучше ли послать его после переезда на жайляу, когда кончатся все хлопоты с кочевками и жизнь опять наладится?

Но Кунанбай объяснил ей:

— Жайляу Алшинбая слишком далеко от нас, и добраться до него будет очень трудно. Скот, который мы погоним, дорогой заморится. Абая должны сопровождать пожилые люди — им будет тяжело. Надо собраться в путь в ближайшие пять-шесть дней. — И Кунанбай обратился к Улжан — Ты поедешь тоже. Вези сына к новой родне сама!

Кунанбай не любил затягивать начатое дело. Не раздумывая долго, он тут же назвал людей, которые должны сопровождать Абая, определил количество скота, тканей, денег, драгоценностей, серебряных слитков, ценной утвари и других подарков.

Поездка вызвала бесконечные толки. Подарки Алшинбаю состояли из двух косяков отборных буланых и рыжих коней, слитков серебра и дорогих тканей.

В тут же ночь в Семипалатинск были отправлены за покупками Изгутты и Кудайберды. Они получили наказ — по приезде в город посоветоваться с Тинибаем, закупить все, что найдут, и спешно вернуться домой не позже чем через четыре дня.

Решение своей судьбы каждый из сыновей Кунанбая принял по-своему. Айгыз и Изгутты с усмешкой обратились к Оспану.

— Тебе засватали невесту! — сказали они. Оспан не сразу понял. Он удивленно переспросил:

— Что это такое «невеста»? Баба, что ли?

Изгутты объяснил ему, а потом спросил, как он относится к этому делу. Оспан ответил без запинки под общий смех:

— Что ж, возьму… Ладно! Баба пригодится!

Абаю решение отца передала Улжан. Ее смутил взгляд Абая, но она мысленно успокоила себя: «Стыдится, наверное».

Абай принял новость молча, с холодной сдержанностью. Внутренне он вздрогнул и насторожился: точно что-то холодное коснулось его души. Мысль о Тогжан молнией прорезала его мозг, — он почувствовал, что совершает преступление перед нею.

Несколько дней подряд Абай оставался задумчивым и замкнутым. Тяжелые мысли овладевали им все сильнее. У него есть невеста. У Тогжан тоже есть жених, сговоренный уже давно. Не поехать, не жениться — нельзя: все в воле родителей. И не найдешь причин отказаться от поездки. Все стремления его сердца принадлежат Тогжан, но вырваться из опутавшей его паутины невозможно.

Он поехал к невесте молчаливый и угрюмый.

НА ПОДЪЕМЕ

1

Свадебный поезд жениха приехал в аул будущего тестя. Алшинбай только что успел перекочевать на широкую равнину, богатую кормами и обильную водопоями. Здесь расположилось около сорока аулов рода Бошан, связанных между собою их общим предком — Казыбеком. Все ожидали гостей, юрты для них были уже поставлены, угощение готово, и в день приезда привязали кобыл для дойки ранее обычного.

По старому обычаю, пожилые сваты вместе с Улжан, сопровождаемой тридцатью жигитами и свитой из женщин, прибыли на полдня раньше жениха. Главным сватом был названый брат Кунанбая— Изгутты. С ним ехали аксакалы, певцы, жигиты и табунщики для ухода за лошадьми. Самого Абая сопровождали двенадцать жигитов молодого поколения иргизбаев, шутник Мирзахан, посыльный Жумагул, из ближайших родных — Такежан. Абай пригласил с собой и Ербола и весь долгий путь — больше недели — был с ним неразлучен.

Улжан доставила в аул свата ценные дары: табуны лошадей и верблюдов, ткани для подарков женщинам, драгоценности. Два верблюда были навьючены тюками с приданым невесты, здесь были пестрые шелка, бархат, сукно, шали. Другие два несли на себе в тюках чапаны, рубашки, платки, кафтаны, материю и обувь для подарков новым родичам, по обычаю старины.

Главной ценностью были слитки серебра, предназначенные в дар самому Алшинбаю.

Десять лет назад, когда Кунанбай приезжал сватать Дильду для Абая, он получил в подарок от родных невесты тяжелый «там-туяк».[96] Привезенный Улжан бесик-жамба[97] превосходил его величиной— Кунанбай одаривал свата более ценным подарком. И не успел жених приехать, как все аулы Алшинбая заговорили о щедрости и богатых дарах его свата. Но тут же стало известным и то, что Алшннбай не останется в долгу.

Для жениха и его родни были поставлены три огромные белоснежные юрты с великолепным убранством. Для угощения были отобраны отгульные годовалые жеребята, выкормленные молоком маток, трехлетние бараны, крупные ягнята. К юрте, где помещалась Улжан, особо подвели отгульного стригуна.

Подъехав к аулу, Абай со своей свитой остановился около него. Часть жигитов — Такежан, Мирзахан и другие поехали в самый аул известить о прибытии жениха. Абай и Ербол спешились, ожидая девушек и молодых женщин, которые должны были выехать навстречу. Зная, что теперь начнутся бесконечные и сложные обряды, Абай оставил при себе и Жумагула, — тот в свое время испытал все виды мучений, связанных со свадьбой, и Абай решил, что он будет ему полезен. В ожидании Абай пожаловался Ерболу:

— Ведь женитьба — большая радость и для родителей и для жениха, зачем же мучить людей всеми этими обрядами?

Жумагул взглянул на него и рассмеялся.

— Вот тебя и начнут сейчас терзать! Прежде всего тебе попадает за то, что на шапке нет перьев! И надевай скорей красный чапан, а то и по щекам получишь!

Согласно обычаю, жених должен нахлобучить на голову малахаи с высоким верхом, увенчанный пучком перьев филина, надеть чапан красного сукна и сапоги на высоких каблуках, чтобы отличаться от всех остальных. По распоряжению Зере, Абаю перед отъездом и была сшита такая одежда. Старая бабушка, обычно во всем потакавшая внуку, на этот раз не слушала его возражений.

— Это обычай твоих предков! — повторяла она. — Не тебя будут укорять там, а нас: всякий скажет — разве у них отцы не были женихами, а матери — невестами?.. Надевай! — приказала она и сама обрядила внука.

В этом необыкновенном платье Абай самому себе казался не то знахарем, не то бродячим фокусником. Как только они выехали из аула, он подскакал к Улжан и взмолился:

— Боже мой, для чего мне по всему пути кричать, что я жених? Разреши мне пока надеть мое обычное платье, а в наряд жениха я переоденусь, когда мы приедем!

Улжан скрепя сердце согласилась. И Абай до сих пор еще не надевал «знахарской» одежды. Малахай с пришитыми перьями и красный чапан — все было спрятано в переметную суму. Теперь Жумагул напомнил об этом, но, поняв, что Абай и в самом деле начинает побаиваться, добавил:

— Когда-то Барак-батыр сказал: «Мое сердце ни разу не дрогнуло, когда я ездил к родителям моей невесты…» Да, тебе предстоят ужасы! Но будь тверд душой — все кончится благополучно, это уж я по себе знаю!

Оба друга рассмеялись, и Ербол повторил Жумагулу свою неоднократную просьбу:

— Пожалуйста, предупреждай его обо всем: когда и как кланяться, когда садиться, когда подниматься и когда можно будет наконец поднять малахай с глаз и сидеть спокойно…

Абай, увидев, как заботливо готовится Ербол к предстоящему им трудному делу, невольно задумался: Ербол беспокоится о таких вещах, которые и в голову не приходят ему самому. Это настоящий, преданный друг.

Абай считал, что в дружбе их не было минуты лучше и выше, чем та, когда Ербол вброд на воле пересек бурные потоки разлива. Но сейчас он казался Абаю каким-то новым; где же тот, который был с ним раньше? Прежний и теперешний — точно два разных человека. Который же из них ближе? Который дороже?..

В самый день отъезда друг доставил Абаю взволновавшую его весть. Тогжан, узнав, что Ербол отправляется с Абаем к невесте, передала через него: «Лунным лучом блеснул он — и пропал. Я осталась во мраке. Но да будет счастлив его путь, да будет сам он весел и счастлив — вот мой салем ему!»— сказала она и, когда Ербол тронулся в путь, закрыла глаза платком и заплакала.

Узнав об этом, Абай всю дорогу не мог прийти в себя. Он чувствовал всю тяжесть принуждения, весь гнет чужой воли, заставлявшей его ехать. И теперь он угрюмо ожидал встречи с Дильдой.

Внезапно до его слуха донесся громкий женский смех. Потом послышался звон шолпы. Это шли молодые женщины и девушки встречать жениха. Приближалась большая толпа: женщины — в белоснежных головных повязках, девушки — в камчатных шапках. Кругом весело сновали ребятишки.

Подходя к плотной кучке жигитов, окружавших Абая, некоторые из женщин начали громко переговариваться:

— Который тут Абай?

— Кто из них жених?

— Почему все одеты одинаково? Почему Абай не оделся, как полагается жениху?

Абай смутился. Он сделал над собой усилие и улыбнулся.

— Кто из нас вам больше понравится, тот пусть и будет Абай! — сказал он.

Женщины рассмеялись и сразу узнали жениха. Но одна из них тут же упрекнула его:

— Нет, дорогой мой! Тобыктинский малахай ты будешь носить у себя в ауле. А в наш аул попадешь только в свадебном наряде!

И она тут же начала расспрашивать всех и разыскивать свадебную одежду. Жумагул не вытерпел. Он снял с коня свою переметную суму.

— Сколько я ни говорил — надень, он все не слушался… Проучите его теперь. Весь его наряд у меня в тороках! — сказал он, передавая суму девушкам.

Пока Абай переодевался, дети, прибежавшие с женщинами, успели по двое, по трое вскарабкаться на коней свиты жениха и поскакали в аул. Абай приехал на белогривом золотистом иноходце. Словно оправдывая пословицу; «На жениховом коне золу возят» — ребятишки обступили коня.

— Это же иноходец!

— Ойбай, вот хорошо-то!

Они втроем забрались на коня и помчались вперед. Женщины, девушки и жених со свитой пошли в аул пешком.

Юрта, предназначенная жениху, выделялась своей ослепительной белизной. Внутри убранства было не очень много — помещение решили не загромождать, чтобы было просторней. Но остова юрты видно не было: он был завешан богатыми шелковыми занавесями, коврами с пестрыми узорами. Яркие краски тканей делали юрту необыкновенно нарядной. От самой двери до переднего места настланы шерстяные ковры и кошмы с пестрыми вышивками и узорчатыми украшениями. На них в несколько рядов лежали шелковые одеяла и подушки. Направо стояла кровать с костяной резьбой, застланная пятнадцатью шелковыми одеялами. Подушки сверкали белоснежными наволочками. Атласная занавеска с голубыми и алыми узорами закрывала изголовье.

Абая усадили перед кроватью, и с обеих сторон его окружили девушки, будущие свояченицы. Ербол, Жумагул и жигиты сели дальше, вперемежку с другими девушками.

Едва все успели разместиться, как в юрту быстро вбежали три молодые женщины и заторопили сидевших:

— Занавеску!.. Опустите занавеску!

Девушка, сидевшая рядом с Абаем, вскочила с места и опустила перед женихом атласный полог. Тогда женщины распахнули двери.

— Входите, входите! — приглашали они кого-то, стоявшего за дверью, и оглядывались в сторону жениха: — Встречайте, идут эне![98]

Абай, Ербол, Жумагул и девушки, сидевшие в юрте, вскочили со своих мест.

Занавес оставался опущенным. В юрту вошли три пожилые женщины. Посредине шла старшая эне Абая — первая жена Алшинбая, полная смуглая байбише. Рядом с нею — настоящая эне, мать невесты.

— Ну, матушки, выкуп! Где выкуп! Иначе не покажем вашего сына, — подшучивали молоденькие женщины, удерживай край полога.

— Поднимите занавес! Вот вам выкуп! — ответила байбише, показывая шашу.[99]

Атласный занавес широко распахнулся. Жених стоял, скромно потупив голову, в немой покорности.

— Да будет жизнь твоя долголетней! Да пошлет тебе бог счастливое будущее, свет мой! — сказала старшая байбише и начала бросать девушкам шашу.

Посыпался урюк, изюм, конфеты. Девушки, весело смеясь, принялись подбирать сласти.

— Да пошлет бог счастливое начало! Да будет долговечным твое счастье и радость, свет мой Абай! — присоединила свое пожелание и родная мать невесты.

Жених не может отвечать, он должен стоять, покорно храня молчание. Жены Алшинбая по очереди подошли к Абаю, поцеловали его в щеку и, не задерживаясь, ушли из юрты.

Целый вечер Абаю было не по себе, он никак не мог свыкнуться со своим новым положением. Огромный малахай спускался ему на глаза, вгонял в пот и раздражал. Но самым тяжелым испытанием были устремленные отовсюду взгляды: люди разглядывали его без всякого стеснения. «Красив ли жених? Пара ли он нашей дочери? Как он держится?»— говорил каждый любопытный взгляд. Нарядив юношу в одежду, которая превратила его в неподвижную статую, они теперь как будто потешались над ним: посмотрите, мол, каков он!

Вскоре в юрте жениха появился чай. Но общий разговор никак не мог наладиться. Жумагул и Ербол, обычно вызывающие дружный хохот своими шутками, здесь тоже чувствовали себя стесненными, держались натянуто и со скромной учтивостью переговаривались с девушками, сидевшими возле них. Среди этих девушек внимание Абая остановили на себе три, сидевшие поодаль и одетые очень нарядно. Он был поражен их видом: лица девушек были неестественно белы, а щеки горели багровыми маками. Абай не знал обычая этой местности: совершеннолетние девушки рода Бошан густо белили лицо и румянили щеки.

После чая в юрту собрались старшие жигиты — Мирзахан, Такежан и их товарищи. С ними пришли певцы, шутники и балагуры из рода Бошан. Все оживились, повеселели, поднялся шум и говор, шутки и смех. Жениха окружили множество женщин и девушек. Но в этом многолюдном хоре не было только невесты: Дильда все еще не появлялась.

Первый приезд жениха называется «торжественным»; иногда его еще называют «приездом с подарками» или «переходом через порог», а то — «поездкой для рукопожатия». И в первый приезд ему не так-то легко увидеть свою невесту.

Родители должны прежде всего справить той[100] в честь первой поездки и окончания сговора. А той — дело нелегкое. С ним не торопятся и справляют его после основательной подготовки. Потом совершается «рукопожатие» жениха и невесты. Значит, Абай не только в первый день, но и во второй не мог видеть невесты и оставался жить в ауле, не имея о ней ни малейшего представления. Лишь Ербол на следующий день после приезда прошел к Дильде, чтобы приветствовать ее. Внешность Дильды ему понравилась, он вернулся от нее обрадованным за Абая и хотел было поделиться с ним своим впечатлением, но тот прервал его и перевел разговор на другое.

Той, которого молодежь ожидала с таким нетерпением, состоялся на третий день по приезде жениха. Юрту, где помещался Абай, в тот день посетило бесчисленное количество женщин: с утра до позднего вечера здесь толпились байбише, девушки, молодые женщины и требовательные, шумные свояченицы. Жумагул и Ербол не успевали почтительно приветствовать их, принимая самый учтивый вид. Оба они то и дело надоедали Абаю:

— Ну, вставай! А теперь садись! Вот еще пришли!.. Ойбай, взгляни-ка, еще люди! — тормошили они его и заставляли кланяться.

В юрте жениха не смолкали песни, не стихало веселье и непрерывно уничтожали сласти. Слуги без устали вносили кумыс и чай — скатерти не убирались.

После обеда за дверьми послышались голоса.

— Той!.. Начался той!

— На коней! Садитесь на коней! — раздавались крики.

Абай и все остальные мужчины, находившиеся с ним вместе, вышли из юрты. Кони свиты жениха, оседланные, стояли на привязи, жених, как и все другие, может, сидя верхом на коне, смотреть на общее веселье и пиршество. Девушки и молодые женщины остались а ауле, а Абай со своей свитой, человек в пятнадцать, выехал и стал в стороне от других.

Многочисленные аулы, расположенные на цветущей равнине, справляли той с необыкновенной щедростью, угощая всех собравшихся. Алшинбай хотел, чтобы этот той поразил всех своим блеском и пышностью. Народу на пир собралось так много, что из верховых лошадей приезжих образовались целые табуны.

О размахе тоя можно было судить и по количеству юрт, поставленных для гостей, — их было не менее пяти-шести десятков. Они тянулись двумя рядами по крайней мере на целую версту. Кухонные юрты были поставлены отдельно, на другом краю аула.

Как раз в то время, когда Абай выехал со своей свитой, из кухонных юрт к гостиным помчалась длинная вереница слуг. Все они были на конях. Распорядители, отмеченные белыми платками, повязанными на головах, стояли в ожидании. Их было около двадцати.

Все жигиты, обслуживающие гостей, были на иноходцах, — этим подчеркивалась пышность тоя. Выезженные, подтянутые кони, все в мыле, носились, как бешеные. Двадцать жигитов, взяв поводья в зубы, во весь опор мчались к гостиным юртам, держа в руках по два глубоких блюда. По пятам за ними летели вскачь другие, подстегивая их коней. Ловкие, гибкие жигиты-подавальщики на всем скаку подлетали к юртам и, не расплескав ни капли подливки, останавливались как вкопанные, чтобы передать блюда. Аксакалы и карасакалы, сами ухаживавшие за гостями, быстро брали у них горячие блюда и передавали угощение в юрты.

Как обычно, гости ели очень много. Не раз и не два пришлось подавальщикам проделать свой путь между гостиными и кухонными юртами. Угощение началось, когда Абай сидел еще в юрте; сейчас он со своими жигитами выехал далеко в поле, а пир все еще продолжался. Гости сели на коней только после того, как опустошили огромное количество кожаных мешков с кумысом и съели несчетное число мясных блюд.

Игры и состязания — скачки, борьба, козлодранье,[101] верховая борьба, жигитовка — следовали друг за другом. Старики, вышедшие из юрт, не переставали восхищаться торжеством:

— Вот это — той!

— Калым был хорош, но и Алшинбай не поскупился! В этот вечер Абай впервые увидел свою невесту.

Юрта жениха чуть не трещала от набившейся в нее толпы. Здесь собралась вся родня жениха и невесты во главе с самим Алшинбаем, Улжан и Изгутты. Абай и его свита были отгорожены занавесом. Смеялись, разговаривали и держали себя попросту только старшие. Те, кто сидел за занавеской, разговаривали шепотом и смеялись тихо, да и на это решались только девушки, не стеснявшиеся в своем ауле. Наконец у входа началось оживление. Молоденькие женщины, сидевшие у дверей, подтянули край входной занавески, и в юрту вошли несколько девушек.

Среди них была и Дильда. Накинутый на голову красный чапан скрывал ее лицо. Абай и его товарищи смогли увидеть только ее фигуру, когда она снимала верхнюю обувь. Невеста казалась худенькой, но довольно высокой и стройной. Ей предназначалось место подле Абая. Не снимая с головы чапана, она села на указанное ей место боком к жениху. Абай хотел поздороваться с нею, но Дильда не повернулась к нему, и он воздержался.

Как только невеста вошла в юрту, сразу подали блюда с мясом. И почетные гости и молодежь, отгороженная занавесом, принялись за еду. Но ни жених, ни невеста почти не притрагивались к пище. После угощения мулла, которого Абай из-за своего занавеса не мог видеть, прочел брачную молитву. Потом была принесена пиала с холодной водой. Она обошла всех сидящих на переднем месте и наконец была передана Абаю. Жених сделал глоток и передал пиалу Дильде.

Тогда две женге с улыбкой подошли к ним, сели перед женихом и невестой и, окутав правую руку Дильды легкой шелковой тканью, положили на нее правую руку Абая. Он задержал в своей руке тонкие пальцы Дильды. Невестка, сидевшая напротив, насмешливо заметила:

— Ишь какой! Твоя рука, наверное, прилипла? Давай ее сюда, погладь теперь волосы! — приказала она.

Девушки, сидевшие рядом, рассмеялись. Женге сама схватила руку Абая и заставила его провести ладонью по косе невесты. Шелковая ткань, принесенная для рукопожатия, понадобилась и здесь, — Абай раза два погладил ладонью по этому шелку.

Свадьба закончилась этими обрядами, издавна известными под названием «рукопожатие» и «поглаживание волос». При последнем обряде жених одаривает своячениц. Шустрая женге успела получить свою долю и от Дильды.

Старшие раскрыли ладони и совершили молитву.

— Да сопутствует им счастье!.. Да будут они долговечны!.. Да пошлет им бог изобилие! — хором заговорили они.

Пожелания родичей Абай и Дильда выслушали из-за опущенного занавеса. После этого все старшие сразу поднялись и покинули юрту. Молодежь тоже не стала долго задерживаться. Все разошлись, чтобы оставить жениха наедине с невестой.

До сих пор Абай не сказал Дильде ни слова. Они даже не видели друг друга. Только невеста успела при входе в юрту краем глаза взглянуть в лицо Абая, когда, скрытая сама занавесом и чапаном, присаживалась возле него. Но это был лишь один миг.

В юрте стало несколько свободнее; женге, получившая подарки за «поглаживание волос», обратилась к Абаю:

— Ну, теперь мы приготовим постель! А ты ненадолго выйди на улицу, освежись немного!

Эти слова полоснули Абая по сердцу своей грубой откровенностью. Он не стал задерживаться, быстро поднялся с места и вышел. Вокруг не было ни души. Даже Ербол уже ушел. Абай остался один. Ночь была темная — с вечера нависли тучи. Кругом был полный мрак. Абай отошел далеко в сторону.

Девушки тоже покинули Дильду. Она осталась с двумя женге, сопровождавшими ее весь вечер. Одна из них вывела ее на улицу, а другая, опустив занавес, разобрала нарядно убранную постель и стала стелить на ночь.

Женге, которая вышла с Дильдой, обняла ее.

— Ну как, понравился он тебе? — спросила она, смеясь. Дильда не смутилась.

— Кто его знает! Какой-то чернявый толстяк… В ее словах звучало явное разочарование.

— Ну, полно! Ты не разглядела! Он красивый, смуглый, — утешала ее женге.

Невеселые чувства наполняли сердце жениха.

Обилие, богатство, блеск, свита друзей и родичей, — все как будто соответствовало радостному торжеству. Радушие, угощение, той, толпы гостей, блеск и пышность сопровождали каждый его шаг. Общая молитва, щедрые пожелания должны были подчеркнуть счастье, ожидающее двух молодых людей. Но, если вглядеться пристальнее— так ли это? Не совершали ли старшие все это только для соблюдения учтивости и взаимного почитания, ради выполнения веками установленных обрядов?..

Абай и Дильда даже разглядеть друг друга не успели, но старшим до этого нет дела. Первое знакомство жениха и невесты должно произойти в постели, которую сейчас приготовляют.

Абай читал много книг. Любимый друг, избранница — как обоготворял он эти слова! Они цвели в его душе чистыми, неомраченными… Тогжан, покорившая его своей сияющей красотой, терзавшая его душу, ни на миг не исчезая из его мыслей, — Тогжан была далеко. Почему она не явится перед ним сейчас крылатым видением?

Вдруг раздался серебряный звон. Абай оглянулся, — это разыскивала его одна из женге.

Она шутливо сказала ему:

— Ты думаешь — тебе и цены нет? Зачем заставляешь ее так долго ждать? — И она повела Абая в юрту.

Занавес был спущен, постель стояла готовой. Дильды и второй женге еще не было. Абай снял верхнюю одежду, женге повесила ее. Потом она сама сняла с него сапоги и напомнила, что он должен одарить ее за последний обряд — разувание. При этом обряде делается большой подарок. В кармане Абая было достаточно денег, которыми наделила его предусмотрительная мать. Абай кинул деньги женге почти с отвращением.

Едва успев раздеться, Абай бросился на кровать и лег, укутавшись в шелковое одеяло. Дильда все еще не входила в юрту, время от времени из-за двери доносился лишь звон ее шолпы. Наверное, так полагается по обычаю? Хоть бы она вошла, пока горит светильник!.. Но уложив Абая, женге со светильником вышла на улицу и, открыв двери, пропустила Дильду.

Невеста в темноте приближалась к нему. Абай, возмущенный всем, что происходило, вдруг впал в тупое равнодушие и, не двигаясь, продолжал лежать. Но он ясно слышал каждое движение Дильды, каждый шорох, вызываемый ее приближением. Она сняла свой бешмет, потом скинула сапожки и в одно мгновение оказалась у постели. Без всякой робости она стала перед кроватью и ощупью нашла свое место, Абай и не заметил, что лег у самого края. Внезапно раздался голос невесты — немного грубоватый:

— Подвинься!

Так произошла встреча молодой пары, в честь которой в течение нескольких дней справляли той, устраивалось угощение, тратились средства… Так равнодушно, обыденно, просто… Абай откинулся к стене.

Он не мог побороть внутреннего холода и сдержанности. Дильда тоже не пылала… Ее привели к жениху на поводу, она повиновалась обычаям — сердцу ее Абай был чужд. Гордость надменно твердила ей, что если ее жених — сын Кунанбая, то сама она — внучка всеми чтимого Алшинбая. Стесняться и робеть — удел простых людей. И она спокойно выполняла все, что ей советовала женге…

Абай после этой ночи пробыл в ауле Алшинбая еще две недели. Улжан уехала дней на пять раньше сына, а жигиты задержались с женихом.

Ко времени отъезда Абай и Дильда успели привыкнуть друг к другу. Временами они даже шутили и смеялись. Дильда казалась Абаю привлекательной и, пожалуй, красивой. Сама она тоже приценилась к его нраву. Но их не влекло друг к другу, и сердцем оба они оставались холодны.

Старшие считают первый приезд жениха перевалом в молодой жизни. Абай уже прошел его. Но в его юном сердце не вспыхнуло ни одной искры пламени. Напротив, он вернулся к себе разбитый, внутренне надломленный, точно мгновенно возмужав на несколько лет.

2

К тому времени, когда Абай возвратился от невесты, все аулы уже перекочевали на жайляу за Чингиз. Аул Кунке, где находился и Кунанбай, был переполнен гостями. Абай со своими жигитами подъехал к Кунанбаю, стоявшему в толпе, и отдал ему салем.

Еще до его возвращения Кунанбай обо всем подробно расспросил Улжан. Теперь он приветливо встретил сына и радушно угостил его товарищей. Но только со стороны Кудайберды Абай почувствовал искреннюю радость по поводу его приезда.

Кудайберды долго расспрашивал Абая и Ербола об обычаях и обрядах рода Бошан. Потом стал просить их спеть новые песни, — это будет их подарком.

— Оказалось, что в роде Бошан поют лучше нас, — сказал Абай, взяв в руки домбру.

Кудайберды возразил с усмешкой:

— Неизвестно, кто там пел — бошаны или молодое сердце жениха, приехавшего к невесте? Может быть, для тебя и песни-то звучали по-особенному!

Это вызвало смех окружающих. Абай не сдавался.

— Я говорю правду, Баке! — Он называл Кудайберды «Баке».

— Чем хвалить бошанов на словах, лучше сам спой!

— Вот это правильно! Песня сама за себя скажет. Начнем, Ербол!

С этими словами Абай начал запев, Ербол подхватил, и их голоса слились. Они спели песню «Статный конь». В Тобыкты она была неизвестна. От Абая не ускользало, что песня произвела на сидящих большое впечатление.

— Ну, что вы скажете? — спросил он.

Послышалось общее одобрение. Кудайберды не отставал от других.

— Хорошая песня! — повторял он.

— Тогда слушайте еще! — И Абай вдвоем с Ерболом спел другую песню — «Красотка».

Кудайберды принялся расхваливать и ее. Абай и Ербол о чем-то шептались.

— Теперь мы вам споем ту, что берегли напоследок, — объявили они.

Полилась трогательная, взволновавшая всех третья песня — «Белая березка».

Уже три ее четверостишия были закончены. Никто не шелохнулся. Все напряженно слушали, затаив дыхание, Абай несколько раз быстро перебрал струны и смолк на мягкой низкой ноте.

— Ну, Баке, что ты теперь скажешь? — спросил он. Кудайберды сознался откровенно:

— Думаю, что ты совершенно прав… Вы привезли замечательные песни!

Абай рассказал, что песни «Зеленая долина» и «Смуглянка», с которыми они сами приехали в аул Алшинбая, не имели никакого успеха. Во-первых, там каждый ребенок знал их, они устарели; а во-вторых, бошаны пели их совсем на иной напев, чем в Тобыкты. Вообще, по мнению Абая, тобыктинцы не слишком большие мастера на сочинение песен, большей частью они заимствуют напевы у других родов и порой неумело исполняют и портят их. Первое шутливое возражение Кудайберды было окончательно разбито. Старший брат смотрел на Абая с нескрываемым восхищением и гордостью, — он заметил, что за время поездки Абай начал вникать в глубину окружающих его явлений, выносить свою собственную оценку всему.

На другой день Абай вернулся к матери. Весь аул встречал его с сердечной радостью: старая бабушка не уставала любоваться им, а младшие братья висли на его шее, просовывали головы под руки и всячески выражали удовольствие по поводу его возвращения.

Аул Улжан расположился на просторном урочище, обильном прекрасными лугами, пастбищами и удобными водопоями. Все аулы Тобыкты, расположенные в этих местах, жили в ожидании большого торжества. Слухи о нем дошли до Абая еще в пути, а дома ему сообщили обо всем подробно. И детей, и молодежь, и пожилых людей, и старых аксакалов занимало только одно событие, ожидавшееся в ближайшие дни: все говорили о предстоящем асе в память Божея.

Родичи Божея с самой зимы начали готовиться к асу. Весной они оповестили всех. Был уже назначен день и место совершения аса. Роды Жигитек, Котибак, Бокенши и Торгай, объединившиеся с прошлого года, прикочевали для этого на обширные, богатые кормами жайляу Казбала. На поминках будет устроена большая байга,[102] а возле самого Казбала как раз раскинулись бесконечные просторы, удобные для скачек!

Абай и Ербол были рады, что вернулись домой: оба они соскучились по родным аулам. Ербол торопился к себе, — он узнал, что его аул тоже готовится к поминкам.

На другой день но приезде от тестя Абай долго беседовал с матерью и расспрашивал обо всех новостях и событиях, происшедших за время его отсутствия.

По словам матери, Кунанбай с самого начала весны созывал большие сборы и, видимо, к чему-то напряженно готовился. В результате непрерывных тоев и угощений он успел перетянуть на свою сторону еще несколько родов. Одних он задаривал, другим обещал, на третьих воздействовал полным угрожающего холода салемом — и в течение какого-нибудь месяца привлек к себе много новых сторонников. Среди них были и крупные, влиятельные лица — вроде Каратая. Кунанбай сумел расположить к себе и тех, кто, пользуясь своим одинаковым родством с ним и с его противниками, до сих пор всячески старался держаться в стороне. Против Кунанбая теперь были лишь три-четыре рода — котибаки, жигитеки и другие.

Но и эти противники, с самой зимы готовясь к асу, все свои средства тратили исключительно на приготовления к торжеству. Учтя это, Кунанбай перед самой откочевкой потребовал, чтобы они вернули ему пятнадцать зимовий, которые им были недавно переданы, чтобы будущею осенью никто не оставлял там своего имущества и жатаков, потому что зимовья опять переходят в его собственность.

Такое извещение получил каждый аул в отдельности. Кунанбай ничего не объяснял, не доказывал — он просто передавал приказ. Таким путем он вернул себе четырнадцать зимовий и только на пятнадцатом потерпел неудачу.

Это было зимовье Байсала.

Распоряжение Кунанбая было доставлено Байсалу через Каратая и Жумабая. Байсал начал со спокойных объяснений.

— Передай волостному салем, — ответил он. — Мы знаем друг друга с детства, никому лучше его не известно, что у меня нет земли. Кунекен не испытывает недостатка в земле, он уже вернул себе четырнадцать зимовий из пятнадцати. Пусть оставит мне мою долю. Я потратил средства, устроился там по-своему.

Узнав об ответе Байсала, Кунанбай пришел в ярость. В ту же ночь он опять отправил к нему Каратая и Жумабая с приказанием прекратить всякие рассуждения и покинуть зимовье.

Неумолимое своевластие Кунанбая вывело Байсала из себя. Он ответил, что готов на любое столкновение.

— Я объяснял ему, но он не хочет понимать, — начал он. — Самая горькая обида не в том, что он отнимает землю, а в том, что я для него — ничто. Я сидел спокойно, но он не перестает понукать и сам поднял меня на ноги. Из-за земли он, как червь, точил Божея, пока наконец не загнал его в могилу. Чем я лучше Божея? Мне терять нечего… От своего я не отступлюсь! Ни на шаг не отойду от зимовья!

Боясь нового междоусобного пожара, Каратай решил в разговоре с Кунанбаем смягчить ответ Байсала, но Кунанбая провести было трудно. «Байсал так не разговаривает», — решительно сказал он и потребовал точного ответа. Тогда Каратай выложил все.

С этого дня Кунанбай налился новой яростью против Байсала и Байдалы. От решительного шага его удерживали только поминки Божея. Но Улжан знала, что, как только кочевья двинулись на жайляу, между аулами Кунанбая и Байсала начались постоянные стычки и недоразумения. Кунанбай размещал свои аулы в ближайшем соседстве с аулом рода Котибак и по всякому поводу притеснял противника, отгоняя с пастбищ его скот. Байсал отвечал тем же. Жигигы рода Котибак ни днем, ни ночью не отходили от аула Байсала, охраняя его.

Сейчас котибаки стояли совсем рядом с аулом Кунке. Достаточно самого незначительного повода — и крошечная искра может разгореться пожаром. Кунанбай непрерывно прибегал к насилиям и намеренно вызывал соседей на столкновение. Зере, поняв его цель, снялась с места раньше других и стала аулом тоже вблизи стоянки Байсала: она решила сдерживать табунщиков к озорных жигитов и не допускать несправедливостей, какие проделывал аул Кунке.

Улжан тяжело переживала и эти стычки и враждебное отношение Кунанбая к памяти Божея. Он даже ни разу не был на могиле покойного. Неужели он будет упорствовать, через год после его смерти? Улжан говорила об этом вздыхая.

Абай мрачно насупил брови и глубоко задумался. Весь этот день он был молчалив, а ночью ворочался в постели, не в силах сомкнуть глаз. Первый раз в жизни мать посвящала его в дела аула, во все подробности тяжбы отца и делилась с сыном горечью, накипевшей в ее сердце. Может быть, она считала, что Абаю пора принимать участие в делах старших? Она говорила горячо, откровенно, ничего не скрывая от сына.

На следующий день к обеду вернулся Ербол, и оба друга ушли пить кумыс в Большую юрту. Внезапно за дверьми раздался громкий голос Кунанбая. Он приехал один и раздраженно говорил что-то, слезая с коня. На минуту он задержался у входа в юрту.

— Эй, Жумагул, Мирзахан! Идите сюда! — крикнул он, переступая порог.

Оба жигита вошли тотчас же. Кунанбай прямо прошел к переднему месту и заговорил, не успев еще усесться:

— Байсал неспроста стал возле моего аула. Он нарочно гонит свои табуны в нашу сторону. Что ж, посмотрим, кто кого! Берите шокпары и соилы, отправляйтесь туда и отгоните его табуны за аул, на самое далекое пастбище!

Жигиты вышли. Через минуту на улице застучали их соилы, послышался топот выводимых коней. Абай вышел из юрты.

— Эй, постойте!

Он подошел ближе. Жигиты уже были на конях и завязывали свои малахаи.

— Что вы собираетесь делать? — спросил их Абай.

— То, что полагается во время набега. Что туг особенного? — ответил Жумагул. В голосе его звучало раздражение.

— Нет, ты не сделаешь этого! Послушай меня! — начал было Абай.

— Э-э, не предлагаешь ли ты мне ослушаться мирзы? — резко перебил Жумагул.

Абай вспыхнул и вплотную подошел к нему.

— Не бесись! Постой! — крикнул он. Глаза его налились кровью. Бледное лицо потемнело. Пальцы сжались в кулак. Жигиты невольно остановились.

— Гнать и бить лошадей не смейте! Просто скажите табунщикам, чтобы уходили отсюда, и вернитесь!

— А как же приказание?

— Вот это и есть приказание! Я сказал! Попробуй только поступить иначе, жестоко поплатишься! — пригрозил Абай.

И голос и вид его были настолько необычны, что Мирзахан и Жумагул невольно призадумались отъезжая. Абай с тем же решительным видом вошел о юрту и твердо обратился к Кунанбаю.

— Отец, на наших широких жайляу корму летом более чем достаточно. Зачем же так скупиться и озлоблять родичей? — спросил он.

Кунанбай холодно повернулся к нему.

— Ты, наверное, думаешь, что за Байсала некому заступиться? — едко спросил он. — По-твоему, может быть, он не должен возвращать мне мое зимовье?

Абай не сдавался. Он продолжал так же твердо:

— Так ведь то — зимовье, здесь — жайляу!

— А разве счеты за зимовье не сводят на жайляу? Разве справедливо было, по-твоему, воспользоваться моим несчастьем и захватить мою землю?

Абай, помолчав, сказал возможно спокойнее:

— Говоря правду, начал насилие не Байсал, а мы сами… Не он ли все эти годы просил вас только об одном зимовье? Не из-за этого ли зимовья он когда-то последовал за вами и участвовал в избиении Божея?.. Отбирать единственный полученный им клок земли — несправедливо. Вот из таких дел и разгорается…

Отец резко оборвал его, стараясь все же сдержать свой гнев:

— Довольно, не болтай! Не тебе со мной спорить! Абай переждал с минуту, но затем заговорил снова:

— Пойти на ссору из-за выгона на таком огромном жайляу — недостойное дело…

Раньше, когда разговор шел о делах рода, Абай боялся высказываться открыто, он говорил осторожно, робко и путался, словно язык отказывался повиноваться ему. Но сейчас Кунанбай почувствовал в голосе сына что-то новое.

Он оглянулся.

Зере и Улжан молча внимательно прислушивались к их разговору. Может быть, и они думают так же, но не осмеливаются говорить открыто, в глаза? Кунанбай невольно остановился. Несколько минут он сидел неподвижно, потом прилег на бок, подперев голову рукой; Абай тотчас подал ему подушку, Кунанбай подложил ее под руку, повернулся к сыну спиной и глубоко задумался.

Не встретив резкого отпора, Абай решил перейти к другому делу.

— В семье и дети и все близкие должны делиться с вами тем, что их тревожит. Разве хорошо, если они не смеют сказать и принуждены все скрывать от вас? Вы тоже должны выслушивать их и знать их мнение! — начал он.

С религиозным отцом лучше было, пожалуй, разговаривать книжным языком, упомянуть о первой и второй заповедях. Расчет Абая оказался верным, Кунанбай искоса посмотрел на него и явно приготовился слушать. Абай заговорил свободнее:

— Разрешите мне сказать еще об одном деле: об асе Божея. На нас, его сородичах, лежит много обязанностей, а мы их до сих пор не выполнили. О прошлом теперь говорить поздно. Но нынче все готовятся к асу. Он будет испытанием не одних жигитеков: этот ас — проверка человечности, кровного родства, совести… Когда Божей умер, мы остались в стороне. Теперь мы обязаны участвовать в асе!

Все горькие обиды истекшего года встали в памяти Кунанбая.

— Что же я должен делать? Навязываться, когда не приглашают? Идти самому и получить пинок в грудь, как в прошлом году? — сразу ощетинился он.

— Вам и не надо ездить самому, пошлите нас. Мы поедем и примем участие, этого будет достаточно… Если вы позволите, я занялся бы этим делом сам. Дайте мне в помощь только Изгутты **и**  позвольте мне и моим матерям израсходовать нужное количество скота и средств, — предложил Абай.

Кунанбай поднял голову, надел шапку и встал. Все внимательно смотрели на него, и в их безмолвном ожидании звучали и просьба инадежда. Кунанбай внутренне не одобрял их замыслов **и**  процедил сквозь зубы:

— Как хотите! Хоть лбом бейте перед Байдалы и Байсалом!.. — **и**  вышел из юрты.

И все-таки это было согласие. Вынужденное ли, или данное **в**  порыве злости — Абай не стал задумываться. Достаточно и того, что отец не будет возражать в дальнейшем!.. Он начал совещаться с матерями и поделился с ними своими планами относительно аса. Он все обдумал по-деловому.

Зере и Улжан решили, что самым лучшим помощником Абая будет Изгутты. Они в тот же день вызвали его и поручили ему помогать юноше подготовиться к поминкам. Из братьев Абай привлек одного Кудайберды. Он долго беседовал с ним, рассказал ему все, что собирался сделать, и обо всем договорился; Кудайберды обещал свою помощь везде, где она понадобится.

Ербол, собираясь уезжать к себе, отвел Абая в сторону.

— Я тебя отозвал не по делу. Абай. Я просто хотел сказать тебе, что, когда ты днем разговаривал с отцом, я радовался за тебя и гордился моей дружбой с тобою. Я съезжу домой, вернусь и, в чем смогу, буду помогать тебе.

На другой же день Абай был на коне. В сопровождении Жумабая и Мирзахана он направился по гребню Казбала и, миновав многочисленные аулы жигитеков и котибаков, подъехал к аулу Божея, расположенному в кольце других стоянок.

Все аулы готовились к асу. На холме, поднимавшемся возле аула Божея, было расставлено огромное количество юрт. До аса оставались считанные дни. Все торопились. Мужчины поголовно были на конях. Верблюды, нагруженные юртами, предназначавшимися для аса, шли вереницами со всех сторон и целым потоком стекались к возвышенности.

Прежде всего Абай зашел со своими товарищами в траурную юрту и совершил поминальное чтение. Большая юрта оставалась неизменной: тот же бело-черный стяг с правой стороны, то же богатое убранство внутри, те же украшения… Так юрта ждет годовщины и остается торжественно-печальной. Осиротевшая одежда хозяина висит в ней с правой стороны на богатой узорчатой кошме.

Устроители аса собрались подле аула. Абай с товарищами выпили кумысу в юрте Божея и, выйдя из нее, направились к небольшому холмику, на котором происходил сбор. Отсюда то **и**  дело мчались верховые со всевозможными поручениями. Посреди собравшихся сидели старейшины — Байдалы, Байсал и Суюндик.

Байдалы заметно постарел за этот год. Прибавилась седина в волосах и в бороде — они стали совсем серебряными. Когда Абай подошел и отдал салем, аксакалы встретили его приветливо, без тени прежней суровости. Байдалы и Суюндик спросили о здоровье Зере и Улжан и усадили его возле себя. В толпе жигитов, внимательно следивших за малейшим движением старейшин в ожидании приказаний, находился и Жиренше, которого Абай хорошо знал с давних пор. Но со времени размолвки Байсала с Кунанбаем Абай встретился с Жиренше в первый раз. Тот тоже приветливо поздоровался с Абаем.

С появлением Абая старейшины прервали начатый разговор. Некоторое время все сидели молча. Абай обратился к Байдалы.

— Байдаш-ага, — начал он.

Он был немногословен, но излагал дело с достоинством, умело, не торопясь.

Его матери во главе с Зере передают салем всем собравшимся здесь. Абай приехал от них. Они намерены принять посильное участие в асе Божея. Прошлый раз опоздали, но теперь решили не отставать и прислали его от искреннего сердца.

Байдалы внимательно выслушал юношу.

— Родичи довольны тобой, дорогой мой! Дай бог тебе успеха! Скажи нам, с чего думаешь начать? — спросил он.

Абай повторил все, о чем еще вчера говорил матерям, Изгутты и Кудайберды.

Он хочет получить место на равнине, отведенной под юрты для приезжающих. Он обещает не позже сегодняшнего вечера поставить десять больших юрт. В них можно будет разместить триста человек. Заботу об их угощении он берет на себя. Посуда и вся необходимая утварь тоже будет от него. Пусть аксакалы окажут доверие и решат, как ему поступать дальше. Насколько он понял, каждый из окрестных аулов берет на себя заботу о гостях из какого-нибудь определенного рода, он тоже просит старейшин указать, кого он должен принять. Мало того, он просит, чтобы ему был предоставлен уход за кем-нибудь из именитых гостей.

Все дальнейшее Байдалы, Байсал и Суюндик обсуждали совместно с Абаем.

На ас ожидают прибытия крупных родов из самых отдаленных мест — из Каркаралы, из Семиречья, с низовий Иртыша, с берегов озера Балхаш. — Но среди них есть гости совсем особые — это родичи со стороны матери Божея, из племени Найман. В давние времена в их роде был знаменитый муж, носивший имя Божея; Кенгирбай подружился с ним и сосватал его дочь своему сыну Ералы. У них родился покойный Божей, которого назвали так в память его знаменитого деда. Байдалы еще зимой известил племя Найман о предстоящем асе. Недавно оттуда получено известие: родичи Божея готовятся приехать на ас.

— Раз он просит выделить ему гостей, не поручить ли ему заботу об этих родичах Божея? — послышались голоса.

Абай подхватил эти слова.

Очевидно, Абай сумел заслужить полное доверие сбора, — забота о таких гостях требует особого внимании и обходительности.

— Отлично, Байдаш-ага, остановимся на этом, — сказал он. — Мы берем на себя прием сородичей Божекена из Иаймана. Поручите их нам.

Сбор не стал возражать. До сих пор в племени Найман слышали только о ссорах и междоусобиях между Кунанбаем и Божеем, — пусть увидят теперь, как почитается память умершего! Правда, никто не сказал этого вслух, но каждый понимал все так же ясно, как понимал это сам Абай.

Юноша попросил дать в его распоряжение двух жигитов, которые хорошо осведомлены обо всех приготовлениях к асу, начатых другими аулами. Байдалы назвал Ербола и Жиренше.

Теперь нельзя было терять ни одной минуты. Абай поднялся. Суюндик окинул его довольным взглядом.

— Есть ли на свете что-нибудь заразительнее дурного примера? — сказал он. — Тот, кто ищет зла, ищет его не от избытка ума, но зло не приносит ни пользы, ни обилия. Тем более надо ценить тех, кто ищет добра. Я вижу, сын мой, что намерения твои искренни и путь твой верен. Дай бог тебе успеха! — закончил он.

Абая радовала эта встреча, — его приняли, как своего, и не оттолкнули. Повеселевший и довольный, он сел на коня и вместе с Жиренше и Ерболом объехал долину, где ставились юрты. Посоветовавшись с жигитами, он наметил место для своих юрт и для установки котлов. По поручению Абая, Ербол и Мирзахан поставили метки и сами остались на выбранных местах для встречи людей, которых Абай сегодня же пришлет со скотом, юртами и утварью.

Абай решал быстро, распоряжался спокойно и уверенно. И когда он отъехал от оставшихся, Жиренше сказал довольным тоном:

— Смотрите, Абай стал совсем взрослым! Дай бог, чтобы он сдержал свои обещания…

— Сдержит. Он все сделает, вот увидишь! — ответил Ербол убежденно.

Уезжая из дому, Абай просил, чтобы подготовку начинали без него. В ауле Улжан уже кипела работа. Все указания давали сама Улжан, Изгутты и Кудайберды. Еще до отъезда Абай объехал на своем золотистом иноходце все аулы Иргизбая, осматривая юрты, отобранные для приема гостей. Две из них, поношенный войлок которых не понравился ему, он приказал заменить лучшими.

Как только он вернулся домой, все десять юрт были сложены и приготовлены к отправке. Вечером целый караван длинной вереницей потянулся в Казбала. Здесь были юрты, тюки с коврами, узорчатыми кошмами, занавесями, одеялами, подушками. Полотенца и скатерти, белоснежные, нарядно расшитые, были отобраны самой Улжан. Посуду и котлы выслали отдельно. С караваном уехали и жигиты, которым было поручено поставить юрты, украсить их и остаться для обслуживания гостей.

Первый шаг был сделан. Проводив караван, все собрались возле Большой юрты, чтобы обсудить, как лучше устроить все остальное, сколько послать скота на убой, как доставлять кумыс. Улжан заботилась об устройстве кухни и приготовлении угощения; она предупреждала, что тут потребуется большое уменье, и наконец объявила, что поедет завтра сама вместе с Айгыз и Сары-апа.

Зере обратилась к собравшимся родичам:

— Решить вы решили. Теперь нужно делать. И делать так, чтобы мои дети не ударили лицом в грязь перед гостями, которые приедут издалека. Если каждый из вас хочет быть настоящим человеком, забудьте о прежних ссорах! Раз мы не сумели сохранить дружбу Божея при его жизни — не наживите теперь проклятия от его праха!.. Сыновья мои, невестки мои, будьте предупредительны и внимательны к гостям! Истинный муж проявляет свое достоинство не только в походе и набеге, но и в обращении с людьми. Умирайте от усталости, по не хмурьтесь! Ухаживайте за гостями бодро, радостно, по не шумите и не теряйте меры! Будьте спокойны, немногословны и скромны! Если вы этого не сумеете — говорю перед всем родом нашим, — лучше мне живой лечь в могилу!

Большой аул всю ночь продолжал деятельно готовиться и к утру отправил к месту аса еще один караван — с кухонными юртами. С восходом солнца тронулась в путь и Улжан в сопровождении Айгыз и Сары-апа. Последними выехали Абай и Изгутты.

Юрты, присланные накануне, уже были установлены на равнине Казбала. Их внутреннее убранство тоже было закончено. Жигиты стояли на своих местах около дверей. В каждой юрте у входа возвышались объемистые саба с кумысом.

Улжан самозабвенно взялась за работу. Ей хотелось, чтобы юрты, поставленные Абаем, превзошли все остальные, и она заботилась, чтобы угощение, особенно для почетных гостей, было обильным и изысканным. У реки, где поставили кухонные юрты, начали бить скот, палить его и закладывать котлы.

Юрты Абая уже и сейчас отличались от всех остальных, стоящих вокруг. Торжественно-нарядные и снаружи и внутри, они были достойны самых именитых гостей. Суюндик и Байдалы осмотрели их и, сойдя с коней около кухонь, поздоровались с Улжан. Увидев заботливые приготовления, они остались очень довольны.

Перед их отъездом Улжан отвела Байдалы в сторону.

— Угощение и заботы о гостях — само собою, — сказала она. — Но завтра состоятся скачки и борьба. Будут присуждаться ценные призы. Вы уже выделили для байги девятку[103] во главе с верблюдом. Сын мой хочет внести и свою долю. По его желанию я привезла вот это. — И Улжан подала ему сверток, перевязанный шелковым шнурком. — Пусть это возглавляет одну из девяток!

Это был большой слиток серебра — тай-туяк.

Приближался вечер. Угощение было готово. Первые гости хлынули в Казбала.

Байдалы, Суюндик и Изгутты, стоя на возвышенности, уже давно встречали прибывающих. Гости приближались со всех сторон по сорок-пятьдесят человек. Навстречу каждой группе летел верховой жигит, расспрашивал, откуда приехали гости, и провожал их к старейшинам, стоявшим на холме. По обычаю, прибывшие должны сначала поздороваться с устроителями аса, выразить свои добрые пожелания торжеству — и только тогда направиться в отведенные им юрты.

Сам Абай со своими сорока жигитами находился около гостиных юрт и ожидал прибытия самых почетных гостей из Семиречья.

К закату гостей прибыло несколько тысяч. Большинство юрт, выставленных жигитеками, котибаками и бокенши, было уже полно.

Гости Абая приехали только в сумерки.

Брат матери Божея был представительный аксакал. Он прибыл в сопровождении многочисленной толпы родичей. Подъехав к возвышенности, он сошел с коня и поздоровался с устроителями аса, обняв каждого из них. Старика окружили ближайшие родственники Божея по материнской ветви — их было около шестидесяти человек. За ними следовала огромная толпа в шапках и малахаях племени Найман.

Изгутты и Суюндик пошли впереди, указывая почетным гостям и их спутникам отведенные им юрты.

Абай со своими жигитами радушно встретил приехавших и помог им сойти с коней. Суюндик представил Абая аксакалу и объяснил, что это сын Кунанбая.

— Добро пожаловать, — низко поклонился Абай, встречая гостей.

Еще не сходя с коней, родные Божея заметили особое убранство отведенных им десяти юрт. А те из гостей, кто остановился в другом месте, спрашивали с восхищением: «Кому отведены эти юрты? Кого там разместят?» И тут же узнавали, что юрты поставлены сыном Кунанбая и что они предназначены для родни Божея.

Старого дядю Божея с несколькими аксакалами Абай сам провел в среднюю юрту, убранную богаче всех остальных. Других гостей встречали заботливые жигиты и с радушием отводили в приготовленные для них юрты. Родные Божея из Наймана привели для скачек одного вороного и двух серых скакунов. Гривы и хвосты коней были тщательно заплетены, на челках красовались пучки перьев. На конях сидели ловкие мальчики. Абай поручил своим жигитам заботу и о конях и о наездниках.

Остальных гостей не пришлось ждать долго, — они подъезжали одни за другими. В сумерках стало трудно распознавать одежду и снаряжение прибывших, не было видно, к какому роду они принадлежат. Одни ехали на вороных конях, другие на серых. Только когда на них падал свет, поблескивало серебро их седел. К темноте шесть юрт из десяти были заняты.

Волнение немного улеглось, и Абай решил, что все остальные приедут завтра. Он приказал разносить угощение. Но в эту минуту Ербол тихо сообщил:

— Прибыло еще много гостей!

Абаи с жигитами быстро вышел к гостям и почтительно встретил их. Пользуясь близостью расстояния, приехали целой толпой гости из Сыбана. Теперь прибыли все, кого ожидал Абай. Он разместил их в свободных юртах и сразу же со всеми жигитами приступил к угощению. Начали с кумыса, потом подали чай, а после него — горячие мясные блюда, доставляемые на конях.

Родичи Божея, утомленные дальней дорогой, уже легли спать. Абай, весь вечер занятый ими, теперь перешел к гостям из Сыбана. Самым старшим из них был акын Кадырбай, сын знаменитого своим красноречием Айтайлака. В молодости Кадырбай состязался с известным акыном Садаком и был прозван «мальчиком-акыном». Он победил Садака. Многие из его песен были хорошо известны Абаю, большинство из них он знал наизусть. Юноша очень обрадовался, что Кадырбай оказался в числе его гостей.

Старику сразу же сообщили, что ему и его спутникам отведены юрты Кунанбая, да и он сам по изысканности блюд, богатству посулы и обилию сластей догадывался, кто хозяин этих юрт. Ему сообщили также, что весь прием гостей устроил юноша— сын Кунанбая. Теперь, когда Абай пришел сам, Кадырбай принял его с искренней теплотой.

— Подойди сюда! — подозвал он Абая и сам подал ему кумыс.

Белобородый, величественный Кадырбай с его светлым, приветливым лицом произвел на Абая сильное впечатление. Старик расспросил юношу о здоровье его родителей и поблагодарил за оказанное внимание и угощение.

Абай, не задавая вопросов сам, только отвечал Кадырбаю. Ответы его были немногословны, но толковы. Юноша, видимо, понравился гостю, и тот захотел вызвать его на разговор.

— Барлас-акын рассказал мне как-то. — начал он, — что у Кунекена есть сын, недавно вернувшийся с ученья. Если я не ошибаюсь, он сказал мне, что этот юноша — сын Улжан, воспитывается у Зере и большой любитель песен. Не ты ли это?..

Абай застенчиво улыбнулся.

— Барлас-акын одно время гостил у нас, — ответил он и прямо взглянул в лицо Кадырбая.

Тот продолжал:

— Твой отец не отличается любовью к песням, — не обижайся на меня: я ведь ровесник твоего отца, а потому могу говорить о нем не стесняясь… Скажи мне: как же ты-то пристрастился к ним?

Абаю хотелось ответить, и слова для ответа вертелись у него на языке, но хозяину не полагается самому долго говорить, да и не покажется ли гостям неприличной вольностью многословный разговор со стариком?.. Он в нерешительности задумался *и*  покачал головой.

Кадырбай уловил его жест.

— Ну вот! Ведь хочешь сказать что-то! Говори, не стесняйся, — подбодрил он.

— Будь по-вашему, Кадеке! — начал Абай. — Простите, если слова мои будут невпопад. Разве есть на свете человек, если только он не глух мыслью, который не любил бы песен? Я уверен, что есть песни, которые нравятся и моему отцу. Может быть, вам известно только его мнение об этой вашей песне:

Ты — аргамак, каких свет не знал,

И честь и славу себе стяжал…—

громко прочел Абай и улыбнулся.

Сидящие переглянулись. Кадырбай рассмеялся,

— Ой, боже мой, значит, ты знаешь об этом случае? — И Кадырбай обвел взглядом всех присутствующих. — Я действительно перехвалил как-то Солтабая, и Кунекен, услышав эту песню, упрекнул меня: «Конечно, Солтабай и богат и властен, но зачем ты так унижаешься перед ним?» Смотрите, как этот юноша поддел меня! — И Кадырбай рассмеялся.

В этой юрте гости засиделись долго и легли поздно. Когда Абай со своими жигитами разостлали поудобнее постели, уложили гостей, закрыли тундук и отошли от гостевых юрт, на востоке показался первый знак приближающегося утра. Возвышенности, в дремоте застывшие южнее Казбала, постепенно светлели. Звезды на небе бледнели и гасли, и в слабом свете утра все ясней выступала вершина, словно недремлющий сторож бугристых отрогов и погруженных в глубокий сон ущелий и оврагов.

Идя к кухонным юртам, Абай, Ербол и Изгутты негромко перекидывались замечаниями:

— Уже утро! Сегодня, как видно, спать не придется…

— Да, теперь не до сна!

И они решили сразу готовиться к наступающему дню, наиболее трудному.

Гости Абая до самого обеда не выходили из юрт. В обед Абай придумал новый порядок угощения, который понравился и самим гостям, и посторонним, и работавшим в кухонных юртах. Для жигитов-подавальщиков подобрали иноходцев с посеребренными седлами, головы жигитов обвязали белыми шелковыми платками. Когда они брали из кухонь блюда с дымящимся мясом и неслись на иноходцах к гостиным юртам, сверкая серебряными украшениями, казалось — вся равнина кругом начинала снять. Приезжие родичи Божея ни в чем не могли упрекнуть хозяев юрт: уход за ними и угощение далеко превзошли все ожидания.

К концу обеда Байсал в сопровождении пятнадцати жигитов выехал на возвышенность с поднятым стягом. Это был знак, чтобы все седлали коней и выезжали за ним: начиналась байга, борьба и состязание на конях — главнейшая часть поминального пира. Бегуны с переплетенными гривами мерно и плавно понеслись к месту сбора. В одну минуту все были на конях. Громкий говор, толки, шум поднялись в оживленной толпе.

Абай не видел, много ли собралось народу. Он и не предполагал ехать со всеми, — его гости, собравшиеся из дальних мест, сегодня в обратный путь не двинутся, значит, нужно позаботиться о вечернем угощении. Поэтому и сам он и Изгутты были заняты. Их жигиты тоже ни на шаг не отлучались от них — Абай не отпустил ни одного. Только Ербол не устоял перед соблазном.

— Я хоть новости вам сообщу — расскажу, что там делается! — И он стремглав ускакал на место сбора.

Он часто возвращался с новостями. Еще никто не знал, сколько человек собралось со вчерашнего дня. Он уверял, что съехалось несколько тысяч.

Гости Абая в ожидании знака тоже сели на коней. Байсал с призывным кличем поднял стяг и помчался в сторону Карашокы. Там простиралась широкая равнина, скачки должны были происходить на ней. Как только стяг полетел вперед, верховые, ждавшие знака, сплошным потоком хлынули за ним. Абай, глядя со стороны, убедился, что гостей собралось огромное количество. Улжан, Айгыз и слуги, выйдя из юрт, с удивлением смотрели на непрерывный людской поток.

Огромная толпа всадников двигалась мимо них одним только своим краем, другого не было видно. Она текла непрерывными волнами. Она неслась, как гонимая ветром туча. Здесь собрались все, кто только мог сидеть на коне.

Ербол сообщил число коней; участвующих в состязаниях: оказалось, сто пятьдесят скакунов. Байга предназначалась десяти победителям. Каждая байга состояла из девятки: первая возглавлялась верблюдом, вторая — слитком серебра, вчерашним приношением Улжан. Байга борцам тоже состояла из девяток.

Еще в полдень Улжан вызвала Абая и сказала ему, что если гости останутся и завтра, то угощения не хватит. Вот почему Абай не мог присутствовать на торжестве: он спешно послал Мирзахана и Изгутты домой — просить Кудайберды немедленно пригнать пять отгульных стригунов и напомнить, чтобы завтра не оставили гостей без кумыса. Большинство разъедется сегодня вечером, но гости Абая задержатся еще на сутки. Для него этот ас — тяжелые хлопоты, не прекращающиеся ни днем, ни ночью, сутолока непрерывного ухода за приезжими.

Вечером гости вернулись усталые, изнемогающие от жажды. Их встретили такие же приветливые, как вчера, ловкие жигиты. Сначала они утолили жажду гостей прохладным кумысом, а затем подали чай. Жигиты по двое вносили огромные самовары, пыхтевшие клубами пара. В юртах сразу же становилось весело и уютно. Сегодня и гостеприимство и обилие угощения у Абая превзошли вчерашнее. К вечеру Байдалы, Байсал и Суюндик тоже пришли сюда. Улжан и Абай нарочно пригласили их в юрты приезжих родичей Божея, — им хотелось, чтобы старейшины-устроители своими глазами убедились в обилии и изысканности угощения и в радушном гостеприимстве иргизбаев.

Абай и в эту ночь не сомкнул глаз, третья ночь была также полна забот и волнений.

На следующий день, по распоряжению Абая, обед был приготовлен и подан раньше обычного. После угощения аксакал — дядя Божея, приехавший из Наймана, вызвал Абая, горячо поблагодарил и от всего сердца благословил его.

Улжан, Изгутты и Ербол с беспокойством заметили, как изменился Абай за эти дни. Его лицо осунулось, он был смертельно бледен, точно после тяжелой болезни: глаза покраснели, щеки ввалились.

Но Изгутты и Ербол сами были переутомлены донельзя. Все трое стали подсмеиваться над собственным видом и шутливо переговаривались:

— Мы похожи сейчас на ту серую клячу Караши, которую вчера в самый зной послали на байгу! — посмеивался Ербол.

— Я мечтаю только о сне, готов свалиться тут же на месте! — признался Абай.

Но в эту минуту к ним подошел Байдалы и позвал их в юрту Божея. Ас еще не кончился, предстояло его завершение: следовало заколоть траурных коней Божея, разобрать и раздать траурное убранство юрты.

Близкие родичи не могут отказываться от этого. Все тобыктинцы во главе с дядей Божея приступили к завершению поминок. Когда Байдалы в сопровождении толпы родичей подошел к юрте, женщины, целый год соблюдавшие траур, вышли им навстречу. Байдалы снял с юрты бело-черный стяг и передал Байсалу. Тот, как требовал обычай, бросил стяг на землю и переломил его древко. Ас кончился. Трауру исполнился год.

По приглашению Байдалы Суюндик с толпою родичей вошел в юрту и начал снимать траурное убранство. Это был второй знак. В ту же минуту байбише и две дочери Божея, повернувшись спиною к собравшимся, начали поминальный плач. Сидевшие в юрте молча плакали. Это был последний плач, последние слезы, посвященные памяти Божея. Последний раз был прочитан коран, совершено последнее моленье. Все вышли из юрты.

К ней подвели двух траурных коней Божея. Они разжирели и успели одичать. Со слезами на глазах родичи свалили коней, и Байдалы собственноручно зарезал их.

Все трое — и Байсал, повергший на землю траурный стяг, и Суюндик, разобравший траурную юрту, и Байдалы, зарезавший коней, — были самыми старшими и близкими друзьями Божея, поэтому право на совершение последних обрядов аса, по обычаю, принадлежало им.

Уехать, не прикоснувшись к поминальному угощению — мясу зарезанных коней, было нельзя. Абай с трудом дождался этой минуты.

Вечером после угощения в траурной юрте Абай простился со старшими и собрался в обратный путь. Байсал подозвал его, на мгновение приник лицом к его лбу и сказал:

— Сын мой, до сих пор мне приходилось разговаривать с тобою и высказывать тебе мои чувства. Но я храню в памяти все, что видел и пережил. Когда-то в Каркаралы Божекен был тронут твоим поступком и дал тебе благословение, — ты помнишь его слова? Он ожидал от тебя многого и потому благословил тебя. Тогда я отнесся к тебе холодно. Но с тех пор я не раз слышал, как ты говорил о справедливости. А в эти дни ты показал себя истинным братом Божекена. Старайся оправдать лучшие надежды твоих старших родичей! Я уверен, что ты сумеешь оправдать их, свет мой! Только бы проклятая жизнь не заставила тебя оступиться… Твое будущее перед тобою. Ты держишься правильного пути. Дай бог тебе на нем успеха! — И Байсал благословил Абая.

Байдалы, Суюндик и Кулиншак сердечно поддержали Байсала и присоединились к его благословению. Абай благодарил аксакалов за добрые пожелания.

Он простился со всеми и тронулся в путь вместе с Ерболом. Улжан уже успела уехать на своей повозке. Едва держась на конях от усталости, Абай и Ербол то шагом, то рысью добрались до Ботакана. Улжан приехала раньше их, велела прибрать Гостиную юрту и приготовить им постель.

Вернувшись в аул, Абай вошел в Большую юрту, поздоровался с бабушкой и тут же повернулся к Улжан. — Спать, спать!.. Апа, мне только спать! — воскликнул он.

Улжан подала обоим друзьям по чашке кумысу, отвела их в Гостиную юрту, уложила и заботливо укрыла.

Они захрапели, едва коснувшись головой подушки, и проснулись только к обеду следующего дня. Попив кумысу, они опять легли и проспали до самого вечера. В сумерках друзья проснулась, немного посидели полусонные и свалились опять. Они встряхнулась к пришли в себя только ив третий день к обеду.

Абой не подозревал, что за это время многоустая молва принесла ему славу известного, уважаемого всеми жигита.

3

Все жайляу жило впечатлениями от аса Божея. Его устроители, участники и даже те, кто просидел дома и знал все лишь с чужих слов, — все только о нем и говорили. Молва обежала не одни аулы Тобыкты, но и аулы дальних родичей и чужие отдаленные племена. Абай, без сна и отдыха самоотверженно хлопотавший вокруг гостей, и представить себе не мог всей грандиозности и пышности минувшего торжества.

Действительно, поминки Божея получили заслуженную славу небывалого аса не только в Тобыкты, но и во всем крае. Щедрость, радушие — все могло служить примером для многих поколений.

Словоохотливые старики, общительная молодежь, женщины и дети не переставали обсуждать событие. О нем будут рассказывать были и небылицы не только все лето, но и осень и зиму. И как всегда, в памяти у всех останутся и имена борцов-победителей, и клички коней, выигравших байгу, и меткие шутки, и люди, отличившиеся красноречием и находчивостью во время торжества.

Имя Божея станет излюбленным в Тобыкты при наречении новорожденных. Ас приобретает такую славу, что по нему будут определять возраст детей — и притом не только тех, которые родились в год поминок, — будут говорить: «Он родился за пять лет до аса Божея» или «через два года после аса». Помолвки, торжественные поездки женихов, свадьбы, совершенные в это время, обрезании, смерти — все станут исчислять от аса. Даже о выдающихся скакунах, выигравших впоследствии байгу, скажут, что в год аса он был стригуном, или родился в том же году, или был тогда четырехлеткой. Знаменитые асы всегда становились памятной датой и даже вехой счета лет: они жили в воспоминаниях многих поколений. Асы Аблая и Бопы, состоявшиеся бог весть когда, не забыты до сих пор.

Общая молва и восторженные рассказы эхом пронеслись по всему Чингизу, по просторным жайляу, по ущельям, оврагам и долинам. Имена людей, отличившихся на асе своей щедростью, гостеприимством, богатством угощений и заботливостью о гостях, попали в общий поток восхищения и приобрели громкую славу.

Имена устроителей аса — Байдалы, Байсала и Суюндика — стояли особо, но имя юного Абая своей славой превзошло даже их. Рассказы о нем передавались повсюду.

Рассказчики начинали со спора Абая с Кунанбаем. Они с восхищением говорили о смелом упреке, брошенном юношей суровому отцу, у которого, казалось, никогда не оттаивало заледеневшее сердце. Радушная, гостеприимная встреча, предупредительное обращение с гостями и уход за ними в юртах Абая выделялись на всем многотысячном сборище и смело могли служить примером для всех остальных. Абай сумел угодить всем своим гостям, расположил их к себе и получил их благословение. Это прекрасный юноша, он желает блага народу и болеет за него душой.

Многие старики толковали о заслугах Зере и Улжан: «Старая Зере — мудрая мать. Она отдает народу свои последние годы: всем желает добра, мира, спокойствия. Она сама воспитала своего внука, с надеждой взлелеяла его на груди — и ее ожидания оправдались!..»— с гордостью говорили о ней. Не скупились и на похвалу Улжан, которая сама поехала на ас, чтобы помогать сыну.

Пока Абай отсыпался, эта волна восхищения и благодарности уже успела проникнуть в Большой аул. Даже люди из чужих племен, побывавших в аулах жигитеков, котибаков и бокенши, приносили с собой эти вести. Каратай вернулся, объездив род Кокше вдоль течения Баканаса; молва дошла и туда, говорил, он. То же твердили и в племени Керей, кочевавшем по низовьям Баканаса и Байкошкара в пределах совсем другого округа.

На третий день после возвращения Абай и Ербол наконец, поднялись с постели, пошли на реку, выкупались и, освеженные, вернулись к чаю.

Зере подозвала внука, усадила возле себя и сама подала ему чай.

— Дорогой ты мой, ягненочек мой черный! — сказала она и погладила внука по спине.

Улжан поднесла Абаю на большом блюде баранью голову и бок.[104]

— Твои матери закололи барана в честь того, что ты вырос и возмужал, — сказала она.

Абай удивился.

— Апа, за что это?

— Вы оба проспали и ничего не знаете! Люди хвалят, говорят, что ты стал человеком, — вот за что! Все родичи довольны твоими трудами! — объяснила Улжан.

— Боже мой, вот так труд! Подумаешь— гору своротили!.. Скажите лучше, что просто нужен был повод, чтобы заколоть бедного ягненка!.. Ну что же, поедим, Ербол! — И Абай, смеясь, принялся делить голову.

Прошло дней пять. Ербол уехал к себе, но неожиданно вернулся обратно на взмыленном коне и на всем скаку подлетел к Абаю, бродившему возле аула. Сердце Абая забилось надеждой. Ерболу уже давно не удавалось ничего сообщить ему о Тогжан. Теперь он быстро сорвал шапку с головы Абая.

— Суюнши! — закричал он.

Они без слов поняли друг друга и рассмеялись.

— Все удалось как нельзя лучше! — сказал Ербол, улыбаясь. — Младший сын Суюндика, Адильбек, только что отправился в поездку к невесте. С ним уехали все мужчины. Я все не мог повидать не только Тогжан, но и Карашаш: Адильбек начал что-то на меня коситься. А сегодня я обо всем переговорил с женге. Тогжан скучает по тебе, Карашаш говорит, что она часто тебя вспоминает. После аса люди хвалят тебя, разговоры о тебе идут повсюду. И женге и Тогжан так и говорят, что во всем крае нет жигита, который мог бы сравниться с Абаем… Теперь решайся: хоть раз покажись им! Я с этим и приехал. Подробно обо всем поговорим дорогой, вели скорей седлать коня, поедем вместе!

Абай побледнел от неожиданной радости. Начинало смеркаться, когда они отправились на жайляу бокенши,

Абай ехал на золотистом белогривом иноходце, Ербол на светло-сером коне. На обоих были серые чапаны и шапки; кони, одежда — все сливалось с вечерней мглой, все рассчитано на то, чтобы как можно меньше привлекать внимания. Поэтому же они предпочли и более длинный путь, в объезд аулов, где ночная поездка двух жигитов могла вызвать подозрения.

Взошла луна. Наступила тихая, спокойная ночь. Ширь степи, холмы и предгорья дремали в голубоватом тумане, точно укутанные шелковою пеленою ночи. Мир был овеян тихой, безмолвной грустью. Когда Абай взглядывал на луну, одинокую, тоскливо плывущую по небу, еле слышный вздох вырывался из его груди.

При одном воспоминании о Тогжан сердце его мгновенно наполнялось тоской.

Он уже взрослый, самостоятельный жигит. Жизнь, которая озарила утро его молодости красотой и трогательной нежностью лучезарной Тогжан, тут же воздвигла между ними горы, непреодолимые препятствия. Их души отдались друг другу без колебаний, без размышлений, они доверчиво и преданно протянули друг другу руки, но их мечты несбыточны: у него опутаны ноги, на нее накинута узда. И все-таки через все преграды они неудержимо стремятся друг к другу. Но забыть о путах, стянувших им руки и ноги, они тоже не могут. И вот — каждый порыв вызывает у них тоскливую боль сожалений и грусти.

По возвращении от невесты Абаю один раз удалось передать привет любимой. Он просил разрешения повидаться с нею. Услышав это, Тогжан вздрогнула.

— Зачем? — сказала она. — Для чего нам искать встречи? Неужели он сам не понимает этого?.. — Горечь обиды звучала в ее словах.

Оправданий Абаю она не находила. Правда, он не любил Дильду, но вернулся от нее примирившийся с будущим, покорный велению судьбы. У Тогжан тоже был жених, и она тоже не питала к нему никакого чувства, но она отгоняла от себя всякую мысль *об*  этом женихе с тех пор, как полюбила Абая. Ее сердце страшилось и чуждалось его. А Абай поехал к невесте!.. Он прошел через перевал, разъединивший их, казалось, навеки. Сколько слез пролила тогда Тогжан, как исхудала в те дни!..

Подгоняя коней, Абай и Ербол подъехали к жайляу Бокенши в час, когда люди ложатся на покой. Явиться открыто, как гости, было уже поздно.

Широкие луга здесь с двух сторон окаймлялись возвышенностями. Въехав на западный склон, Абай услышал отдаленное пение. Ербол тоже прислушался. Жигиты остановились, напрягая слух. Пение донеслось отчетливо: это пел целый хор, дружный, многоголосый. Так поют женщины, стерегущие стада. Не задерживаясь дольше, жигиты спустились вниз. На зеленом ковре широкой равнины теснились аулы и лежали стада овец. Огни уже были погашены. В безмолвии ночи кругами возвышались белоснежные купола юрт, словно гусиные или утиные яйца в огромных гнездах на каком-то безлюдном острове, — там пять-шесть, здесь — десяток.

Пение разливалось в ночной дымке над сонными аулами и замирало где-то в вышине. Чем ближе подъезжали жигиты, тем слышнее звучали голоса. Широкая равнина пересекалась небольшой речкой, берега которой были покрыты низкорослым кустарником. Абай и Ербол двинулись зарослями вниз по течению реки.

Теперь Ербол мог уже определить, что пение доносилось из аула Суюндика, за которым находился аул самого Ербола. Значит, им придется проезжать мимо места, откуда слышались голоса. Тропинка вывела их к броду. Они переехали на другой берег и пересекли заросли.

Перед ними раскинулась широкая поляна. Аул Суюндика виднелся вдали. Голоса раздавались теперь совсем близко. Знакомый напев «Статный конь» разливался в воздухе: песня, привезенная Абаем и Ерболом из аула Дильды, уже успела облететь эти края, но нежные голоса искажали ее.

Ербол сразу сообразил, в чем дело.

— Э, посмотри-ка, что там делается! У них бастангы![105] Вон на качелях качаются! — сказал он, остановившись. — Давай поедем прямо к ним!

Но Абай сдержал коня.

— Удобно ли? — сказал он. Ербол возразил:

— Никто и не подумает, что мы приехали нарочно. Я сумею вывернуться. Поедем! — И он направил коня вперед.

Абай продолжал колебаться, но все же последовал за другом, положившись на его находчивость.

Качели стояли в стороне от аула на широкой поляне. Кругом собралось много молодежи — жигитов и девушек в камчатных шапках, в бархатных и шелковых чепанах. У некоторых на плечи были наброшены бешметы. Непрерывно звучал многоголосый серебристый звон шолпы. Веселые и нарядные молоденькие женщины в затейливо расшитых головных повязках заразительно смеялись. Жигитов было не много. Тут же сновали целые стаи ребятишек. Две девушки раскачивались на качелях и распевали «Статный конь». Абай и Ербол выехали из лесу и быстро приблизились к качелям, но девушки не заметили их. пока те не подъехали вплотную.

— Да будет веселье! Да умножится радость! — приветствовали всех всадники.

Девушки тотчас же обернулись к жигитам. Среди них находилась жена Асылбека — Карашаш. Ербола все узнали сразу.

— Ербол! Это же Ербол!

— Откуда едете? — обратились к нему женщины. Карашаш узнала Абая.

— Абай! — воскликнула она и приветливо поздоровалась с ним. Услышав имя Абая, молодежь оставила качели. Пение прекратилось.

Тогжан и качавшаяся вместе с ней подруга подошли тоже. Абай давно увидел Тогжан. Встретившись на людях, они оба смутились и едва смогли поздороваться. Подруга ее — Коримбала — не чувствовала никакого стеснения. Поблескивая серьгами, веселая, звонкоголосая девушка поздоровалась с Абаем и сразу затараторила:

— Ну, раз вы приехали в разгар веселья, не чуждайтесь нас! Сходите с коней, покачайтесь с нами!

Карашаш живо поддержала приглашение девушки.

— Ну, слезайте! — И она ободряюще улыбнулась.

Абай и Ербол все еще медлили. Чтобы сразу оградить себя от всяких подозрений, Ербол нарочно громко заговорил:

— Мы ехали в аулы Кокше, что кочуют по Баканасу, но сейчас поздно, и мы решили остановиться в нашем ауле.

— Сходите с коней! — наперебой стали приглашать их женщины и девушки.

— Ну, вот и повеселимся! Оставайтесь ночевать у нас!

— Отведите коней и быстрее возвращайтесь! — заключила Карашаш.

— Да уж не знаю… — начал было Ербол, но Коримбала прервала его:

— Ведь вы недавно вернулись от невесты! Научите-ка вас новым песням!

Все поддержали ее шутку веселым смехом.

Тогжан не могла смеяться. Она стояла молча, не сводя с Абая сияющих глаз. На нем был накинут тонкий чапан, под которым виднелся черный жилет, надетый поверх белой рубашки. На голове — шапка из мерлушки с серебристым шелком. В свете яркой луны было заметно, что лицо его похудело. Внезапно появившийся здесь Абай — привлекательный и нарядный, на коне с посеребренным седлом — был ей по-прежнему близок и дорог.

Друзья тронули коней, дав обещание сейчас же вернуться. Белогривый конь Абая, который нетерпеливо крутился под ним и рыл землю копытом, плавно понесся вперед. Серебро седла и уздечки, блеснув в лунном свете, тускло замерцало, угасая вдали. И, переливаясь в голубоватых лучах, серебряной струей сверкнул пышный, волнистый хвост белогривого коня. Ночной мрак поглотил всадника, Тогжан продолжала стоять молча, прислонясь к качелям.

Карашаш сразу же заметила, как резко изменилась в лице девушка. Чтобы не привлекать внимания других, она обняла Тогжан. Подошли другие женщины. Она сказала, что совещается с Тогжан об угощении, а сама продолжала шептать ей на ухо:

— Начни петь, иначе все заметят… Будь осторожней. Коримбала, подбежав к Тогжан, схватила ее за руку и потащила к качелям.

— Это и есть Абай? Я его в первый раз вижу! Хорошо, что он приехал! Мы заставим его спеть нам песни его новых родичей и разучим их. Ладно? — сказала она.

Тогжан не отвечала. Коримбала быстро оглянулась и спросила насмешливо:

— Что он — аксакал? Есть кого смущаться! Пословица говорит: «Кто не постесняется, тот везде лишку урвет». Где же Абай? Сейчас заставлю его спеть!

Скоро подошли Абай и Ербол.

Ербол сразу сумел завладеть играми и все переделал по-своему. Карашаш и он сам усадили Абая на качели против Коримбалы.

Если на качелях сидят девушка и жигит, последний должен спеть что-нибудь. Коримбала попросила Абая вместе с нею пропеть «Статный конь». Но, подпевая ему, она путалась и искажала не только припев, но и самые строфы песни. Девушки и молодые женщины сразу заметили это:

— Абай поет совсем иначе!

— Коримбала, ты путаешь!

— Сперва выучи, а потом пой вместе! Но Коримбала не смутилась.

— Тогда пусть споет Тогжан! — засмеялась она и, не дав девушке опомниться, усадила ее на свое место.

Она начала изо всех сил раскачивать Абая и Тогжан. Остальные присоединились к ней.

Качели в полный размах взлетали вверх и стремительно опускались. Абай запел. Две первые строфы Тогжан внимательно слушала и запоминала и лишь на третьей стала уверенно к громко подпевать ему. Она сразу исправила те места, которые были искажены в ее ауле.

— Вот теперь правильно!

— Тогжан быстро научилась!

— Пойте! Пойте еще! — закричали со всех сторон.

В те мгновения, когда лунный свет падал на лицо Тогжан, Абай впивался в него взглядом. Нежный румянец, заливавший щеки, без слов выдавал глубокую тайну ее сердца. Казалось, что вместе с Тогжан ее окрыленная душа летит навстречу любимому, с каждым новым взлетом качелей повторяя; «Я с тобою навеки! Что может разлучить нас?» Песня соединяла их сильней и ближе самого крепкого объятия. Это была певучая радость — радость двух сердец, рвущихся друг к другу и торжествующих в своем победном слиянии. «Смотрите на нас! Посмейте осудить нас!»— говорила их песня. Это был вызов окружающим их людям, звездному небосклону с его сияющей луной, всей вселенной.

Песня Тогжан лилась уверенным, неудержимым потоком. На лице девушки светилось безмятежное счастье. Она неотрывно глядела на Абая и улыбалась, сияя всей нежностью, всей чистотой своего чувства, благодарная любимому за то, что он приехал, что разыскал ее в окутавшей ее серой мгле. Черные брови, тонкие, словно крылья ласточки, то разлетались мягко и приветливо, то мгновенно сдвигались над глазами.

Абай сперва говорил о своем чувстве лишь звуками волнующего душу напева, потом слова — живые, открытые, смелые — победной волной влились в звонкую струю песни: «В родниках души своей долго таила любимая сокровенные мысли, скучая о друге, — перестанет ли она теперь упрекать его? Вот он пришел, твердый, решительный, всю сияющую вселенную принес ей — все свои мысли, счастье и мольбу, — что скажет она ему? Если и теперь бессердечная, она отвергнет его порыв, — где же в мире жалость, где справедливость? Беспощадная, не порвет ли она нежнейшую нить его надежды? Так ли виновен ее любимый, чтобы жестоко карать его?»

Песня несла па своих крыльях затаенные мысли Абая. Тогжан подпевала ему, с трепетом слушая тут же рожденные слова. Ей они были понятны. Она склонила голову, опустила вниз свои чудесные черные глаза и вдруг умолкла.

Абай продолжал один. Он спел четыре строфы своей песни на полный трепетного волнения напев «Белая березка» и замолчал на тихой, низкой ноте. В эти строфы он вложил все — все тайные думы, скрытые им в глубине сердца, все неугасимое пламя души поэта и влюбленного, объятого печалью. Ербол не узнавал своего друга: Абай преобразился — казалось, что он, огромный и сильный, парит, распластав в небе могучие крылья.

Пение смолкло. Абай, сойдя с качелей, отошел в сторону. Карашаш говорила что-то, восхищаясь его пением, — Абай только улыбался в ответ… Его мысли были так далеко! Он не понимал ее слов.

Молодежь продолжала веселиться у качелей. Теперь Ербол затеял новые игры: ак-суек — бросание кости, а потом серек-кулак — волк и ягнята. Волком, который должен ловить ягненка и мчаться с ним в сторону, взялся быть сам Ербол. Абай, шутливо болтавший с двумя девушками, согласился быть одним из ягнят.

Ербол оказался очень неглупым волком. Сперва он утащил двух или трех девушек, отвел их в сторону, а потом схватил Абая. Таща свою добычу, он на бегу шепнул ему:

— Спрячься в лозняке и жди меня. Сейчас утащу Тогжан… — И он понесся обратно.

Абай остался в кустарнике, ожидая похищения Тогжан. Ему не пришлось ждать долго, — Ербол тотчас же схватил ее, но на этот раз утащить добычу оказалось не так-то легко, — за ним бросилась целая толпа преследователей во главе с Коримбалой, кричавшей что было сил. Ербол отвел Тогжан в сторону, поставил ее поодаль от того места, где стоял Абай, к шепнув ей что-то на ухо, помчался обратно.

Сквозь темную листву зарослей свет луны проникал бесчисленными серебряными лучиками. Абай сам не заметил, как очутился возле Тогжан.

Они бросились друг к другу, и девушка со слезами упала в его объятия. Плечи ее дрожали, точно в порыве неизъяснимого страха.

— Не плачь, Тогжан, — умолял Абай. Он поцеловал ее и на мгновение прижал к себе.

Она подняла на него взгляд.

— Обними меня… Я так соскучилась…

— Тогжан) Где ты? Не уступлю тебя волку! Иди сюда! — донесся до них звонкий голос Коримбалы.

Абай быстро привлек к себе Тогжан и поцеловал, прикоснувшись губами к ее горящему лицу. Смех Коримбалы приближался, Абай поправил шапку Тогжан и шепнул ей:

— Жди меня завтра…

Луна, пробравшись сквозь густую листву, сверкающими кружочками отразилась в глазах Тогжан и заблестела в крупных слезах, дрожащих на длинных ресницах девушки. Но, когда Коримбала подбежала к ним, они оба стояли рядом, спокойные, ничем не выдавая обуревавшего их волнения. Коримбала, гибкая, веселая, быстро приблизилась к ним. Шапка у нее съехала набекрень, живая улыбка обнажала сверкающий жемчуг зубов. Э-э, вот вы где!.. Я-то боялась, что волк разорвет моего ягненка! А выходит, что надо бояться, как *бы*  его не съел другой ягненок! — расхохоталась она и склонила свою голову на плечо Тогжан.

Шутка шаловливой девушки была безобидной. Но Коримбала не умеет молчать — начнет болтать и там, в толпе… Абай вздрогнул от этой мысли.

— Вини не нас, а волка, Коримбала, — попробовал он отшутиться. — Нас постигла злая судьба, мы попали в зубы волку — вот ждем тут, когда он нас съест!..

Но Коримбала не унималась.

— Рассказывай, рассказывай!.. Что-то тут дело не чисто, признавайся!

Эти слова были еще опаснее. Тогжан вмешалась.

— Перестань, Коримбала! Надо знать меру, — что ты болтаешь? — с досадой сказала она.

Коримбала быстро обернулась и бросила на Тогжан недовольный взгляд. Абай, заметив это, решил действовать спокойным убеждением.

— Люди любят посплетничать, милая Коримбала! Необдуманное слово может повредить твоей подруге. Не лучше ли избегать таких шуток?

Коримбала поняла Абая и снова рассмеялась, но теперь в ее смехе слышалось смущение. Это был смех простодушного, чистого сердцем ребенка, нашалившего и испуганного. Неужели она обидела Тогжан!.. Она бросилась обнимать ее и, идя рядом, повторяла:

— Ну, полно сердиться! Я больше не буду!

Все трое пошли вместе и присоединились к остальным. Игры еще продолжались, но Абай и Ербол не стали задерживаться. Они сказали, что должны уехать ранним утром, поблагодарили за радушный прием и ушли, не дождавшись угощения.

На следующий день, подтверждая свои слова, оба направились на Баканас. Юноши остановились в ауле Каратая и пробыли там до вечера. Только в сумерки, когда жизнь аулов затихает и люди собираются по юртам, они вернулись обратно.

Они приехали тихо, без шума. Даже собаки не заметили двух промелькнувших всадников. Так же тихо, беззвучно проскользнули они в юрту Ербола, стоявшую на краю аула.

Ночью, когда все погрузилось в крепкий сон, Абай и Ербол, точно воры, где — нагнувшись, где — ползком, добрались до юрты Асылбека. Запахнув за собой наружный войлок, они стали осторожно открывать внутреннюю дверь. В юрте кто-то еще не спал — там звенело шолпы. Кроме Тогжан и Карашаш носить шолпы в семье было некому.

Жигиты не ошиблись. Знакомый голос шепнул им:

— Тише! — и женщина сама открыла дверь.

В юрте было темно. Тот же едва слышный голос сказал:

— Абай?

Абай протянул руку. Это была Карашаш. Она поймала руку Абая и, ведя его к переднему месту, шепнула Ерболу:

— Уходи теперь… Он вернется один… Ербол тихо вышел из юрты.

Протянутая вперед рука Абая коснулась шелкового эанавеса. Горячие пальцы Тогжан дотронулись до его щеки… Они бросились друг к другу в объятия и замерли в безмолвном поцелуе. Трепещущее дыхание их слилось в одно, губы сомкнулись, чтобы, казалось, никогда не разъединяться…

Тихая летняя ночь пролетела быстро. Восток окрасился первым лучом новой зари, когда Абай и Ербол выехали из Жанибека.

Аул остался далеко позади. Луна уже зашла, редкие звезды бледнели и гасли. Жаворонки, взвившись над землею, ныряя и кувыркаясь, заливались звонкими трелями.

Сердце Абая трепетало обновленным чувством. Он запел полной грудью.

В песнях его, нежных и волнующих душу, была и радость, наполнявшая его грудь, и тихая грусть. Он пел, пел без конца, легко, свободно — и слова, неведомые ему до той минуты, лились, как родник, неповторимый в своем течении…

Какой дорогой он ехал? Как прошел его путь? Разве он знал это? Перед ним показались купола белых юрт… Он замолчал и повернулся к Ерболу.

Тот смотрел на него с улыбкой: разве для него было тайной то, что звенело в каждом звуке этих напевов? Абай придержал коня и обнял его.

— Не осуждай меня, Ербол… Давно я слышал о счастье, о радости, но до этой ночи я не знал, что значат эти слова. Я не изведал их, не пережил… Да что говорить тебе? Ты сам все видишь и понимаешь! Разве в этих песнях я не открыл всех тайников моего сердца?

Увидеть Тогжан ему больше не удалось. Дошли ли до Адильбека какие-нибудь слухи, или сам он стал что-то подозревать, но, вернувшись в аул и узнав о появлении Абая на вечерних играх, он разбушевался:

— Чего он к нам приезжал? Что ему надо? Был бы я здесь, он бы живым не ушел!

Абай помрачнел. На луну набежали тучи. Раздражать людей, и без того враждовавших с отцом, было опасно. Тем временем аулы откочевали с этого жайляу и расположились далеко друг от друга.

Подавленный тяжелыми мыслями, Абай чувствовал себя одиноким и несчастным; кругом стало так темно, точно кто-то задул светильник в его руках. Абай заметно похудел, как будто его мучил непонятный недуг.

Родные забеспокоились. Чтобы развлечь Абая, они решили опять послать его к невесте. Абай повиновался молча, душа его оставалась холодной и поникшей. Он поехал в Бошан в покорном отчаянии — так изгнанник едет в далекую ссылку.

Он провел там полтора месяца и вернулся с Дильдой.

Приближалось время возвращения на зимовья. Абай был слишком погружен в свои мысли и слишком долго отсутствовал, уезжая за невестой. Он совсем не знал, что происходило кругом, в его родных аулах.

Осенью Кунанбай возобновил нападения на соседей. Первой жертвой оказался Кулиншак, — Кунанбай не мог простить ему избиения своего брага Майбасара, а также и того, что в решительный час Кулиншак перешел на сторону врагов и откочевал к котибакам.

Выждав удобный момент, когда аул Кулиншака, двигаясь на свое зимовье, оказался вдали от жигитеков и котибаков, Кунанбай внезапно нагрянул на него и не постеснялся забрать у врага весь скот и ценное имущество.

Но и этого Кунанбаю показалось мало: он сумел добиться ссылки в Семиречье двоих из «пяти удальцов»— Кадырбая и Наданбая, а третьего сына Кулиншака поселил на окраине аула Жакипа как заложника. «Кулиншак избил моего сына, опозорил брата!»—говорил Кунанбай в свое оправдание. Проделав все это, Кунанбай, как всегда, собрал старейшин родов, устраивал бесконечные пиры, не щадя отборных отгульных баранов.

Когда Абай вернулся, все как будто уже успокоилось, но аулы родичей были угрюмы и молчаливы: они таили непримиримую злобу. Назревала буря.

В ВЫШИНЕ

1

Прошло несколько лет. Через год после свадьбы у Абая и Дильды родился первый сын — Акылбай, потом дочь — Гульбадан. Теперь ей было около года, и Дильда снова недомогала, ожидая третьего ребенка.

Абай все еще не мог привыкнуль к мысли, что он теперь — глава семьи. Это послужило причиной того, что Улжан взяла Акылбая к себе и растила его как сына. Мальчик уже говорил, но никак не хотел признавать Абая отцом, — Абай оставался для него «чужим», кто приходит в Большой дом только пообедать и потом исчезает. Абай и сам не чувствовал к сыну ни любви, ни привязанности: он родился слишком рано, и с его появлением на свет, казалось, ушла юность Абая.

Абаю было всего семнадцать лет, когда появился первый ребенок. Женитьбу свою он принял как неотвратимое испытание, ниспосланное богом. Отцовство, последовавшее за нею, показалось ему не то злой шуткой судьбы, не то чьим-то грубым насилием над ним самим. Для него были мукой восклицания, сыпавшиеся со всех сторон в день, когда родился Акылбай.

— У тебя ребенок!.. Вот ты и отцом стал!.. Благослови бог!.. — приставали родные, окружив Абая.

Он не знал, что делать, — краснел, смущался и наконец вскочил на коня и исчез из аула, вернувшись дней через пять, когда первые восторги родных утихли.

Абая не трогала и маленькая Гульбадан. Она тоже целые дни проводила в Большом доме у матерей, которые ласкали и лелеяли ее. Похожая на Дильду лицом и плаксивая не в Абая, эта беспокойная крошка попадала в Молодой дом только к вечеру к потом всю ночь напролет кричала, как бы стремясь хоть этим добиться внимания отца. Но тот только вздыхал.

— Ой, боже мой, ее крик заставляет вскакивать по ночам, будто жало скорпиона, вонзившееся в тело! — сетовал он. Он так и прозвал девочку: «Желтый скорпион».

В тот вечер «Желтый скорпион» опять кричал. Солнце зашло, в доме было темно, но Дильда не зажигала света; не разбирая постели, она прилегла у кровати на одеяле. Гульбадан, только что принесенная от матерей, не желала спать и снова подняла шум и надоедливый рев.

Абай вошел в комнату с несколькими друзьями. Завывал буран. Снег густым слоем покрывал одежду жигитов. Они вошли в дом один з**а**  другим и сразу наполнили комнату холодом. Услышав шаги и почувствовав струю морозного воздуха, Дильда подняла голову. Абай, сбивая в дверях снег с шубы, сказал ей:

— Дильда, зажги-ка огонь… Да успокой эту неугомонную или отнеси ее в Большой дом…

Дильда зажгла светильник, разостлала гостям одеяло и взяла на руки Гульбадан. В комнату вошла служанка, пошепталась с Дильдой и занялась приготовлением угощения.

С Абаем приехали его друзья — Ербол, Жиренше и брат Тогжан — Асылбек, с которым Абай за эти годы очень сблизился. С ними вошел и Базаралы — сын Каумена. Хотя он и был из враждебного Кунанбаю рода жигитеков и в памятный день избиения Божея защищал того с оружием в руках против иргизбаев, Абай сейчас дружил с ним, привлеченный его смелостью, умом и тем, что Базаралы всегда высказывал свое собственное мнение. Среди друзей Абая он был самым старшим — ему было около тридцати лет.

Базаралы прошел вперед, снял верхнюю одежду и грустно сказал, опускаясь на одеяло, разостланное на полу:

— Боже мой, что делают эти морозы! Опять буран!.. Все время буран! Джута никому не миновать. Вконец разорит нищие аулы!..

Он охватил ладонью длинную черную бороду и так и остался сидеть молча.

Дильда поставила низкий круглый стол, и жигиты расселись за ним.

За эти годы Абай сильно изменился. Он стал широкоплечим, мускулистым. Его статной крупной фигуре (он был выше среднего роста) соответствовали и резко определившиеся черты лица. Прямой тонкий нос казался большим. Высокий открытый лоб расширялся у висков. Глаза, продолговатые и немного выпуклые, были по-прежнему чистыми. Их неугасимое пламя, горевшее под тонкими длинными бровями, придавало всему лицу Абая запоминающееся выражение, отличавшее его от других. Темные усы только начали пробиваться на его смуглом лице, раскрасневшемся сейчас от мороза.

Абая нельзя было назвать красивым, но весь облик его сразу располагал к себе собеседника.

Собравшись в Молодом доме, жигиты могли бы весело провести вечер, но полные тревоги слова Базаралы заставили всех задуматься.

Молодежь уже третий день проводила вместе. Только Базаралы присоединился к ним сегодня, приехав из горных аулов, где было много зимовок. Абай стал расспрашивать о них:

— Ну как, очень там силен джут? Везде он или только в отдельных местах? Народ сильно бедствует?

Асылбек, Жиренше и Ербол так и впились взглядом в Базаралы, ожидая ответа. Слова его прозвучали безнадежно.

— Разве джут выбирает, кого ударить? Везде беда, джут ужасный, скот так и мрет… Когда мы говорим «народ», это означает большинство, и бедствует сейчас большинство. Буран свирепствует уже третий день. Люди надеялись, что скоро наступит весна, станет теплее, но буран и мороз разыгрались, как лютой зимой. Вряд ли кто уцелеет…

— Но ведь падают только овцы, а как крупный скот? — спросил Жиренше. Он все еще надеялся, что хоть часть скота перенесет бедствие.

Базаралы пожал плечами.

— В стадах Тобыкты его мало, — все больше овцы и лошади. А коровы оказались даже слабее овец, верблюдов джут тоже легко валит. Нет, где уж тут чему-нибудь уцелеть…

Весь вечер жигиты говорили лишь о надвинувшемся бедствии. Дело не только в том, что мрет скот, — начинают голодать сами люди. В Чингизе Базаралы видел, как в поисках пропитания беднота бродила по зимовьям. И сюда, в Жидебай, уже начали заходить бедняки. Старики и старухи не раз побывали в доме матерей Абая. Им давали мяса — на одну-две варки, пшеницы, проса.

— Неужели джут разорит всех и никто не уцелеет? — со вздохом сказал Жиренше.

Базаралы посмотрел на него.

— Найдется горсточка. Бывает же у вороного кони белая отметина на лбу… И у иргизбаев, и у котибаков, и у жигитеков есть аулы, имеющие хорошие пастбища, обильные земли… Эти и сейчас горя не знают.

Ербол присоединился к нему: меньше всего почувствуют джут иргизбаи — у них и зимовья прекрасные и сено запасено с осени, он сам видел…

Абай сидел молча. Теперь он тоже вмешался в разговор.

— Кого спасет благополучие одних иргизбаев? Кого это утешит? — сказал он.

— Оказалось, кто силен, тот и в теле, — усмехнулся Базаралы. — Земли, добитые Кунекеном, выручают иргизбаев.

Абай нахмурился и быстро повернулся к нему.

— Боже мой, что же говорить о землях, нажитых насилием? Разве это земли? Это — слезы ограбленных!

Сдержанное негодование звучало в его словах. Асылбек и Жиренше одобрительно улыбнулись.

— Так, Абайжан! Ты сказал то, что в душе у каждого, но чего не осмеливался сказать ничей язык…

Базаралы, угрюмый, удрученный тяжелыми мыслями, тоже посветлел.

Абай говорил откровенно. Этих жигитов он считал друзьями и делился с ними самыми сокровенными своими мыслями, особенно с Ерболом, с которым за последние годы он стал неразлучен. Жиренше и Асылбек тоже подружились с Абаем и часто проводили с ним время. Кунанбаю эта дружба не нравилась, он не раз резко высказывался о сыне: «Он, как нарочно, выбирает волчат из аулов, которые недавно враждовали с нами… Хороши друзья!» И он морщился, недовольный Абаем.

С тех пор как Абай начал задумываться над поступками отца, его потянуло к дружбе с лучшими людьми из аулов, обиженных Кунанбаем. Благодари им он все яснее стал разбираться в жизни народа, в его ожиданиях и стремлениях. Жиренше и Асылбек были старше Абая лет на пять, но это не мешало их дружбе с ним и полной откровенности, — они передавали ему все, что слышали от стариков, и все, что волновало и тревожило их самих.

Один Базаралы до этого вечера не принимал участия в их дружеских разговорах. Он был убежден, что в бедствиях народа был больше всего виновен сам Кунанбай. Те аулы, которые он поддерживал, перегнали свои стада на урочища рода Иргизбай и, разумеется, уберегут их от падежа. А роды малочисленные, безыменные, слабые мечутся без выхода, стада их блуждают по мертвой степи, гонимые голодом… Но до сих пор он никому не высказывал своих гневных мыслей.

Теперь, услышав слова Абая, Базаралы не стал больше сдерживаться. Перебирая причины всех этих бедствий, он сказал:

— Что такое народ? Сила — при раздорах с соперниками, прах — когда сам в нужде. В битвах победа куется его руками, а при дележе в эти руки попадает лишь пыль от прогоняемых мимо награбленных стад… Так и гибнут люди, безвестные, безыменные. Вот и теперь они усеют белеющими костями всю степь. Дрогнет ли сердце хоть у одного из тех, кого вчера еще величали «лучшими», «оплотом»? Кто из них опечалится, кто заступится?

Абай был поражен искренним сочувствием народу, прозвучавшим в словах Базаралы. Думы его изумили Абая глубиной и силой своей правды, прорвавшейся сейчас так горячо и красноречиво. Богатырски сложенный, красивый Базаралы, смелый и острый на язык, превосходный певец, считался у старейшин «неугомонным забиякой»… «Конь, отбившийся от табуна, — говорили о нем старики. — Слова его пусты, хотя едки и язвительны…» Сейчас Абай убедился, что Базаралы вовсе не таков.

Жигиты сидели угрюмо. Но тот же Базаралы, который заставил их задуматься, упрекнул их.

— Настоящий человек, в ком есть честь и воля, заслоняет собой тех, кого гонит буран, — сказал он, — Кунекен ничем не хотел жертвовать для народа в дни благополучия. В час общего бедствия он должен поделиться хотя бы излишками… Пусть даст стадам пастбища, пусть приютит несчастный народ в своих зимовьях! Пусть поделится своими запасами. Если уцелеют только одни иргизбаи да Кунекен и Байсал, Байдалы и Суюндик — им и самим не будет раздолья. Если народ останется лишь с уздечками в руках, он не сможет покинуть родные земли, не рассчитавшись с ними. Он уйдет, — но уйдет, как смерч: разметав все юрты… Он был бы не народом, а зайцем, если бы не сделал так!..

Жигиты снова задумались. Но Асылбеку показалось, что Базаралы не совсем прав.

— Джут бывал во все времена, — начал он, — это обычное, неотвратимое бедствие. Разве в джутах виновны люди, да еще те, кто живет теперь? Ты всю вину валишь на одного, это несправедливо.

Слова Асылбека вызвали в Базаралы отвращение. «Скользкий, как его отец Суюндик», — подумал он про него, но спорить не стал; он только поднял брови, взглянул на Асылбека и пренебрежительно качнул головой.

В комнату вошли три человека. Они едва держались на ногах, одежда их была засыпана снегом, с усов и бороды свисали ледяные сосульки: у первого из вошедших — высокого пожилого человека в овчинном тулупе — даже ресницы были запушены инеем.

Это был Даркембай с двумя своими соседями — бокенши, тот самый Даркембай, который хотел застрелить Кунанбая в Токпамбете, когда избили Божея. Впоследствии об этом узнало все Тобыкты, и с того дня Иргизбаи не переставали всячески притеснять его, стараясь, как только могли, вредить и досаждать ему.

Даркембай не стал раздеваться. Он пришел по спешному делу.

— Свет мой, Абай. — начал он, — я услышал, что ты добр к сородичам, потому я и пришел. Будь ты Такежаном, я бы не появился. Беда пригнала меня… Овец у меня и вот у них — по двадцать, много по тридцать голов, и с этой горсточкой мы не можем найти себе пристанища… Так и плетемся, шатаясь. На наших выгонах — ни травинки. Овцы мрут с голоду. Сейчас по дороге пало пять овец.

— Почему же ты не двинулся на Чингиз? На худой конец там хоть горы защитят от бурана, — вмешался Асылбек.

— Ойбай, буран как раз идет с Чингиза! Разве заморенный скот гонят против ветра? Да Чингиз и далеко! А вот Мусакул и Жидебай близко, в путь к ним по ветру. Если бы владельцы разрешили, так на выгонах Мусакула и Жидебая корму хватило бы на несколько отар! Я бы разгребал снег и пас овец… Там скот не может погибнуть — место тихое, для овец спасенье… Последняя надежда — может быть, разрешат мне пригнать туда скот? Абай понял всю безвыходность его положения.

— Правильно! Ну и пасите там! — сразу решил он.

— Так-то так, свет мой, — вздохнул Даркембай, — но как же быть: едва добрались до Мусакула, навстречу выехал Такежан, погнал нас обратно. С ним и кровопийца Жумагул. Грозили плетьми, велели убираться… Вот я и пришел к тебе. Уж если суждено мне потерять последнее — пусть, думаю, хоть он узнает, что его беспомощные родичи обречены на гибель!

Абай, даже не дослушав Даркембая, коротко сказал Ерболу.

— Одевайся потеплее, Ербол, и садись на коня! А вы возвращайтесь к стаду! Дильда, вели дать им с собой еды!

Дильда тотчас же вышла из комнаты.

Абай передал через Ербола салем Такежану: пусть не трогает их, пусть предоставит выгон их маленькому стаду и укротит Жумагула. Ербол быстро оделся и отправился вместе с Даркембаем.

Такежан зимовал в Мусакуле. Он женился раньше Абая и в том же году отделился. Он оказался ретивым хозяином и ревниво оберегал землю. Чабаны рассказывали, что, когда никто не видел, он отгонял с пастбищ даже скот своих матерей. В этом году Абай все чаще слышал о недостойных поступках своего старшего брата и возмущался ими.

Ербол вернулся глухой ночью в самую стужу и буран. Он вошел злой, весь в снегу; его короткая густая борода заиндевела, широкий нос покраснел от мороза. Острый взгляд темных глаз не скрывал обиды и негодования. Не снимая малахая, он опустился на колено и начал стряхивать снег с бороды.

— Скорей сам черт поможет кому-нибудь, чем Такежан! — начал он. — Он кричит, что ногой ступить не даст чужому стаду ни в Мусакул, ни в Жидебай… И послал Жумагула: бей, мол, Даркембая и гони прочь! Тот, конечно, и рад: прискакал, проклятый, и отгоняет овец…

— Как же Даркембай? Что он будет делать?

— А куда ему деваться в такую ночь, да еще в буран?

— Чем умирать бродягой, лучше уж умереть под плетью Жумагула! — заговорили Жиренше и Базаралы, не сдерживая возмущения.

— Второй такой собаки, как Жумагул, пожалуй, больше нигде не найдешь! — продолжал Ербол. — Бог так и создал его посыльным волостного, чтобы он мучил народ. «Пойми, подожди хоть до утра», — сказал я, а он в ответ только обругал меня…

Ербол не стал рассказывать всего, что произошло. На самом деле Такежан резко обругал и Абая, а Жумагул даже кинулся на самого Ербола, собираясь бить его. Но Даркембай вскипел тоже: он загородил Жумагулу путь и закричал: «Руки прочь, ты! Или один из нас кровью поплатится!»— и посыльный отъехал в сторону.

Рассказать об этом Абаю — значило поссорить братьев. Ербол не выносил вражды между родными и предпочитал в таких случаях терпеть. Он твердо решил, что никогда не допустит Абая до крайности. Случалось, что Абай узнавал о чем-нибудь много спустя и принимался упрекать Ербола, почему тот не сказал ему раньше, но и после этого Ербол по-прежнему обо всем молчал, оберегая друга от неприятных переживаний.

Но на этот раз чувства, переполнявшие Ербола, не могли укрыться от Абая. Зная нрав своего друга, он не стал допытываться, ему и так было ясно, что за этим скупым рассказом скрывается еще много гнусностей Такежана и Жумагула. Он вскипел. Его бледное лицо угрожающе потемнело. Несколько секунд он, не мигая, пристально смотрел на Ербола, что-то сосредоточенно обдумывая, потом внезапно вскочил с места.

Остальные жигиты продолжали сидеть, несколько растерявшись, — они не могли понять, что он собирается делать.

Абай, задыхаясь, заговорил сквозь зубы:

— Вставай, Ербол! Поедем со мной! — и начал торопливо одеваться. Он набросил на себя легкую шубу, крепко подтянул пояс, взял плеть и, резким движением распахнув дверь, быстро вышел из комнаты.

Ербол последовал за ним.

Два серых коня, прижавшись к стене и отворачиваясь от порывов ветра, стояли около дома наготове, под седлами. Абай отвязал первого, легко вскочил на него и, с места взяв вскачь, утонул в воющем, взметавшем сизые волны буране. Ербол поскакал за ним.

Жумагул успел собрать всех овец Даркембая к его спутников и, хлеща их плетью, гнал с пастбища. Но промерзшие, голодные овцы только сбивались в кучу. Жумагул, обозленный, последними словами ругал и овец и самого хозяина стада, Даркембая; его друзей, которые плелись в сугробах, он как будто вовсе не замечал.

Несколько овец-одногодок, выбившись из сил от голода и свирепого бурана, упали, уткнувшись мордами в снег, и больше уже не могли подняться. Даркембай хотел было броситься на Жумагула, но тот, ловкий и изворотливый, носился как ветер на своем сытом коне, то с той, то с другой стороны наскакивав на овец и сбивая их с ног. Если бы эти кроткие животные умели молить бога, в этот ледяной буран под беспощадными ударами врага они молили бы только о смерти.

Когда Майбасар перестал быть волостным, Жумагул тоже лишился должности посыльного. Он вдруг потерял свою силу, как выхолощенный жеребец. «Жумагул с ума сходит. Он даже барана богу пообещал, только бы с кем подраться, а все не получается». — подсмеивался над ним старый Жумабай. Но за последние два года Жумагул нашел-таки место по душе: Такежан взял его себе в нокеры. Правда, у Такежана не было прежней власти и силы, но зато в осеннее и зимнее время он, как цепной пес, сторожил землю. И тогда жестокость, проявляемая ими обоими по отношению к беззащитным мирным аулам, не уступала зверствам любого волостного и посыльного. Они избивали чабанов, угоняли стада, ловили коней из чужих табунов. Родичи трепетали перед ними и часто принуждены были умолять о пощаде.

Для Жумагула и Такежана, искавших стычек, случаи с Даркембаем бил просто находкой. И кто же им попался? Тот самый Даркембай, на которого они давно точили зубы! Посылая Жумагула, Такежан весь кипел злобой: «Сам бог отдал Даркембая в мои руки— Даркембая, моего давнего врага!..»

Помня эти слова, Жумагул с яростью наскакивал на овец, проклиная и ругая всех предков Даркембая. Но в тот самый миг, когда он сшиб с ног еще одного барана, из сизого снежного тумана вылетели двое верховых. Они точно ждали в засаде, скрытые бураном.

Всадники подскакали к нему вплотную в полном молчании. Они ни о чем не спрашивали, не возмущались, не спорили с Жумагулом. Первый из них на всем скаку ухватился за его повод. Жумагул злобно закричал и хотел было пустить в ход плеть.

— Очнись, злодей! — в бешенстве крикнул ему Абай. Жумагул узнал Абая, но свой оказался для него хуже врага: Абай со всего размаху хлестнул его плетью по голове. Жумагул рванул коня и хотел ускользнуть, но Абай, намотав повод на левую руку и не давая тронуться с места, молча продолжал беспощадно хлестать его; рука у Абая была тяжелая, плеть работала не хуже дубины. Жумагул не вытерпел этого позора и, предпочитая смерть, хотел наброситься на Абая. Но Ербол точно ждал этого момента. — он вылетел вперед и удержал Жумагула.

— Да пошлет вам бог счастья! — закричал сзади Даркембай. — Не все еще люди на свете стали волками!.. О боже, дай его в мои руки! — И Даркембай, подбежав, так дернул Жумагула за полу, что тот, словно гнилой пень, свалился с коня в снег.

Абай приказал повернуть стадо и гнать его снова на Мусакул. Овцы, подгоняемые хозяевами, добрались до защищенного от ветра пастбища, где сугробы даже не заваливали травы.

Поблизости стоял стог сена. Абай велел подвести стадо туда. Завидя сено, овцы сами побежали к нему. Даркембай испугался: выходило, что он не только самовольно загнал стадо в урочище, но и поставил скот к стогу Кунанбая.

— Назад, назад! Не пускайте к сену! — закричал он на своих погонщиков.

Абай сурово окрикнул его:

— Не мешай! Пусть едят! Гоните к стогу! Чего боитесь?

Овцы подбежали к стогу и уткнулись мордами в сено. Они жадно припали к нему и замерли на месте.

— До утра никуда их не гони! Не трогай, пока не пройдет буран. Я такой же хозяин этого сена, как и Такежан! — распорядился Абай. — Пусть оба твоих товарища остаются с овцами, стадо от них не уйдет. А ты садись на коня — вот на этого, на такежановского, на коня скряги и насильника! — и скачи что есть сил! Извести окрестные аулы. Скажи всем, что я прислал тебя. Пусть аулы, где овцы отощали так, что не могут добраться до Чингиза, гонят стада сюда, в урочища моего отца. Пусть захватят с собой лопаты и кетмени! Скот спасают в тихих местах — пусть разгребают снег и пасут его здесь. Всем родам передай: торгаям, жигитекам, карабатырам, бокенши, — всем, кто поблизости. Если придется бедствовать — будем делить горе вместе! Отправляйся! Скачи! Всех собирай!

Даркембай вскочил на коня. Абай угрожающе крикнул Жу-магулу:

— Чтоб ты у меня в последний раз кидался на людей, как цепной пес, негодяй! Понял?.. А Такежану передай: пусть не глумится над голодными! Если он не знает, куда девать силу, пусть попробует ее на мне!.. Так и передай хотя бы он лопнул от злости! Ступай! Пешком ступай! — приказал он.

Жумагул поплелся пешком к Такежану.

Абай и Ербол поскакали в Жидебай навстречу ветру. Буран не ослабевал, ветер продолжал остервенело метаться и со страшной силой бил им в лицо, снег слепил глаза.

К утру ветер стих, буря и снег улеглись. Багровое солнце выглянуло из-за перевала. Казалось, оно поднялось после тяжких мучений: огненные полосы, точно струи крови, протянулись в морозной мгле с обеих его сторон. В воздухе висела снежная пыль. Неугомонный ветер, бешено носившийся по степи несколько суток, все еще не мог смириться до конца и нет-нет вздымал упрямую поземку. Наконец и он затих, но в этой тишине мороз был только страшнее; казалось, сам воздух трещал от стужи.

Даркембай понимал цену поручения Абая. Ночь напролет он не сходил с коня. «Передай таким же, как ты». — эти слова Абая запали ему в сердце. Он мчался с поручением Абая ко всей безземельной бедноте родов Карабатыр, Торгай, Борсак и Жуантаяк. Он объезжал тех, кто имел скудное хозяйство, не больше тридцати — сорока голов овец, и не пропустил ни одного бедняка вблизи богатых урочищ Мусакул и Жидебай.

Когда в холодную буранную ночь стучит в окно путник, весть, которую он несет с собою, обычно бывает холодна, но весть, принесенная Даркембаем, окрыляла надеждой.

Буран кружил уже третьи сутки, заметая пастбища, и народ был уверен, что он унесет с собою последнее достояние. Буря неистовствовала, с ревом и свистом билась в окна и отгоняла сон. Беднота изнемогала. Старики молили создателя о пощаде. Ни мужчины, ни женщины, ни дети — никто не раздевался и не знал покоя ни днем, ни ночью; то и дело они обходили и осматривали загоны, где стоял их жалкий скот.

Стоило где-нибудь выглянуть из-под снега веткам дикой акации, они срубали их и приносили домой; они срезали верхушки тростинка и притаскивали его. А если не находили вокруг ничего, срывали камыш с крыш ветхих сараев и тоже отдавали скоту. Но этот корм был все равно, что капля воды, принесенная на крыле ласточки. Кому дать — овцам ли, ягнившимся до общего окота? дойным коровам? или, наконец, единственному верблюду?.. Кому ни дай — все равно мало. Спасти скот, от которого зависела вся их жизнь, это не могло.

Ждать же помощи от тех, кто владел обширными землями и запасся сеном и кормами, им и в голову не могло прийти.

И вот в такую ночь, полную отчаянья, по аулам вихрем пронесся Даркембай, воскрешая а людях похороненную надежду.

К восходу солнца к урочищам Кунанбая со всех сторон потянулись стада. Абай и Ербол были уже на конях. Они скакали навстречу людям, пригнавшим стада — горсточки овец, по три-четыре коровы, за которыми плелись женщины, старики и мужчины…

На овец, высохших от голода, было страшно смотреть. Шерсть их свалялась, к бокам желтыми комками примерз помет. Козы, истощенные, шатающиеся, падали с жалким блеянием и дохли на месте. По дороге от зимовий до урочищ иргизбаев большинство аулов оставило печальные вехи, — сверкающий снег был усеян темными пятнами — трупами павших животных.

Говорят, что овцы выдерживают голод в течение шести суток. Судя по огромному падежу, эти стада голодали давно и окончательно истощали. Еще два-три дня, и овцы полегли бы все до единой.

Они с трудом передвигали ноги в глубоком снегу, поэтому погонщики пускали вперед какую-нибудь лошаденку, верблюда или корову, а овец гнали позади. С голоду овцы жевали хвосты коров и лошадей.

Люди, сопровождавшие эти заморенные стада, тоже были бледны, угрюмы и обессилены. Они брели как тени, с бескровными лицами. Лица пожилых покрылись сетью глубоких морщин. Их нищенская одежда была вся в лохмотьях. Не только женщины, но и бородатые мужчины закутали головы в старое дырявое тряпье. Большинство из пришельцев было обуто в старые войлочные чулки без сапог. Но, едва дойдя до урочища, все они сразу кидались расчищать снег.

Все три урочища Кунанбая славились густыми зарослями тростника, шенгеля, чия и шиповника. Буран намел сугробы только по краям пастбища, а в середине их снег не был глубоким и рассыпался под ногами, как песок. Где бы ни принимались разрывать его, везде находили пышную, густую траву.

Дорвавшись до корма, скот начал жадно восстанавливать свои силы. К полудню Абай и Ербол распределили большинство стад. Прибыло более пятидесяти аулов. На тех пастбищах, которые Такежан ревниво оберегал от какой-нибудь жалкой коровенки, сегодня разместилось свыше тысячи голов овец. Крупного скота было не много.

Тяжелые думы одолевали Абая при виде дрожащего от холода скота и исхудалых, угрюмых людей. Летом из просторных жайляу, в самое обильное время года, казалось, что народ обеспечен и достаточно жизнеспособен, но джут раскрыл всю его бедность к беспомощность.

Ведь большинство хозяйств владеет лишь двумя-тремя десятками овец и тремя — много четырьмя — головами крупного скота. И этот скот должен пропитать своих владельцев в течение круглого года: он служит тягловой силой, его бьют на котел, продают на нужды хозяйства, он дает одежду и покрывает все расходы домашнего очага. Даже когда этот скот и не терпит урона — какое убожество и скудость!.. И такую жизнь называли — благополучием народа»?.. Как же назвать ее теперь? Вот нагрянула нужда, бедствие, джут — и Абай своими глазами убедился, какое жалкое существование влачит родной народ.

Сердце его обливалось кровью при виде изможденных людей, пригнавших стада и забившихся в кусты, как зайцы.

Он еще раз объехал стариков, пришедших из окрестных зимовий.

— Кто из вас озяб, пусть пойдет в ближайшие аулы, согреется там и поест горячего. Ведь здесь кругом родичи! Они не прогонят, не бойтесь! — говорил он им.

Старики и без того не знали, как благодарить Абая, а при этих словах им показалось, что все беды кончились.

Не возвращаясь домой. Абай объехал все аулы иргизбаев, расположенные в урочищах. Он вызывал к себе старшин аула или пожилых женщин, распоряжавшихся котлами.

— Окажите помощь родичам, пострадавшим от бедствия, — говорил он. — Готовьте горячую пищу ежедневно во всех котлах и раз в день кормите их!

Голодающие были распределены между всеми. Каждый аул принял на себя заботы о тех, кто находился поблизости.

Наконец Абай и Ербол приехали и в аул Такежана, зимовавший в Мусакуле. Такежана не было дома, — той же ночью, узнав обо всем от Жумагула, он, не объясняясь с Абаем, прямо помчался к Карашокы с жалобой отцу на самоуправство Абая.

Абай подъехал к дому Такежана и, не сходя с коня, послал туда Ербола. Жена Такежана вышла к ним, злая, бледная, стиснув зубы. Это была высокая женщина с огромным носом, сварливая и язвительная. Она допекала даже своего мужа и держала его в руках. Черствая и бессердечная, несмотря на молодость, Каражан и в хозяйстве была скупа. Лучшей пары Такежану нельзя было и подобрать, и они быстро богатели. Это она, не одобряя щедрости Улжан, настояла на том, чтобы Такежан отделился от Большого дома. Известность и слава, которую приобрел Абай среди населения, совершенно заслонив старшего возрастом Такежана, тоже выводила ее из себя: она болезненно завидовала младшему деверю.

Абай прекрасно понимал свою невестку. Он даже не поздоровался с нею, хотя Каражан вышла ему навстречу. Он угрожающе наехал на нее конем вплотную, как ночью на Жумагула, и сразу приступил к делу:

— Я слышал, что твой муж повез на меня жалобу. За свою вину я сам и отвечу. А сейчас я приехал, чтобы поручить тебе важное дело. Ты сделаешь в точности, как я скажу.

— Какое дело?

— Аулы, расположенные поблизости от вас, погибают от джута. Эти родичи всегда косили вам сено, копали колодцы, пасли скот, работали для вас. Сейчас они бедствуют, и вы должны помочь им. Мы предоставили их стадам выгон. Свои зимовки у них далеко, да и мороз крепкий, — мы взяли людей на кормежку. На вашу долю приходится двадцать человек из четырех аулов. Корми их раз в день горячим!

— Он, что ты, милый мой! Нам самим есть нечего!

— Не лги! Еще недавно тебе привезли с караваном три мешка муки, да у тебя еще пять полных мешков пшеницы! Мясо у вас даже не тронуто… Говорю тебе — я не шучу! Поделись хоть немного с голодающими! Будешь упрямиться — хорошего не жди!

— Э, так, по-твоему, мы сами должны голодать? Абай вспылил:

— Хоть сквозь землю провалитесь!.. Только посмей не дать! Я каждый вечер сам проверять буду! Не послушаешь — пеняй на себя! Пока я здесь, у меня достаточно силы, чтобы укротить тебя! Я заставлю тебя, с позором заставлю. Поняла?

Абай замолчал и в упор посмотрел на нее. Его рука схватилась за плеть. Каражан заметила это и прекратила спор.

Еще ночью Абай послал Даркембая и его друзей ночевать в аул Такежана. Он подозвал их и опять гневно взглянул на Каражан.

— Вот Даркембай! Он будет приводить тех, кого я назначил кормиться в твоем ауле. Готовь им не только сама, а заставь всех, пусть весь аул окажет гостеприимство!

Абай повернулся к Даркембаю:

— А ты что стоишь женихом? Не мямли, слышишь? Когда будете приходить с работы — требуй пищи! Не дадут или задержат — сейчас же иди ко мне! А станешь покрывать их — так ты не Даркембай, а баба! Понял?

И с этими словами Абай поднял коня вскачь. Абай и Ербол целый день не переставали хлопотать. В Жидебай они вернулись только к вечеру. У матерей их ждали Такежан и старый Жумабай. Такежан еще ночью полетел к Кунанбаю и теперь привез его распоряжение.

Улжан вызвала Абая в большой дом. Идя туда, он заметил необычайные приготовления повсюду — вокруг домов, в кладовых, в кухнях. Везде кипели котлы и готовилась горячая пища. В трех местах были установлены деревянные ступки, и женщины толкли в них пшеницу. Как видно, Улжан взялась сама за помощь голодающим.

Первая очередь — человек двадцать — уже ела горячее. Абай не хотел стеснять их и направился прямо в Большой дом.

Он отдал салем старому Жумабаю и поздоровался с ним, на Такежана даже не взглянул. Кровные братья встретились более чем холодно. Жумабай передал Абаю салем отца.

Как видно, ночью Такежан не все разобрал от злости: он донес отцу только о случае с Даркембаем и Жумагулом. О том же, что сегодня с самого утра беднота всех окрестных аулов непрерывной вереницей стекалась на его урочище, Кунанбай еще ничего не знал: Такежан, для которого появление на его земле одного Даркембая казалось невероятным событием, не мог допустить и мысли о такой неслыханной наглости. Узнав о случившемся, он пришел в бешенство.

Жумабай сообщил: Кунанбай считает неправильным, что Даркембаю предоставлен приют на его земле. «От благодеяния, оказанного недостойному, добра не будет. В свое время Даркембай готовил пулю в мою голову. Пусть довольствуется и тем, что я оставил его в покое. Если Абай хочет благодетельствовать, пусть оказывает помощь друзьям, а не таким негодяям. Пускай отправит его обратно». Таков был приказ отца.

Абай не подчинился ему и даже не стал оправдываться.

— Отец мой говорит, что он правоверный мусульманин и всем желает добра. Первая добродетель верующего — помощь бедствующему. Я уже дал слово народу. Я кормлю их. Пусть отец не примет за своеволие и благословит меня на это! — ответил он решительно. Такежан и так едва сдерживал кипевшую в кем злость. Здесь его взорвало, и он обрушился на Абая.

— Раз ты такой праведник, надень на голову чалму и собирай кушир[106] на Даркембая!

— Если понадобится, буду и кушир собирать. Народ в беде — я готов жертвовать собой.

— Так ступай с сумой, попрошайничай!

— Прежде чем идти с сумой, я отдам народу все, что есть и у меня и у тебя!

— Ты и так уже все отдал! Ты пустил на пастбища не одного Даркембая, а всех!.. Тебе мало того, что ты сам окажешься ни с чем, — ты и нас обрекаешь на нужду! Ну что ж, разоряй нас, умори с голоду своих матерей!

Абай сверкнул глазами на брата.

— Не беспокойся о моих матерях, слышишь? Мои матери не сурки а норах, как твоя скупая баба! Они умеют делиться последним и не пожалеют, если придется терпеть нужду вместе со всем народом! Я сделал все по их поручению. Не заботься о матерях!

Казалось, точно отец отчитывал сына: слова Абая звучали приказом. Такежан хотел спорить, но вмешалась Улжан.

— Перестань! Довольно с меня перебранок! — резко оборвала она и повернулась к Жумабаю:

— Поезжайте обратно. Абай до вашего приезда уже успел созвать голодающих. Мы поделимся с ними всем, что есть у нас самих. Пока что мы не нуждаемся. Пусть Кунекен за нас не беспокоится: мы уступаем людям свою долю. Пускай он не позорит сына и не заставляет его изменять своему слову!

Такежан прекратил спор, но внутренне не отступил от своего. Он отвернулся, надел шапку и собрался уходить. Заметив его ярость, Улжан сказала громко:

— Э, послушай, передай Каражан: пусть не бесится и как следует кормит голодных родичей! Не свое приданое она раздает! Пусть опомнится и оглянется вокруг.

Такежан и старый Жумабай уехали.

Они осмотрели все урочища, пересчитали количество аулов и скота, размещенного там Абаем, и снова отправились в Карашокы.

Кунанбай внимательно выслушал их и был возмущен и Абаем и его матерями, допустившими такое самоволие. Действительно, этот поступок доказывал, что Абай забыл меру, переступил все границы и не считается ни с кем.

На другой же день в Жидебай явился Жакип и передал Абаю новый салем Кунанбая.

То, что вторичное распоряжение отец передавал через своего брата Жакипа, которого он посылал только с важнейшими поручениями, было знаменательным. Родичи Кунанбая расценивали важность его салемов по тому, с кем они бывали посланы: если нужно сломить и взять, он отправлял посыльных Карабаса и Камысбая; с поручением «Скажи ему, дай ему знать»— ездили такие люди, как Жумабай; иногда с таким салемом посылались Абай или Кудайберды; «Припугни, устраши, отчитай как следует»— с этим обязательно поедет Майбасар; «Объясни и уговори!»— такое поручение возлагается на Жакипа, и то только по крупным делам, касающимся целых родов. А если дело было чрезвычайное и охватывало спорные вопросы нескольких родов, появлялся Каратай.

Увидев Жакипа, Абай понял, что приказания, исходящие из Карашокы, поднимаются по ступеням и становятся значительнее. Внутренне он приготовился. Холодный, угрюмый, сдержанный, он даже не смотрел на Жакипа, а только молча слушал его, сидя к нему боком.

Прежде чем передать распоряжение Кунанбая, Жакип привел несколько доводов. Он говорил от своего имени, но Абай знал, куда уходят корнями эти слова, — он научился понимать скрытый смысл салемов своего отца.

Жакип сказал, что бывают дела, почин которых должен принадлежать только отцу, а сыновья могут лишь поддерживать его. Надо разбираться в этом. Добрые поступки отца делают честь сыну, но самовольничание, невнимание к воле отца, упрямое стремление к самостоятельности не создадут сыну доброй славы.

Абая это не тронуло. Есть же отцы, которые поддерживают сыновей и делают все, чтобы завоевать им и почет и уважение? Он высказал свою мысль вслух:

— Бывают отцы, которые не давят на сыновей бременем своих желаний, замыслов и воли…

Жакип продолжал: если уж пускать на свою землю и оказывать помощь, то надо делать это для зажиточных аулов, имеющих значительные стада и попавших во временное затруднение. Настанет время, и они окажут помощь. А что представляют собой люди, с которыми возится Абай? Если их всех собрать вместе, то они даже на время не смогут дать ни одного коня или верблюда. Таково мнение отца. Жумабай тоже упоминал об этом в первом салеме.

Но подобные доводы не убеждали Абая. То, о чем говорил Жакип, не помощь, а взаимные одолжения друзей или сватов. Абай доказывал и возражал — и не шел ни на какие уступки.

— Разве хозяин земли и скота — ты? — спросил Жакип, — Разве твоим трудом нажито это все? Неужели ты собираешься своевольно промотать все, что накоплено твоим отцом? Завтра и у вас и у Такежана весь скот подвергнется беспощадному джуту. Вот перед тобою твои матери, — подумал ли ты по крайней мере об их пропитании?

Это тоже не ново. Но то, что можно было ответить Такежану, Жакипу сказать неудобно.

— Вы правы. Я, вероятно, проматываю хлеб своих матерей! — насмешливо ответил Абай и взглянул на Зере. Но вот сидит мать — она мать не только мне, но и вам и моему отцу. Вот кто настоящий хозяин всего нашего добра. Значит, мы все должны повиноваться ей. Что скажет она? Выслушайте сами из ее собственных уст!

И Абай подвинулся совсем близко к бабушке.

Старая Зере за эти годы вся высохла. Глубокие морщины избороздили ее лицо. Видя, что Абай наклоняется к ней, она подставила ухо. Внук громко рассказал ей обо всем. Он говорил коротко, но внятно и закончил тем, что приказаний ждут только от нее самой.

Зере нахмурилась и обратилась к Жакипу:

Передай салем моему сыну. Мне не так много осталось жить. Неужели же мне еще суждено быть свидетельницей гибели родичей, бесприютных и голодных? Неужели я еще должна видеть море слез беспомощных сирот и вдов?.. Когда я умру — придется же моему сыну кормить тех, кто соберется на поминки его матери? Так вот — пусть не гонит беззащитных бедняков: пусть считает, что сейчас он тратится на мои поминки…

После слов Зере Жакип точно в засаду попал. Он не знал, что отвечать. Видя, что все это навело бабушку на тяжелые мысли, Абай вышел из себя.

— Если вы действительно болеете душой за нашу мать, не заставляйте ее говорить о смерти! Я не позволю гнать тех, кого мы уже приютили! — твердо заявил он.

Жакип не посмел перечить Зере, но племянника решил напоследок сурово пристыдить.

— Что ты говоришь? Неужели ты пойдешь на такую дерзость? Не нравится мне, куда ведут твои слова!

Абай все еще не мог успокоиться.

— Вам объяснять не нужно. Вы и так меня поняли. Здесь не грудные дети! Раз там наслаждаются своим новым счастьем, пусть и нам дадут жить спокойно, по-своему!

За всю жизнь Жакип не встречал в Иргизбае человека, который осмелился бы так резко осудить Кунанбая.

— Довольно, мой милый! Не говори больше! Как я передам это отцу? Никогда не забуду, что самые ужасные слова, от которых всякий вздрогнет, я услышал от тебя! — И Жакип вскочил с места.

Слова Абая имели особый смысл. Он снова напомнил о безрассудном поступке Кунанбая, совершенном им этой зимой.

Жакип оказался последним послом: больше из Карашокы не приезжал никто. При иных обстоятельствах переговоры могли бы иметь другой исход, но причиной такого благополучного конца был именно неожиданный поступок Кунанбая.

Уже месяца два Улжан и все окружавшие ее были в обиде на Кунанбая и в размолвке с ним. Несмотря на свой почтенный возраст — больше шестидесяти лет, — этой зимой Кунанбай женился на молоденькой токал. В Жидебае жили Улжан и Айгыз, в Карашокы — байбише Кунке, а он взял еще одну жену — семнадцатилетнюю Нурганым. О своем намерении жениться на такой молоденькой девушке он не сказал никому из своих, в переговоры был посвящен один Каратай.

Прошлым летом у Каратая умерла жена. Однажды при встрече с ним Кунанбай спросил его:

— Ты не думаешь жениться? Почему бы тебе не взять жену? Оказалось, что Каратай уже думал об этом.

— Э, Кунанжан, к чему мне баба, когда я сам уже бабой стал? Кунанбай не соглашался.

— Совсем не так, Каратай, — возразил он. — Когда ты молод, каждая красавица, хоть и чужая, твоя. А в старости лучше иметь ее при себе.

И он женил-таки Каратая, Но в день своей свадьбы Каратай пристал к самому Кунанбаю:

— Если ты говорил искренне, женись и сам. Ты говорил о моем уюте — он нужен и тебе. Все твои жены заняты детьми и самими собой. Тебе нужно молодое существо, которое заботилось бы только о тебе! — говорил он.

После долгих совещаний они выбрали невесту. Это и была Нурганым.

Нурганым — дочь ходжи Бердыхожи. Родом они не из Тобыкты. Он живет в племени Сыбан. Туда Бердыхожа приехал не так давно из Туркестана. С Кунанбаем и Каратаем он был в хороших отношениях. Своим знанием священных книг, поучениями, толкованиями корана он нравился Кунанбаю, который в беседах с ним часто проводил целые вечера.

Нурганым еще не была просватана. Несмотря на свою юность, это была рослая девушка, красивая и привлекательная, с правильными чертами нежного и миловидного лица и волнистыми иссиня-черными волосами. Черные слегка навыкате глаза блестели умом и избытком жизни.

По совету Каратая, Кунанбай решил засватать Нурганым и послал человека к Бердыхоже. В роду ходжи не было многоженства, и поэтому вначале он пришел в ужас. Нурганым была его последней дочерью, он прощал ей все шалости и очень любил ее. Услышав салем Кунанбая, старик буркнул сгоряча:

— Разве я отдам мое дитя старому Кунанбаю?

Но сыновья, желая породниться с Кунанбаем, не соглашались с ним — они насели на старика и в три дня добились своего. Как только Кунанбай узнал о согласии Бердыхожи, он сразу же отправил к нему калым и успел таким образом жениться на Нурганым той же зимою.

Улжан к Айгыз узнали о новой токал от человека, которого Кунке нарочно послала к ним. Улжан была уже далека от ревности, — у нее было четверо взрослых сыновей, она имела внуков, привыкла владеть собою. Она как будто уже не считала Кунанбая мужем — он был лишь отцом ее сыновей, родным человеком, связанным с нею долгой жизнью, многими годами общих переживаний. Все другие чувства к нему в ней умерли.

И, несмотря на это, она была против его новой женитьбы. Она вызвала к себе Жумабая и сказала ему:

— Если он хоть раз в жизни хочет послушать нашего совета, пусть не женится: пойдут дрязги. Пусть постыдится детей.

Улжан рассказала новость Абаю. Юноша вздрогнул от нахлынувшего отвращения и негодующе подумал: «Он хочет, чтобы его перестали уважать как отца, хочет сам сделать нас чужими… Почему он не считается со всеми близкими — с бабушкой, с верной спутницей жизни — матерью?.. Неужели он не понимает, как стыдно нам, детям, получить новую мать моложе всех нас?» Не высказывая всего этого Улжан, он заявил лишь, что не может одобрить отца, и посоветовал ей послать с Жумабаем такой ответ: «Раз он не считает нас за людей, пусть горит один в костре, куда бросится сам, но пусть знает, что покинул нас в обиде».

Услышав ответ Улжан, Кунанбай отправился к Кунке. Он умело подошел к ней:

— Пусть безумствуют они, а ты не подхватывай… Рассуди сама и будь со мной!

Мелкие корыстные расчеты были свойственны Кунке. У Улжан много детей, у нее есть защита в лице Зере. Поэтому Кунке бывало выгодно, когда между Кунанбаем и Улжан случались нелады. Ее особенно бесило, что вокруг Улжан всегда теснилось много родичей, что дом ее был полон добра. «В конце концов они возьмут верх своим числом, и наследство достанется им», — думала она и вечно завидовала Улжан. Намерение Кунанбая было огромным событием в жизни всей семьи, и им следовало воспользоваться. И хотя первой ее мыслью было не соглашаться, тем не менее она решила выждать и узнать мнение Улжан. Если та даст согласие, а Кунке будет упрямиться, — положение ее окажется невыгодным, она может даже лишиться поддержки мужа… Поэтому Кунке схитрила и дала знать обо всем Улжан. Оттуда пришел желанный ответ: Большой аул не только не соглашался, — он резко осуждал Кунанбая. Тогда Кунке стала чернить Улжан в глазах мужа, а сама приняла его сторону. Она сделала вид, что, как самая разумная жена, понимает Кунанбая и одобряет его.

— Привози Нурганым прямо ко мне, — заботливо говорила она, — пусть остается у меня. Улжан ей житья не даст!..

Все обернулось по ее желанию: Кунанбай привез Нурганым в Карашокы. Зато в течение двух месяцев он ни разу не был в Жидебае, и в те дни, когда Жакип и Жумабай ездили в Жидебай для переговоров с Абаем, Кунанбай все еще был в размолвке со своим Большим аулом.

Разговор с Жакнпом растравил в Абае и без того наболевшую рану. Юноша не мог говорить спокойно, и его удар оказался неожиданно метким. Дело обострялось бедственным положением народа. Два тяжелых переживания слились в одно и привели его к этому столкновению с отцом.

Прошло всего пятнадцать дней, но они стоили многих месяцев. Этот короткий конец зимы заставил людей съежиться от жестокого джута. Особенно тяжело прошло начало апреля. Апрель считается месяцем первых зеленых побегов. Небывалой стужей и буранами он застал народ врасплох и причинил непоправимые бедствия. Они запечатлелись в памяти народа под именем «апрельского джута» или «джута последнего снега»— таким необычным был глубокий снег, выпавший в это время.

Пятнадцать дней стада потерпевших провели на пастбищах Кунанбая. Погода начала меняться, подул теплый южный ветер. Появись он месяцам раньше, народ радостно встретил бы его как доброго вестника весны. На этот раз он только избавлял людей от последних зимних невзгод.

Отклонив настойчивые приказания Кунанбая, Абая и Улжан всей душой отдались заботам о голодающих, об их существовании и сохранности стад. Абай целыми днями не сходил с коня и сильно похудел. Лицо его обветрилось и потемнело.

Но его труды и заботы не пропали даром: скот пятидесяти аулов был спасен от джута.

2

От первых же порывов весеннего ветра снег начал быстро таять. Не только холмы, но и долины сбросили его покров; поля почернели. Точно стыдясь, что залежался так долго, — снег торопился уйти. Наступили дни, о которых говорят: «Распахнулись объятия земли». Солнце принялось за свою работу. По небу поплыли белоснежные, пушистые весенние облака.

Аулы, нашедшие приют в Жидебае, стали расходиться по своим зимовьям. Люди не находили слов, чтобы отблагодарить Зере и Улжан за свое спасение.

После их ухода Улжан сообщила, что ее зимние мясные запасы кончились. В тот же день старик чабан Сатай пересчитал потери, понесенные за это время по стадам овец: за эти пятнадцать дней их погибло двести голов.

Из трех аулов владельцев Жидебая и Мусакула такой урон потерпел только Большой аул Зере. Такежан не потерял ни одного барана и к лету вывел в сохранности все свое стадо.

О силе джута судят не только по тому скоту, который пасется близ аула, но и по конским табунам, возвращающимся с зимних выпасов с первым теплом. Все невзгоды сурового зимнего времени отражаются и на них.

Отощавшие табуны Кунанбая едва добрались до Жидебая. Лошади имели ужасный вид. Самые крепкие жеребцы и кобылы бродили как тени. Шерсть у них отросла, взъерошилась и спуталась; ноги раздулись, суставы опухли и выпирали огромными узлами. В косяках не было ни одного жеребца, выжили только сильные кони.

Из многочисленных табунов Тобыкты уцелели лишь табуны Кунанбая и вообще иргизбаев, а кроме них — табуны Байдалы, Суюндика и Байсала. Но и они подходили к зимовьям, едва волоча ноги. Вереницы этих живых скелетов были, казалось, видением кончины мира: тогда (как учили Абая в медресе) мертвецы после долгих загробных мук поднимутся и, прикрываясь своими саванами, еле держась на слабых ногах, побредут в вечную жизнь. Так брели и эти возвращающиеся табуны.

Кунанбай, Байсал и их близкие сделали все, чтобы спасти свой скот: они пользовались землями мелких родов, угоняли табуны из занесенных мест и перегоняли их из урочища в урочище. По сравнению с другими, они легко отделались от беды. Правда, лошади их были худы, но все же уцелели. Зима прошла… Тощие кони стали понемногу поправляться.

Если бы другие роды смогли вывести свой скот из бедствия в таком виде, они, вероятно, считали бы, что вовсе не испытали джута. Но у многих табуны были скошены начисто. В родах Торгай, Жуантаяк, Топай, Жигитек и Бокенши из каждой тысячи лошадей, угнанных осенью на зимний выпас, вернулось по семьдесят—восемьдесят голов. Конские табуны пострадали от джута сильнее другого скота.

Аулы были подавлены. Люди перестали ездить друг к другу в гости, встречаться, жили так, как будто прошел ураган. Всех поглощала только одна забота — спасти остатки тощих табунов от губительного холода весенних ветров.

Только одному аулу не приходилось заботиться о лошадях: это был аул Зере в Жидебае. Кунанбай приказал всех вернувшихся с зимнего выпаса коней пригнать в Чингиз и дальнейшую заботу о них взял на себя.

Стало тепло, пышно поднимались весенние травы. Падаль, окружавшая Жидебай, начала разлагаться и отравлять воздух, угрожая заразой и болезнями. Поэтому Улжан решила покинуть зимовье и перекочевать в юрты.

Наутро предполагали собираться, но вечером накануне внезапно занемогла Зере.

С первого же часа болезнь старой матери приняла дурной оборот. Вначале Зере глухо стонала и с трудом переводила дыхание, а на следующий день так обессилела, что не могла повернуться в постели. Испуганные Абай и Улжан ни на шаг не отходили от нее. Они сами ухаживали за нею, подавали пить, поправляли постель и неохотно пускали к ней посторонних, боясь утомлять ее лишними посещениями. На следующую ночь Улжан начала терять надежду на выздоровление свекрови. Ничего не говоря Абаю, она послала нарочного в Карашокы. Всю ночь напролет ни невестка, ни внук не смыкали глаз возле старой матери. К утру Зере последний раз бросила на них потухающий взгляд. Когда она открыла глаза, в душе Абая затеплилась надежда. Он пристально смотрел на бабушку. Больная силилась сказать что-то. Абай не понял ее, но от Улжан не ускользнуло ни одно ее движение. Оба наклонились к умирающей и Зере что-то невнятно зашептала.

Силы ее иссякли, но рассудок был ясен. Только голос стал совсем беззвучным.

— Сумела ли я… в жизни… быть добрым примером для вас?.. Сумела ли… наставлять вас… пока слух мой не изменил мне?.. Что я могу?.. Что я теперь могу?.. Чего ждете… вы от меня… сейчас…когда уходят остатки сил моих?.. Наклонились ко мне… чего ждете от меня?..

Она говорила с трудом. Каждое слово стоило ей мучительных усилий.

Нельзя было утомлять ее. Ответы были неуместны. Абай приложил обе руки к груди и склонился перед нею: «Все лучшее, все чистейшее в сердце моем — тебе, святая мать», — говорило это безмолвное движение. Он сжал руки старушки и приложил к своим щекам ее маленькие сморщенные пальцы, покрывая их поцелуями. Несколько горячих капель упало на них.

Бабушка снова прошептала:

— Свет мой… зеница очей моих…

Она взглянула в сторону Улжан и добавила:

— Береги свою мать… слушайся ее…

Жизнь покидала старушку. Помолчав, Зере опять заговорила:

— Все-таки… ведь он — единственный сын мой… Пусть же он… своей рукой… бросит горсть земли… на мою могилу.

Эти слова прозвучали ясно, отчетливо. Зере смолкла. Абай понял: то была ее последняя воля о Кунанбае. Улжан только молча кивнула головой: «Не тревожьтесь, сделаем все…»

Драгоценная жизнь кончилась еще до первых проблесков зари.

До самого утра Улжан и Абай не проронили ни слова. Они не сводили глаз с мудрого лица Зере. Оба были полны дум о покинувшей их матери, на обоих тяжким гнетом легла глубокая печаль.

С той поры как Абай начал помнить себя, это была первая смерть близкого ему человека. Лицо старой бабушки покрылось едва заметной смертной синевою, но все же казалось просветленным и невыразимо спокойным, как будто бы смерть и не наложила на него своей мучительной руки. Зере словно достигла свершения своей величайшей мечты — и затихла в благородном покое.

К восходу солнца собрались все, от стариков до малых ребятишек. Внуки и невестки беззвучно плакали. Все домочадцы и соседи тяжело вздыхали. В то же утро приехали все родичи из Карашокы и с Чингиза. Первыми прибыли Кунанбай и Кунке. К обеду собрался весь род Иргизбай.

Смерть Зере была утратой для всех, но никто не рыдал. В молчании обрядили покойницу. На похороны, совершенные на следующий день, приехали бедняки всех пятидесяти аулов, которые получали приют и пищу у Зере и Улжан во время джута. Старую мать рода похоронили с почетом.

До поминального седьмого дня Кунанбай и Кунке остались в Жидебае.

Абай решил не поручать поминального чтения муллам и принялся читать коран сам. Он читал в течение целой недели и перечел его два раза. Как-то во время обеда Кунанбай повернулся к сыну.

— Как ты медленно читаешь! — упрекнул он.

Абай не ответил. Очевидно, Кунанбаю приходилось слышать чтение мулл, — за такой срок они успевали прочесть коран три-четыре раза. Абай ничего не стал объяснять отцу. Он ведь тоже умел читать быстро, но, думая о бабушке, он старался читать благоговейно, медленно, с расстановками.

Однажды на той же неделе, оставшись наедине с сыном, Улжан заговорила о Зере. Абай слушал ее с жадным вниманием.

Слезы набежали на ее глаза.

— Наша мать была примером истинного благородства, — сказала она. — Не будь ее, я тоже осталась бы черствой и бесчувственной к нуждам народа. Мы всем обязаны ей, мы должны усердно чтить ее память.

Абай только сейчас, как-то сразу, заметил, как постарела Улжан. Казалось, жизнь запечатлела в благородных чертах ее лица всю тяжесть затаенных дум и горькой печали. Он молча склонил голову в знак согласия с нею.

Через неделю, дождавшись окончания поминального чтения, Кунанбай со своими уехал в Корашокы.

Вскоре, как обычно, все аулы тронулись на жайляу. Но Абай не оставлял корана до сорокового дня. Отдаляясь от кочевого каравана, он пел песни—трогательные и полные тоски, печальные гимны покинувшей их прекрасной душе. В горах он поднимался на вершины, окидывал взором степной простор и пел.

Скорбь этих песен окутывала его, как осенние тучи.

Когда аулы перевалили за хребет, народ предстал перед Абаем во всей своей жалкой нищете. Новый прилив горя охватил его. Он увидел, как свернулись и сжались большие зажиточные аулы, — там, где раньше стада не умещались на выгонах, остались редкие кучки скота, терявшиеся в обширных полях. Стада стали слишком малы, и аулы по нескольку слились в один. Множество обширных урочищ, пастбищ, тучных склонов и широких жайляу за Чингизом оставались безлюдными. Появилось много нищих, безнадежно затянутых трясиною нужды. Абаю казалось, что вслед за его старой матерью Зере тяжко занемогла другая великая мать — народ.

Наступил сороковой день кончины Зере. На обширном жайляу со всех аулов собрались толпы родичей, чтобы отдать последнюю почесть любимой всеми старой матери.

Задумчивость и изнуренный вид Абая давно беспокоили Улжан. После поминок, когда все разошлись они остались наедине, она обратилась к нему:

— Тебя совсем поглотили тяжелые думы, сын мой… Разве ты не замечаешь, как исхудал? В молодости не следует так отдаваться печали. Оставь свои мысли! Возьми себя в руки. Вызови Ербола, садись на коня, поезди по аулам. Надо отвлечься…

Приехал Ербол. Он привез Абаю салем Асылбека, сына Суюндика: Асылбек с подчеркнутым уважением приглашал его к себе в гости. «Он нигде не бывал с самой смерти старой матери, пусть приезжает погостить к нам», — просил он.

Аул, как и раньше, находился в Жанибеке. Когда Абая со своим другом подъехал туда, Асылбек и Адильбек вышли встречать их. Гости сначала зашли а Большую юрту и отдали салем старшим.

Суюндик отнесся к нему весьма приветливо. Дней десять назад он со своей байбише совершил молитву в память Зере. Расспросив о здоровье Улжан и семьи, он приказал приготовить для приема гостей юрту Асылбека, чтобы молодежь могла провести время свободнее и веселее, не стесняясь старших.

Молодая юрта и без того была готова. Абай направился туда. И по пути и в самой юрте все радушно встречали его, — во всех чувствовалось желание отметить вниманием его приезд. Особенно старалась жена Асылбека — Карашаш. Даркембай, который тоже оказался здесь, встречал Абая вместе с сыновьями Суюндика. Он свято чтил память Зере, с глубочайшим уважением отзывался о ней. Он помнил по именам детей Абая, расспрашивал об их здоровье и не отходил от дорогого гостя. После бедствий «джута последнего снега» Абая знали очень многие бокенши и борсаки, нашедшие себе приют в Жидебае и Мусакуле. Теперь при встрече с Абаем их лица расцветали благодарным приветом.

— Свет мой, — сказал ему один из стариков рода Борсак, — нынешний джут миновал меня. Этим я обязан аллаху, а после него — одному тебе!

— Слава богу, — подхватил Даркембай с сияющим видом, — молока у нас не меньше, чем у других! Недавно я побывал в тринадцати аулах из тех, которые ты приютил тогда на урочищах. Они лучше всех сохранили свой скот!

Карашаш встретила Абая у себя в юрте с искренней теплотой и сердечностью, как близкого, дорогого человека. Даже Адильбек, который когда-то злился на Абая и за глаза всячески угрожал ему, тоже, как видно, забыл о старом. Он старался ухаживать за гостем, открыл ему двери, помог раздеться и собственноручно принял от него и повесил его плеть и шапку. Что же касается Асылбека, то Абай давно уже считал его настоящим братом.

Все встречали Абая, как самого близкого, родного, как самого дорогого друга. Из двух ближайших к Иргизбаю родов — Жигитек и Бокенши — Абай всегда предпочитал Бокенши: люди здесь отличались необыкновенным радушием и для тех, кого они уважали, готовы были пожертвовать всем.

Гостеприимные молодые хозяева старались разнообразить трехдневное пребывание Абая всевозможными развлечениями.

Абай пел песни, смеялся, шутил, но в душе его все время жила смутная грусть. Он только ревниво скрывал ее от окружающих.

Аул Суюндика был близок и дорог ему. Целая буря мыслей и ощущений овладела им, едва он подъехал к Жанибеку. Мечта… надежда… — эти слова вызвали в его душе давнюю боль. Не было конца этой грусти, как нет излечения от раны, нанесенной в самое сердце. И рана эта связана с дорогим именем Тогжан, с ее чистой любовью.

С той минуты, как он вошел в дом Суюндика, душа его не переставала метаться в поисках любимой. Все было на месте. Люди остались те же, что и раньше. Не было только одной Тогжан. Мгновениями в Абае вспыхивала безумная надежда. При каждом шорохе у дверей он вздрагивал — не она ли? Когда кругом было тихо, ему казалось, что до него доносится мерный звон шолпы.

Входя в юрту Асылбека, он почти грезил.

Вот он переступил через порог… Вот правая сторона юрты… Сейчас снова перед ним поднимется завеса счастья…

Тот же белый шелковый занавес, та же высокая кровать с костяными украшениями, то же убранство — все на месте. Те же друзья — Карашаш и Ербол — так же тихо, без скрипа открыли приветливую дверь счастья… Но теперь их дружба ничему не сможет помочь.

Тогжан нет.

Абай старался быть веселым, пел, играл, но глубокая грусть смотрела из его глаз. Случалось, что он внезапно замолкал, и тогда тяжелый вздох вырывался из его груди.

Одна Карашаш понимала его. Она угадывала, какая невыносимая печаль таится в его груди. Он не стонал, но его дыхание прерывалось, выдавая судорожный трепет сердца. Иногда он вздыхал так беспомощно, как будто пересиливал рыдания. И Карашаш глубоко жалела его.

На третий день, когда в юрте никого не было, она обратилась к Абаю:

— Абай, милый! Ты, я вижу, не забыл мою Тогжан. Мне кажется, что ты у нас — как на покинутом жайляу: аулы давно откочевали, остались одни истоптанные следы стоянок. — Карашаш чуть заметно покраснела и улыбнулась.

— Ты права, женеше! — сказал Абай. — Ты угадала, от тебя не скроешь… И тогда ты все понимала, и теперь твое сердце осталось верным дружбе! Да, я не могу забыть, ничего не могу забыть! Все живет перед моими глазами! Ни на один миг не покидает меня мысль о ней! Мне все кажется, что вот-вот войдет Тогжан и начнет упрекать меня…

— Вас связала необыкновенная любовь. Мне так жаль вас обоих… — тихо сказала Карашаш. — Вся ее душа была твоею… Когда она уезжала с женихом, она молила судьбу не о счастье, а о смерти, — она ведь ничего не скрывала от меня.

Оба печально задумались.

Последняя встреча и прощание с Тогжан так живо встали в памяти Абая, как будто все это произошло вчера.

Как тих, как умиротворенно-прозрачен был тот вечер! В сумерках Тогжан пришла к нему в овраг. Она сама вызвала его в аул: «Пусть приедет!»— просила она. Это было перед последним приездом ее жениха, перед ее отъездом из родного аула. Жениха ожидали со дня на день.

Тогжан — робкая, застенчивая Тогжан — пришла в тот вечер смелая, решительная, готовая на все. Дрожа, со слезами на глазах, она говорила горячо, быстро, как всегда по-детски доверчиво склонив голову на его грудь. Он держал любимую в своих объятиях, прижимал к себе и слушал, слушал…

Они так давно любят друг друга… Но как мало было у них радостей, как редко удавалось встречаться… Тогжан горюет об этом. Она упрекает жизнь, самого создателя, она проклинает все — и прежде всего свою судьбу…

Абай не смог утешить ее и вернулся подавленный. И сейчас перед его глазами предстал образ Тогжан — печальной, уходящей от него в слезах… Казалось, он видел черные складки шелкового чапана, накинутого на ее голову, белый подол ее длинного платья… Он слышал звенящую песню шолпы, заглушённую чапаном… Все живет в нем, он ничего не забыл.

Абай снова вздохнул.

— Тогжан, бесценная, не забыть мне тебя… не забыть! — прошептал он.

Для Карашаш Абай был больше чем друг их семьи, — она относилась к нему как к самому близкому родичу, а потому обратилась к Асылбеку с просьбой.

Она собиралась съездить к своим родителям. Убедившись, что ее муж дружески расположен к Абаю, она предложила Асыдбеку пригласить с собой Абая. Асылбек согласился Он понимал, что такая поездка поможет его гостю рассеять печаль о Зере.

— Погуляем, повеселимся, погостим там подольше… Ты сам знаешь, что за человек Кадырбай. Это будет замечательная поездка! Поедем вместе! — приглашал он Абая.

Абай привязался к семье Суюндика, и ему не хотелось расставаться с Асылбеком и Карашаш. Он согласился без колебаний.

Через четыре дня самые уважаемые в Тобыкты жигиты вместе с Карашаш приехали в аул Кадырбая.

Молодых гостей встретили радушно. Вслед за ними в юрту Кадырбая хлынул народ — и взрослые и дети. Каждому хотелось послушать новости и расспросить о здоровье родичей и благополучии аулов, откуда прибыли гости; некоторые, наконец, шли из простого любопытства. Целая толпа женге и девушек окружила Карашаш.

Кадырбай был дома. После поминок Божея Абай встретился с ним первый раз. Акын заметно постарел за эти годы и утратил свою прежнюю дородность. Волосы его еще больше поседели, морщины на лице стали глубже, он побледнел и исхудал. Только высокий открытый лоб и прямой тонкий нос напоминали прежнего Кадырбая. Акын поздоровался сперва с Асылбеком и Карашаш, а потом с Абаем и Ерболом.

Он не узнал Абая, и вспомнил о прошлой встрече только после того, как ему сказали, что это сын Кунанбая. Тогда он стал рассказывать об асе так подробно, словно торжество произошло только вчера. В заключение он сказал:

— Да, ас Божея — один из самых знаменитых асов наших дней! Все гости были довольны и благодарили распорядителей!..

Кадырбай почти все время говорил один. Он расспрашивал гостей о благополучии их аулов и о здоровье старших. Абай кратко, но обстоятельно отвечал на вопросы Кадырбая и вел себя сдержанно-учтиво. Но беседовать с хозяевами и поддерживать занимательный разговор приходилось как раз ему одному: Асылбек — зять в этом доме, и ему разговаривать было неудобно, да и сам Кадырбай с вопросами обращался преимущественно к Абаю.

В эти дни при каждой встрече людей из соседних родов разговор неизбежно переходил на джут.

Кадырбай весь вечер расспрашивал Абая, как прошел «джут последнего снега» в Тобыкты, какой аул пострадал больше всех, кому удалось отделаться легче, голодает ли народ, как с белым…[107] Он расспрашивал обо всем. Он отлично знал Тобыкты и так легко представлял себе его аулы, как будто сам был родом оттуда и только на время покинул его для далекого путешествия. Минутами он напоминал врача, который прислушивается к биению сердца тяжелобольного и тут же спрашивает, как началась болезнь, хорошо ли больной спит и охотно ли принимает пищу.

Точность ответов Абая невольно поражала Асылбека и Ербола, — он знал, у кого сколько осталось голов скота, какой род в чем понес урон и на что может надеяться сейчас. Он помнил все так, как будто вел подробную запись. Его сведения и описание аулов дали Кадырбаю полную картину жизни Тобыкты.

Старик слушал, не скрывая глубокой печали: горе соседнего племени удручало его. Изредка он покачивал головою и причмокивал языком.

В его аулах положение было не лучше. Лютый буран не пощадил и Сыбана. Родичи Кадырбая сами были почти разорены. Кадырбай никогда не был богатым, но в прежние годы ему хватало и кумыса и убойного скота, а сейчас ему пришлось попросить несколько дойных кобыл в аулах, избежавших джута. Он рассказал о бедствиях племени, не скрывая и своего собственного положения.

Не уцелел ни один из окрестных аулов. Народ сам напоминал теперь тощее стадо, которое не в силах подняться на ноги. Описав печальное состояние сородичей, Кадырбай добавил:

— Мы резвились, как куланы на воле, но буран всех нас сжал в комок. И вот мы согнулись, как лозняк от урагана, бессильные и жалкие…

Чаепитие кончилось. Около юрты кололи барана. Соседи, пришедшие вместе с гостями, разошлись. Девушки, окружавшие Карашаш, после чая тоже ушли. Осталась только одна — высокая, стройная и статная, с привлекательными чертами лика. Своими тонко очерченными черными бровями она напоминала Абаю Тогжан. Чуть удлиненные темные глаза девушки светились умом. Когда она смеялась, вся юрта наполнялась лучами ее сияющего взгляда. Благородный овал ее лица алел нежным румянцем. Прямой нос и открытый лоб сразу выдавали и ней дочь Кадырбая.

— Это была Куандык, которую называли «акык-кыз[108] Кадырбая».

Пока не разошлись соседи и домашние, Куандык занималась хозяйством. Она приготовила чай, сама угощала приехавших и помогала матери. Когда беседа отца с гостями затихала, она старалась занимать Карашаш. Она не стеснялась отца, не бормотала себе под нос — **ее**  звонкий голос то и дело раздавался во время чая:

— Пейте! Кушайте! Вы мало пили!.. Пейте и закусывайте! Куандык говорила и угощала, как настоящая хозяйка.

Чай убрали, суета в доме кончилась. Вся семья собралась возле гостей. Куандык подсела к Карашаш, расспрашивая ее об Абае, которого она давно знала по рассказам.

Когда беседа пошла о джуте, Абай разговорился. Он говорил с достоинством, метко и образно. Он сравнивал нынешнее бедствие народа с его прежней жизнью. Каждый знает, говорит он, что джут — неизбежное несчастье кочевых казахов. Но хоть кто-нибудь извлек урок из горьких испытаний, преследующих народ из поколения в поколение? Найден ли путь, чтобы избавиться от этого бедствия? Кто из тех, на кого народ надеялся и кого он превозносил, указал ему тропу к спасению? Знает ли Кадырбай таких людей?

Его вопросы были полной неожиданностью для старого акына. Кадырбай задумался и потом ответил гостю стихами:

Счастья изменчив круг,

Жизнь — что в бурю тростник,

Смертен подлунный мир.

Сад, что расцвел вокруг,

Осенью свил, поник…

Так же бессилен ты —

Блекнет твой лик, как цветы…

Он говорил о вечном круговороте жизни.

Абай оценил красноречие ответа, но с мыслью его не мог согласиться. Недолговечные цветы не пример для людей. Казахи — народ многочисленный и крепкий, и у них должно быть крепкое будущее. По дальнейшим словам Кадырбая выходило, что если путь всякого народа в руках непостоянной, изменчивой судьбы, то к казахам она относилась милостиво. Абаю и это не казалось убедительным. Он возразил, что у других народов широко развито просвещение, а знание — это неиссякаемый источник благополучия, сила, при которой не страшен никакой джут.

— Подумайте, — сказал он, — ведь казахи очень плохо знают жизнь других народов. А когда один народ хорошо знает жизнь другого, он может заимствовать лучшее. Со времен Адама все лучшее, что было создано каким-либо народом, становилось общим достоянием. А мы пребывали в стороне и вдалеке от общего потока…

Кадырбай и Куандык переглянулись — они без слов поняли друг друга. Кадырбай не был похож на других отцов, он часто беседовал со своей дочерью, всегда считался с ее мнением, а случалось, и советовался с нею.

Беседы и споры продолжались почти весь вечер. Молодой жигит высказывал совсем новые мысли, которые поражали своей глубиной и заставляли старого акына задуматься.

Кадырбаю не раз приходилось вести разговоры со стариками — никогда и никто не мог поставить его в тупик. Но этот юноша совсем по-новому смотрел на то, что, казалось, давным-давно было решено и всем было ясно, «как луна». Он спорил. И спорил умело, убедительно. К голосу его приходилось прислушиваться.

На следующий день за утренним кумысом разговор возобновился. Куандык не вступала в спор, но явно сочувствовала Абаю; изредка она с улыбкой останавливала отца, присоединяясь к мнению Абая.

Кадырбай наконец спросил его:

— Что ж, по-твоему, нужно? Какой путь предлагаешь народу ты? Ты осуждал, говорил о недостатках… Ну, а сам-то нашел выход из этого тупика? Скажи, я готов слушать!

Абай попробовал подвести итог.

— Народу нужно просвещение, знания. Ему нужно учиться и воспитываться… Настало время, когда спокойно дремать, надеясь на бескрайние кочевья, на широкие выпасы, не приходится. Уже пора учиться у народов, которые опередили нас! Вот что нужно!

Не сейчас, не в этом споре Абай пришел к такому заключению, оно — итог его долгих наблюдений. «Это единственный надежный путь не только для моего народа, но и для меня самого», — не раз думал он.

Кадырбай говорил другое: по его словам, учиться и воспитываться — значило идти по дороге, проторенной предками. Знать этот путь и не сбиваться с него — дороже всего.

Он хотел было опять возражать Абаю, но тут снова вмешалась Куандык.

— Спорить больше не о чем! — решительно сказала она. Кадырбай замолчал и задумался. После долгого размышления он обратился к Абаю:

— Ты высоко поднялся, сын мой! Истина говорит твоими устами. Твои стремления и цели всколыхнули и мою душу. Да, ты прав: у каждого века свои требования! И ты говоришь языком своего века к мыслишь за будущие поколения… Но вот вопрос: к кому идти? С кого брать пример? Не направила бы жизнь на ложный путь.

И Кадырбай замолчал. Опытный, видевший жизнь старик сопротивлялся долго. Он взвесил в продумал все — и только тогда согласился.

Следующие два дня прошли без споров. Абай превратился в любознательного слушателя и расспрашивал Кадырбая об акынах, с которыми тому приходилось встречаться в жизни.

Старик сразу почувствовал себя легко и уверенно, точно твердо ступил на знакомую дорогу. Он воодушевился и время от времени исполнял различные песни. Если какое-нибудь место выпадало у него из памяти, он поворачивался к дочери. Куандык тут же быстро подсказывала отцу забытые им строки. Она помнила наизусть и айтысы, и состязания в красноречии, и «песни печали».

Кадырбай часто вспоминал Садака; в юности Садак был его любимым акыном.

— Его знания не имели границ. Он видел все, испытал все. Нам не познать и не запомнить тысячной доли того, что сказано им. Великий светлый дух почил на нем, — говорил старик.

Абай стал расспрашивать Кадырбая о его состязании с Садаком, известным всем под именем «айтыса Садака с мальчиком»; Абай хорошо знал, что этим «мальчиком» как раз и был Кадырбай. Но старый акын не захотел рассказывать подробно.

В Кадырбае чувствовался настоящий человек: честолюбие ему чуждо, хвастовство не свойственно его душе. Такими же были и акыны Садак, Барлас, Шумек, о которых он вспоминал с глубоким волнением. Он заговорил о поэзии, о великом божественном даре, и об акынах, носителях этого дара, в благородных песнях которых — нетленный знак веков, вся печаль, все надежды, вся жизнь народа.

— Когда я прислушиваюсь к голосу кюев, я чувствую, как одно горе переливается в другое. Послушай, как изливается в звуках омраченная душа. Вчера, сын мой, ты сказал великую истину: ни один человек, покидая этот мир, не был доволен своей жизнью, все унесли с собою несбывшиеся надежды… Века донесли до нас множество песен — и в каждой из них звучит один и тот же голос. Это не голос беспечного веселья и бездумной радости. Это — печаль. Это — тоска, навеянная жизнью… Вспомни древнего Асана-кайгы, подумай и о недавнем джуте последнего снега… И в наши дни акыны тоже проливают слезы в своих песнях… Слишком мало лиц, озаренных улыбкой счастья, встречается им в пути. Все поют об урагане жизни, сметающем юрты. И это недаром. Сам же ты говорил о беспомощности народа! Не радость и счастье, которых мало в его жизни, а печаль и горе, сопутствующие ему, — вот что рождает песни наших акынов…

Так Кадырбай коснулся узла, которого не развязать. И в дальнейшей беседе их уже не чувствовалось разницы лет: они говорили и думали об одном. Только теперь вполне раскрылась перед Абаем душа старого акына.

В ранней юности одним из любимых акынов Абая был Барлас потом он узнал Шоже, вндел и слышал Балта-акына. Сейчас, после долгой беседы, он сравнивал с ними Кадырбая. Седой акын, проницательный, чуткий, полный глубоких мыслей, широко смотревший на жизнь, походил на них, хотя и отличался чем-то своим. Но в самом главном, в самом сокровенном — они сходились, и все они казались ему вершинами в цепи гор, тянущейся из смутной дали веков.

Душевная красота старика покорила Абая. Он полюбил его, как родного отца. Но это был отец, не похожий на других. Он не станет учить: «Паси скот, сберегай его! Наживайся! Расти мое потомство, будь чужим для других!»— Он — отец всего разумного. Свет и благо — вот его путь и завет.

День за днем проходил в сердечной беседе. Абай ни на минуту не расставался со старым акыном. Но все остальные — Асылбек, Ербол, Куандык и Карашаш — думали о другом. «Пойдем в Молодую юрту, повеселимся!»- звали они Абая. Кадырбай и сам решил отпустить молодежь.

На четвертый день вечером он взял в руки домбру, и обратился к ним:

— Любимые мои, вот я поговорил с вами — и душе моей стало легче. Но мы, старики, подобны верблюду, залегшему на потухшем пепелище, или старой бабушке, что твердит одни и те же песни старческой грусти. Долго ли вам слушать ее бесконечный напев? Ваши стремления, ваше будущее перед вами. А наш стяг свернулся и поник. Ему уже не венчать вершину, и он вам не пример!.. Предгорья и подъемы, ведущие в вышину, — у вас впереди. Идите к ним не отступая! Гоните уныние! Веселитесь, резвитесь, ищите неизведанного, не отвращайте лица от ожидающих вас вершин!

Старик несколько мгновений сидел молча.

— Ну, идите, веселитесь!.. Я провожу вас моей хилой песней… — И Кадырбай заиграл на своей домбре.

Молодежь замерла: мастерская игра покорила всех. Потом Кадырбай запел. Его голос, уже слабый, но сохранивший природные краски, проникал в душу, — в молодости седой акын, несомненно, был непревзойденным певцом. И в этом напеве тоже жила древняя печаль.

Слова песни были заветом отца: «Дочь родная моя, драгоценный брат мой, будьте достойными… Оставьте память по себе… Пусть поверженный жизнью народ, теснящиеся вокруг тебя братья, малые дети — пусть все видят в тебе защиту от непогоды… Будьте для них могучим тенистым деревом…»

В дымке сумерек голос его звучал проникновенно. Особенно поразил Абая припев, сочиненный Кадырбаем много лет назад. В нем одном раскрылись все сокровища сердца акына. Припев этот прокатывался по песне, как вновь набегающая волна: «Народ мой!.. О народ мой!» Один он все сказал о Кадырбае. Старик замолчал.

Абай сидел бледный от волнения. Он замер на месте. Судорога сжимала его горло. Взгляд его застыл на Кадырбае. Ему казалось, что старик пел как бы с высокой и далекой вершины — будто праотец народа обращался к ним из глубины веков.

Куандык заметила перемену в лице гостя. Она осторожно взяла из рук отца домбру.

— Отец, вы же обещали нам песню «радуйся!», а получилось снова — «рыдай!» Но на этот раз мы не хотим плакать! Игры ждут нас, мы уходим на веселье, вот как!

Ее слона вызвали общий смех. Абай удивлялся неисчерпаемой жизнерадостности Куандык. Рядом с Кадырбаем, который был весь как печальные сумерки, она была ясным, сверкающим полуднем.

По дороге к Молодой юрте к ним примкнуло много девушек и жигитов. Затеялись игры, шумные развлечения, не стихавшие до зари. Играли и в «платок», и в «хорош ли хан», и в поиски колечка, когда спрятавший его во рту должен суметь отчетливо сказать слово «мыршым», и в «скрученный кушак», где жигит должен угадать, которая из девушек хлестнула его по спине, и **в**  скороговорки. Каждый проигравший нес наказание — он должен был спеть песню, тут же сложить стихи, выдумать острую шутку.

Игры сменялись айтысами, состязаниями в пении и складывании стихов. Племя Сыбан вообше отличалось большой любовью к развлечениям и играм, а аул Кадырбая со времени отца акына Актайлака стал подлинной колыбелью айтысов и новых напевов. В этой колыбели и выросла Куандык, душа веселья к песен. И девушки, окружавшие ее, тоже умели петь не хуже своей подруги.

В аулах Сыбана и Наймана с давних пор установился обычай не выдавать замуж девушек молодыми. В соседних родах даже существовала поговорка: «Постарела дома, как невеста из Сыбана». Все эти девушки — большие любительницы шуток, разговорчивые, веселые, отличные певуньи.

Вечером Куандык взялась сама вести игры. Ее смех, невольно заражавший всех, был необыкновенно мелодичен — он сам звучал как веселая песня. Она не давала пощады ни одному жигиту и с видимым удовольствием строго наказывала проигравших. Но когда она попадалась сама, то, ничуть не смущаясь, не переставая смеяться, без малейшей досады несла наказание.

Весь вечер Абай и Куандык провели вместе. Они долго состязались в пении и стихах. Первый айтыс затеяла сама Куандык, вызвав своей песней Абая. Тот не привык к состязаниям, и так как импровизировал он медленно, подбирая каждое слово, то сначала старался взять самим напевом. Многие сложные напевы здесь были еще неизвестны. — Абай выбирал их и пел с большим подъемом. Этим ему удавалось брать верх над Куандык.

Так прошло их первое состязание. В следующий раз Куандык перешла с песни на терме.[109] Абай знал только один терме — стремительный, как рысистый бег. Он перешел на него и начал импровизировать быстро, как Куандык. Теперь он чувствовал себя уверенней, слова рождались сами. Айгыс увлек его: он почувствовал необычайный прилив сил, почти вдохновение. Девушка и жигит точно подзадоривали друг друга и попеременно брали верх один над другим.

Глаза Куандык смеялись, щеки горели, она наслаждалась этой борьбой с жигитом. В своем айтысе они расточали шуточные похвалы, обращаясь друг к другу, как к избраннику сердца. Абай иногда даже вставлял слова: «любовь», «возлюбленная». Куандык отвечала сдержаннее: «Почтенный гость, достойный уважения жигит, приветствую твое посещение. Прекрасен род твой, прекрасен ты сам. избранный, одаренный, но взаимное уважение — вот чувство, достойное нас обоих».

Если, состязаясь в стихотворстве и остроумии перед внимательной толпой, они только шутили, то в беседе один на один они сказали друг другу больше.

Разговор завела сама Куандык. В самый разгар веселья, когда все увлеклись играми и одни пели задорную песню, а другие громко смеялись, она обратилась к Абаю:

— Песня не всегда поворотлива, и что можно сказать на людях, Абай? Песня заслонила слова… А у меня их еще много для тебя…

Она старалась говорить это смеясь, чтобы не привлекать внимания окружающих. В словах ее ясно чувствовалось искреннее расположение к Абаю. Их влечение друг к другу началось не сейчас, — оно родилось еще во время бесед с Кадырбаем. Взяв белые пальцы Куандык. Абай по биению крови угадал сердечный трепет. Его рука тоже вздрагивала.

— Наши сердца бьются одинаково, видишь? — сказал он. — Твои слова — радость для меня…

Теперь каждая улыбка, шутка, движение, взгляд — все выражало их восхищение друг другом, все озарено было внутренним ликованием. По ходу игры они должны были поцеловаться — и то, что томило их сердца, вспыхнуло пламенем, загоревшимся на их щеках.

Молодежь стала расходиться, лишь когда небо посветлело в утренней заре. Куандык направила Абая в крайнюю юрту аула. Когда все разошлись, Куандык пришла в юрту. Хозяйка ее, старая женщина, уже ушла к стаду. Они были вдвоем. Два молодых существа, сжигаемые одним пламенем, встретились. Сейчас они молчали. И молча они кинулись в волну, певучую и немую, поглотившую их обоих.

Веселье и игры в ауле продолжались еще несколько дней, но связь Абая и Куандык больше походила на дружбу, чем на любовь. Пламя вспыхнуло, но почему-то не разгоралось. Куандык на людях нравилась Абаю больше, чем наедине: правдивая, откровенная смелость ее чувства несколько коробила Абая.

В эти дни Абай многое узнал о жизни Куандык. У нее есть жених — из племени Керей. Он женат, Куандык будет его младшей женой. Жених уже несколько раз бывал у нее, но она не находила в себе любви к нему, сердце ее всегда оставалось холодным. Она печально признавалась в этом Абаю и раскрыла перед ним мечты юного сердца.

Он задумался и промолчал. Дома у него — Дильда, мать нескольких его детей… Правда, Куандык как будто создана для него: она отличается и воспитанием, и умой, и обаятельной внешностью. В первый раз в жизни Абай видел в девушке такое сочетание красоты, ума, внутренней силы и дарования. Но поступить вопреки воле Кадырбая и забыть Дильду и детей — слишком трудно…

Он ценил Куандык рассудком, а сердце его оставалось спокойным. Тогжан опять ни на минуту не покидала его мыслей. Она стояла перед его глазами неотступным видением, точно ревниво отстаивая свои права перед красавицей Куандык. И Абаю казалось, что любовь, которую пробудила в нем Тогжан, сердце, которое она принесла ему, радость и счастье, которыми она одарила его, — в этом мире неповторимы: равной ей не было и не могло быть. Когда это видение появлялось перед ним, Абай весь внутренне сжимался, и руки его, простертые для объятья, вдруг опускались.

И Куандык как будто чувствовала это. Горячее пламя вдруг вспыхнувшей любви тоже утихало в ней, заслоняясь дружеской привязанностью, но мечта о жизни с Абаем продолжала манить ее.

Не в силах решить, Абай посоветовался с ней самой: если она разрешит, он расскажет обо всем Асылбеку и Карашаш и поступит так, как они посоветуют. Куандык не возражала.

Абай переговорил с Асылбеком и Карашаш порознь. Карашаш одобрила сразу, — она так давно желала счастья Абаю. Но Асылбек возразил с тою же убежденностью, с какой Карашаш одобрила.

— Это невозможно, — решительно сказал он. — Дильда ничем не виновата, и Кунекен обижать ее не станет, — он просто не разрешит тебе этого, если не захочет разрыва с Алшинбаем. А бедную Куандык твоя родня будет презирать. Подумай, какой это будет удар для Кадырбая!.. Не дай бог, чтобы кто-нибудь узнал об этом, кроме меня… Пусть все это умрет здесь же!

То же Асылбек сказал Куандык. Ее мечте не было суждено осуществиться. Но в день отъезда Абая они дали друг другу слово искать возможного пути, не оставляя надежды. Они расстались искренними друзьями.

От аула Кадырбая до зимовья Тобыкты — два дня пути.

Абаю было нелегко покидать гостеприимный, радушный аул. И чем дальше он отъезжал от него, тем дороже казался ему благородный облик Куандык — преданной, любимой супруги.

3

В этом году на всех жайляу было не так, как все прошлые годы. Невеселое лето, полное уныния, скорей напоминало осень. Старейшины, даже Кунанбай, перестали делать обычные сборы родичей. Слухи, сплетни и толки, роем кружившиеся над Тобыкты, заметно стихли. Спорить о стоянках и о выгонах было нечего: кроме рода Иргизбай и аулов Байдалы, Байсала, Суюндика и Каратая, везде было мало скота, и не для чего было оберегать пышную зелень предгорий — давнюю и постоянную причину ссор и раздоров. Тем, кто ворочал делами племени, не приходилось проявлять свою силу и власть. Почти весь народ страшно обеднел после джута, и подстрекатели предпочитали сидеть смирно.

«Прикидывайся печальником о народе. Вздыхай на сборах, тоскуй о благополучных днях. Притворяйся, что делишься последним, и, раздавая людям прокисшее молоко, приговаривай: «Кормлю голодающих…» В год, когда нужда делает народ хмурым, лучше быть скользким, изворотливым, а когда народ окрепнет и повеселеет, — грабь его по-прежнему…»

Такова мудрость грабителей, живущих за счет народа. Таков закон, записанный в войлочных книгах.[110]

В этом году народ действительно вел себя необычно: все были угрюмыми и неразговорчивыми, — не скоро еще суждено разойтись их насупленным бровям. За все лето на жайляу Тобыкты не состоялось ни одного тоя. Обычно в это время одна байга следовала за другой, а нынче не было скачек даже молодых коней трехлеток. Привозили или отправляли невесту, совершали ли обрезание — все ограничивалось скромным угощением и проходило без обычной пышности.

И вдруг среди всеобщего затишья распространился необыкновенный слух: заговорили о ворах, о налетах конокрадов.

Аулы двинулись на осенние стоянки, уже было пройдено несколько перегонов, когда внезапно начались кражи. За каких-нибудь пять дней из табунов Майбасара, Жакипа и даже самого Кунанбая пропало двадцать отборных коней. Весть об этом мгновенно облетела все аулы. Те, кто был побогаче, усилили охрану табунов.

Но поймать конокрадов никак не удавалось. Обычно такую кражу не скроешь: там увидят свежесодранную шкуру, здесь — кровь и отбросы, тут — даже и мясо. Слухи и разговоры распространяются очень быстро. Но на этот раз не слышно было ни звука — кони словно канули в воду.

Сначала Кунанбай и Жакип, обсуждая случившееся, решили: воры налетели из соседних племен — Керея, Наймана или Сыбана. Это казалось тем вероятней, что все аулы расходились по осенним пастбищам, и потому ворам из уходящих племен было удобнее угнать с собой чужих коней.

Кунанбай задержал кочевку и разослал разведчиков по всем ближайшим родам. Маленькие конные группы во главе с Майбасаром и Изгутты, не щадя коней, объездили все ближние и дальние роды, но и там не удалось ничего нащупать. Самые ловкие, сообразительные жигиты обшарили все пустынные места, утесы, ущелья, овраги, даже складки безлюдных гор и холмов, но на след не напали.

Во время самых усиленных поисков пропало еще пять лошадей из аула Кунанбая. Пострадал не только род Иргизбай: у Байсала и Суюндика тоже увели несколько кобыл.

Только проходила ночь, как снова летели страшные слухи: «Увели!», «Опять увели!..»

Кунанбай вышел из себя. Он сам сел на коня, но и ему не удалось ничего обнаружить. Разведчики вернулись ни с чем. Дозорные, проводившие бессонные ночи на всех возвышенностях, тоже явились с пустыми руками. Оставалось только одно: усиливать ночную охрану. По приказанию Кунанбая все аулы двигались вместе, останавливались одновременно и сбивались в одну кучу.

Кочевка проходила быстро. Аулы спешили, точно спасаясь от пожара. Все надеялись, что воры отстанут, накинутся на других.

Действительно, спешное передвижение помогло аулам Иргизбаев, зато участились пропажи у жигитеков и котибаков. Но и у Иргизбаев кражи не прекратились: в одну из ночей пропали два стригуна и одна отгульная кобыла.

— Теперь я знаю, — сказал Кунанбай.

Он сказал «знаю», но по имени вора не назвал. Байсал и Суюндик терялись в догадках. Они тщетно ломали головы и кипели бесплодной злобой. «Ищите, не прекращайте поисков», — передавал им Кунанбай, но своими предположениями ни с кем не поделился. В то же время он отправил несколько человек соглядатаев по соседним родам.

Отправляя их, он сам и давал им указания, никого не посвящая в свои намерения. С его поручением шли люди самые незаметные: в аул Караши родя Жигитек, например, Кунанбай послал дряхлую старуху, в Котибак — старика, на которого никто не обращал внимания, в Торгай поехал старый погонщик верблюдов.

Все эти старики не подавали и виду, что разыскивают пропажу: они прикидывались, будто и не слышали о ней ничего. Что могут знать безобидные люди, которые ждут милости только от одного создателя?.. Но каждый вечер и каждое утро обходили все дома и интересовались приготовляемой в них пищей. Им было поручено только это.

Ловкий прием оправдал себя: Кунанбай скоро нащупал врага. Он напал на след воров, уводящих десятками его лошадей. Итак, его злоба снова изольется на жигитеков. Теперь с ним будут иметь дело Караша, Каумен и их семьи…

Его подозрения были справедливы: грабители были из рода Жигитек. Кражи были делом рук двоих людей: Балагаза и Абылгазы.

Балагаз — сын Каумена, старший брат Базаралы — был одним из самых отчаянных и решительных жигитеков. Абылгазы — сын Караши, дети которого все в отца: большие любители ссор и шума, готовые в любую минуту досадить кому угодно. В свое время сам Караша вместе с Кауменом были причиной ссоры между Кунанбаем и Божеем: как известно, бой в Токпамбете начался с того, что Караша и Каумен избили посыльных. С тех пор на всех больших сборищах — во время Мусакульской битвы, на асе Божея — сыновья Каумена и Караши привлекали общее внимание и всегда вызывали всевозможные пересуды. Все они были крайне придирчивы в вопросах чести, самолюбивы, сильны и смелы. Базаралы тоже вышел из этого гнезда. Он и остер на язык, и красив — высокий, статный. Жигитеки вправе гордиться им. В их роду отвага и сила всегда сочетались друг с другом.

Джут, как и везде, разорил большую часть рода Жигитек, у которого было мало пастбищ. Аулы Каумена и Караши оказались разоренными дотла. У таких жигитов, как Базаралы, Балагаз, Абылгазы и Адильхан, осталось по одному коню.

Целое лето они никуда не выезжали, терпели голод и недостатки. Просить удоя они считали для себя унижением, — самолюбие не позволяло им попрошайничать. Они не пошли даже к такому близкому родичу, как Байдалы. Жигиты решили было наняться работать, но народ после разорительного джута не нуждался в работниках. А работа по найму была бы единственным спасением, да и то они могли бы прокормить только себя, а не семью.

Целое лето Балагаз и Абылгазы видели высохших от нужды матерей, невесток, жен, голодных детей, слышали стоны и тяжкие вздохи. Они проклинали жизнь, но выхода не находили. В них поднималась злоба, накапливалась ненависть.

Базаралы правильно понял и метко выразил то, что волновало всех. Как-то раз, сидя на холме среди жигитов, он заговорил с желчной усмешкой:

— Если не прекратятся распри, нужда никогда не покинет народ. Вот попробуй сейчас кочевать! Старики родители, жены, лети — все поплетутся пешком. Последнее дело — кочевать с одной коровой, но для нас и это недостижимо. Чем еще может покарать нас создатель?

Этим летом Базаралы часто говорил с жигитеками об обидах, накопившихся в сердце народа. Беседы эти волновали Балагаза и Абылгазы и приводили их в отчаяние. Они осаждали Базаралы: «Дай нам совет! Укажи выход! Что нам делать? Говори!» Ответа на такие вопросы Базаралы не находил. Тогда они решили искать выхода сами.

Балагаз и Абылгазы стали уезжать по ночам. Базаралы долгое время не знал ничего. Сперва пропали лошади у Майбасара, потом — у Жакипа. Базаралы слышал о кражах, но не придавал им значения. Третьим пострадал Кунанбай.

Однажды Базаралы, проведя бессонную ночь, вышел из юрты на рассвете. Он сидел в глубоком раздумье на поляне позади юрты. Невдалеке расположился стоянкой аул Караши — пять-шесть юрт, охраняемых сторожевым псом по кличке Актос. С первыми лучами утра раздумье Базаралы было прервано лаем Актоса. Собака злобно заливалась, накидываясь на кого-то. Так лаяла она только на людей.

«Кто там бродит чужой? Надо узнать!»— подумал Базаралы и стал выжидать.

Немного погодя к аулу Караши подъехали двое всадников. Оба остановились возле Молодой юрты Абылгазы. Один остался там, другой направился в сторону Базаралы.

Под всадником Базаралы узнал единственного коня Балагаза. Благородный скакун, как видно, покрыл сегодня большой путь, — он весь был в мыле и беспокойно рвался вперед. «Не иначе, как жигиты охотились за девушками», — подумал Базаралы.

Он неподвижно сидел на месте, чтобы не привлекать внимания Балагаза и, продолжал молча наблюдать. Нет. девушки ни при чем: Балагаз ездил с соилом. Сердце Базаралы дрогнуло. Побледнев, он припал к земле и продолжал наблюдать лежа. Близ аула Балагаз придержал коня и, спешившись, повел его к каменистым холмам недалеко от аула: это было прекрасное природное укрытие.

Базаралы продолжал наблюдать. Как видно, Балагаз хотел скрыть от аула свою странную поездку. Спрятав коня среди камней, Балагаз вернулся и вошел в юрту. Аул проснулся. Люди поднялись, а Базаралы так и не ложился.

Камни и скалы, удобные для укрытия, громоздились и за аулом Караши. Базаралы направился туда. Он нашел там другого привязанного коня — коня Абылгазы. В сердце Базаралы закипело возмущение. Дома он мрачно молчал и время от времени вздрагивал, как в лихорадке.

До самого обеда он волновался, точно ожидая чего-то. Его предчувствие оправдалось, — Каумен, вернувшись из соседнего аула, привез новость: ночью у Иргизбаев снова пропали лошади.

К тому времени, когда Базаралы узнал об этом. Балагаз успел проснуться и тоже вышел из юрты. Базаралы крепко подпоясался, как перед дальней поездкой, и явился к отцу.

— Нужно поговорить. Выйдем, — сказал он и повел Каумена на холм.

По пути он позвал Балагаза. Тот вышел на оклик. Высокий, крепкий, смуглолицый, он был совершенно спокоен. Базаралы гневно на него посмотрел; всегдашний румянец на его лице сменился суровой бледностью, он неровно дышал, слова его звучали неестественно громко.

— Отец, ты учил нас, что жить честно можно и в дырявой лачуге. Я клялся не быть негодяем, какая бы нужда меня ни постигла. Ты тоже чуждался зла. в этом твоя высокая заслуга. Неужели же теперь, когда старость приблизилась к тебе, нам суждены черные дни позора?

Голос Базаралы задрожал и оборвался.

— Что он сказал? Что говорит этот негодный? — Каумен, не понимая, взглянул на Балагаза.

Тот молчал.

Базаралы быстро заговорил:

— Отыскался вор, который украл лошадей Майбасара, а сегодня ночью — Ирсая! Вот он, вор: твой сын Балагаз! — крикнул он.

— Что он сказал? Что ты? — в ужасе переспросил Каумен.

— Да, да!.. Я знаю, что говорю! Попробуй отопрись! — крикнул Базаралы брату.

Балагаз тоже весь вспыхнул.

— Что ты видел? Что ты знаешь? Чего ты накинулся? Скажи, что случилось? — спросил он.

— Я видел, как утром ты тайком вернулся с Абылгазы!.. Ваши кони до сих пор спрятаны возле холмов… Ты — вор! Не отпирайся! Если есть в тебе мужество, — говори правду!

Балагаз не стал увиливать.

— Да! Ты прав!

Базаралы, вздрогнув от негодования, сверкнул глазами и молча набросился на брата.

Оба были богатырского роста и обладали львиной силой. Их руки и ноги работали, как шокпары. Под внезапным натиском Балагаз не успел встать, но сумел перехитрить брата: он изо всей силы ударил его по ногам. Тот споткнулся. Балагаз насел на него и стал валить с ног. Но Базаралы был изворотлив, он весь изогнулся, вывернулся— и встал на ноги. Быстрый, как огонь, он снова схватил Балагаза и повалил его навзничь. Левой рукой он сжал его горло, а правой нащупал на поясе ножны и вытащил нож. Став коленями на грудь брата, он прохрипел:

— За такое дело — не брата, отца можно убить… Зарежу!.. — И он занес нож над горлом Балагаза.

Тот, сопротивляясь, бил руками и ногами.

Базаралы был сильней его. Минута — и он полоснул бы его ножом, но отец схватил его за руку.

— Стой! Собаки! Что вы делаете? Вставайте! — крикнул он, оттаскивая Базаралы.

Балагаз быстро вскочил на ноги. Он опомнился и кинул на Базаралы возмущенный взгляд.

— Ну, негодный… Хоть ты и собака, а все же брат мне! Ты, младший, топтал меня ногами — нет имени такому оскорблению!.. Умник!.. Это все, что ты придумал? — крикнул он со злобным упреком.

Базаралы угрюмо молчал. Балагаз ободрился и заговорил торопливо и возмущенно:

— Ты спросил — я не стал отпираться. Я сознался. А если бы я стал отказываться, — чем бы ты доказал? А если б я сказал, что ездил к кереям?.. Не только Кунанбай, пусть сам бог попробует напасть на мой след! Я делал так, что и следа никто не найдет! А для себя я это делал, что ли? Я помогал другим!.. Я крал не потому, что мне нравилось, — я крал с отвращением. Но от сделанного не отказываюсь. У меня ничего нет, а он богат. И разбогател он на моей бедности. Где моя земля? Где мое имущество? Что для него эти потери?.. Брызги его богатства! А мои близкие сохнут от голода — для них это спасение от голодной смерти! Я не наживаюсь: я спасаю людей от гибели!.. Пусть пропадает моя голова, но меня не удержишь! Я отнимаю у богача и отдаю неимущему. Кого ты поймал? Мелкого воришку? Я не вор — я мститель! Суди меня, если я украду у беззащитных бедняков!

Каумен не мог ни возражать, ни соглашаться. Он просто ужасался. Как бы ни были убедительны доводы Балагаза, он, Каумен, такую добычу в свой котел не положит. И он решил выгнать сына из своего аула.

— Уходи! Уходи! Откочевывай от меня! Видеть тебя больше не хочу! Откочевывай сейчас же! — решительно приказал он.

Все трое разошлись, но каждый внутренне остался при своем. Балагаз выполнил приказание отца и в тот же день перекочевал в аул Караши.

Дней через пять после его переезда у Кунанбая опять пропало несколько лошадей.

Сообщников у Балагаза было мало — сперва лишь Абылгазы и Адильхан. Потом они привлекли четырех жигитов из отдаленных аулов Наймана. Все четверо были храбрыми, сильными и находчивыми; на этот путь их привели тоже джут и нужда. Они решили отнимать коней у самых сильных, богатых аулов. Бедных договорились не трогать. Они никогда не ездили вместе: их всегда видели поодиночке как самых обыкновенных путников. Другая их уловка заключалась в том, что из Наймана коней уводили тамошние их сообщники и передавали им, а из Тобыкты, наоборот, угонял коней Балагаз и сдавал найманским друзьям.

И те и другие знали вокруг каждую тропинку; им были отлично известны все водоемы, все дороги, на которых в пути не встретишь ни души. Они наперечет помнили каждый бугорок, каждый холм, овраг или ущелье, на которое обычный путник не обращает никакого внимания, и пользовались ими для того, чтобы запутать преследователей и натолкнуть их на ложный путь. И в этом Балагаз был особенно ловок. Он постоянно придумывал новые уловки.

Маленькая шайка в шесть-семь человек вихрем носилась по двум округам. Смелые жигиты нападали, как стая волков.

По утрам, как только обнаруживалась пропажа, потерпевший аул поголовно садился на коней. Верховые делились на маленькие отряды в два-три человека, мчались и обшаривали все кругом, занимали все пути, все вышки, удобные для наблюдения, думая перехватить воров по пути в Керей, Найман и Каракесек. Целыми днями на возвышенностях стояли дозорные, но каждый раз они возвращались в отчаянии.

— Хоть бы муха пролетела, хоть бы жук прополз! — говорили они.

— Воры прячутся где-нибудь в самом Чингизе! — предполагали другие и обшаривали каждый кустик. И опять ничего не находили.

Балагаз шел на рискованные проделки с большим хладнокровием в мужеством. Он заранее намечал аул и лошадей, затем ночью уводил их, но не бросался с ними в немедленное бегство и не переправлял их в Найман. Наоборот, в течение тех трех-четырех дней, пока все не успокаивалось, он оставался вблизи того аула, откуда увел лошадей, — не дальше овечьего перегона. Он никогда не приближался ни к возвышенностям, ни к лесам, которые привлекают внимание дозора, — он шел в те места, где бывал только сенокос. За один раз Балагаз брал не больше пяти-шести коней и выводил их из табуна к своим жигитам, ожидавшим вблизи с уздечками.

Жигиты садились на уведенных коней и спускались в ложбину. Балагаз стоял настороже. Когда со стороны аула показывалась погоня, он спокойно продолжал наблюдать, в каком направлении они поедут. Одно движение его руки — и жигиты направлялись в сторону от преследователей. Они никогда не кидались вскачь, а просто переезжали из одной ложбины в другую, от одного прикрытия к другому. Бывало даже, что воров отделял от преследователей всего какой-нибудь бугорок. Они оставались поблизости от того аула, который пострадал от их же руки. Порой они занимали те места, которые только что были обысканы.

Так проходило несколько суток. После этого Балагаз ночью отправлял коней с товарищами в Найман.

Старуха, посланная Кунанбаем в аул Караши, понятия не имела об этих уловках. Ей долго не удавалось ничего обнаружить; Балагаз и его товарищи никогда не забивали добычу у себя дома, они даже близко к своему аулу не подводили этих лошадей. Только один раз Абылгазы не устоял перед соблазном. Жигиты, приезжавшие в погоню из Наймана, были уже далеко, опасность, казалось, миновала. Стригуна зарезали на берегу реки, и Абылгазы привез домой только один тельшик.[111]

Мясо положили в котел в то время, когда все ложились спать. Но старуха все-таки учуяла запах конины. Пока мясо варилось, она подкарауливала издалека, а когда его вынули и подали Абылгазы на блюде, она внезапно вошла в юрту, увидела тельшик и сразу убедилась, что это был тельшик стригуна.

Едва Кунанбай узнал об этом, он немедленно же направил нарочного к Байдалы: Караша — его родич. Пусть Байдалы сам и судит его. Все установлено точно, есть свидетель. Пусть Байдалы сообщит, что он намерен предпринять. Если Караша станет отрицать, надо заставить поручиться за него Каумена. Таков был салем, посланный Байдалы.

Байдалы не стал и расспрашивать Карашу: он сразу ухватился за Каумена. Тот стал отнекиваться и отмахиваться и заявил, что он не имеет ничего обшего ни с Карашой, ни с Балагазом и давно уже отказался от них.

Но Байдалы не отставал:

— Или обвини — или оправдай! Кунанбай поверит только твоему слову. Если ты наверное знаешь, что они ни при чем, — чего же бояться клятвы? Наоборот, своих же родичей защитишь от несправедливого обвинения!

И Каумен внезапно выдал себя:

— У меня нет души, которую некуда было бы девать. — ответил он. — Заступаться, как за невиновных, не стану…

«Каумен отказался!.. Говорят, он сказал — не ручаюсь! Воры — из аула Караши!..»—загудели Иргизбаи.

«Называются родичами, а поступают хуже врага! Теперь мы не простим, пусть не ждут пощады! Все отнимем, сожжем их аулы вместе с добром!»— грозились Майбасар и Жакип.

Они и Кунанбая натравливали:

— Не щади их, прижми посильней!

Но у Кунанбая были другие мысли. Этот год проходил для всех особенно тяжело и следовало серьезно подумать. Кроме того, за последнее время у него наладились отношения с Байдалы. А в довершение всего воры нападали не на одних Иргизбаев, но и на котибаков и бокенши. Они не пощадили даже самого Байдалы. Значит, нужно действовать совместно с ним и, если удастся, удар нанести через него же. Но во всяком случае вся вина за кражи должна лечь на жигитеков.

Придя к такому решению, Кунанбай умерил пыл Майбасара.

— Подожди, не рвись зря, наберись терпения! Караша от нас не уйдет! — сказал он и снова послал человека в род Жигитек.

На этот раз поехал Жумабай. Прежде всего он явился к Байдалы. Кунанбай передавал ему салем и благодарил за выполнение его первой просьбы: через Каумена выяснилось все. Передав это поручение, Жумабай сообщил, что Кунанбай вызывает к себе Карашу и Абылгазы.

Байдалы не возражал.

— Пускай сам повидается с ними и договорится, как родич с родичами! Он прав. Я передам Караше его салем, — ответил он.

Вызов Кунанбая был передан, но Караша и Абылгазы не поехали. Байдалы попробовал угрожать, ко ничего не сумел добиться. Караша и его сообщники оказывались виновными вдвойне: крадут скот и не хотят отвечать за это.

Положение Кунанбая укреплялось.

Иргизбаи днем и ночью следили за аулом Караши. Абылгазы, Адильхан и Балагаз куда-то исчезли.

— Скрываются, — настойчиво повторяли кругом.

Подозрения и толки все росли. К ворам причисляли всех жигитов аула Караши и Каумена, которых не было дома.

«Абылгазы, конечно, не мог действовать один, у него, наверное, большая шайка. Весь народ будет преследовать их», — так думали и повторяли все.

Слухи шли из Иргизбая и быстро облетели все аулы. Балагаза и Адильхана давно считали сообщниками Абылгазы. Когда тот не явился на вызов, Кунанбай послал за Балагазом и Адильханом. Караша и Каумен через людей тоже советовали Балагазу съездить к Кунанбаю.

Балагаз ответил решительно, что не поедет. Друзьям он объяснил причины своего отказа.

— От Кунанбая мне пощады не будет. Он уже давно ищет предлога, чтобы столкнуть меня в яму. Так зачем же мне изображать кроткого ягненка и самому лезть к нему? Мне жалеть теперь нечего. Пусть попробует поймать меня. Пусть сперва схватит и укротит меня, а уже потом надевает недоуздок. Все равно теперь на мне клеймо негодяя. Коли на то пошло, я не хочу, чтобы меня называли «покорный негодяй», «расчетливый негодяй» или «сговорчивый негодяй». Умру, но не потерплю такого унижения!

Упорство Балагаза и Абылгазы заставило Кунанбая призадуматься. По старой привычке ему надо было бы устроить набег и отнять все имущество у обидчиков, но сейчас, когда большинство бедствовало и голодало, делать этого было нельзя, — мог разгореться нешуточный пожар.

Есть другой путь: жалоба по начальству. Самое лучшее — вызвать отряд, изловить преступников при помощи урядников, заковать в цепи и положить всему конец.

Но законы тоже изменились: ага-султанство отменено, появились другие новинки, — у племени Тобыкты даже дуан переменился, с лета они перешли под управление Семипалатинска. Раньше все Тобыкты было подчинено одному волостному, теперь оно будет разбито на три волости. В новом дуане — новое начальство. Кунанбай еще не встречался с ним, а тем более не имел там никаких знакомств. Вот-вот начнутся выборы, и в ожидании таких событий идти с жалобой на свои аулы — не расчет. Нужно выждать по крайней мере до конца выборов.

Переждать необходимо, но шайка Балагаза ведет себя вызывающе. Он два раза посылал за ними, а они и слушать не желают. «Так они и зазнаются, решат, что с ними ничего не сделаешь», — думал Кунанбай. После долгих сомнений он отправил отряд надежных жигитов, приказав наброситься врасплох, схватить и привести к нему непокорных.

Но Балагаз не собирался легко даваться в руки, — все его жигиты ускакали а разных направлениях. А когда усталые преследователи, заморив коней, возвратились ни с чем, Балагаз с товарищами вернулся за ними следом. На этот раз опять был ограблен табун Кунанбая, но воры взяли несколько стригунов.

Кража совпала с днями, когда аулы въезжали в свои зимовья; дни стояли холодные, коровы и кобылы перестали доиться, и народ особенно бедствовал. Мелкий скот, бродивший в одиночку, легко мог попасть в руки голодающих.

Кунанбай со дня на день ожидал выборов волостного управителя. Он вызвал к себе Базаралы. Тот повел себя не так, как другие жигитеки: он явился сразу.

Кунанбай сидел у своей новой токал — Нурганым. Они совсем недавно перебрались в зимнее помещение. В доме было тепло, комната была убрана нарядно, как Молодая юрта. Статная Нурганым поражала своей красотой; особенно хороши были ее большие, полные огня, темные глаза. В ее обаятельной внешности сочетались молодость, здоровье, беспечность. Легкий румянец покрывал безупречно чистое лицо. С правой стороны довольно крупного, почти мужского, носа темнела маленькая родинка. Черная родинка на румяной щечке — редкое украшение. А стан Нурганым так строен и гибок, что ей может позавидовать любая красавица.

Ожидая, что скажет Кунанбай, Базаралы внимательно вглядывался в Нурганым. «Удивительно, где он выискал такую токал?»— любовался он про себя.

Нурганым держалась скромно, но уверенно и непринужденно. По ее приказанию внесли самовар, разостлали скатерть. За чаем она без всякого стеснения смотрела то на мужа, то на Базаралы и спокойно рассказывала о хозяйственных делах. Муж называл ее «Калмак».[112] После чая он обратился к ней:

— Калмак, вели убрать чай! Я хочу поговорить с Базаралы.

Нурганым не торопясь выполнила приказание мужа и отослала прислужницу, а сама осталась сидеть поодаль от Кунанбая, по-мужски поджав ноги.

Кунанбай заговорил спокойно, не повышая голоса. Он взывал к самолюбию самого Базаралы.

— Они позорят и тебя. Ты — настоящий человек и дорожишь честью. А их поступки — пятно на твоем честном имени. Ты не станешь их защищать; я надеюсь, что у тебя нет для них оправдания. Что ты скажешь?

Базаралы не задержался с ответом. Он ответил коротко, пристально глядя в лицо Кунанбая. Его слова были спокойны, сдержанны и убедительно красноречивы. Он приехал не для того, чтобы оправдывать грабителей. Он осуждает их, а потому порвал с ними. Правда, он кровный брат Балагаза, но жизнь у них разная. Уже давно они решили не встречаться друг с другом.

Чай разгорячил кровь. Лицо Базаралы раскраснелось и стало необыкновенно красивым. И глаза, умные и проницательные, и яркие краски лица, и богатырский стан, и длинные белые пальцы — все невольно привлекало к себе внимание Нурганым. Ей казалось, что эти широкие плечи, могучая грудь, сильные руки не потерпят насилия.

Среди молодого поколении Тобыкты Кунанбай впервые встречал человека, который разговаривал с ним так свободно. И ответ Базаралы и его независимость поразили его. Он тут же вспылил:

— Раз ты осуждаешь их, помоги покончить с разбоем! Но Базаралы возразил ему:

— Да, я осуждаю, конечно. Я уже говорил. Но что толкнуло их на этот путь? Недавний джут и нужда. А вторая причина — несправедливость, которая известна всем родичам. Кто стоял но главе, тот прибрал все к своим рукам. Другие опоздали, и их доля прошла мимо. А безответный народ остался и вовсе ни с чем. К чему же это привело? Те, кто и раньше стоял в первых рядах, те не пострадали. А те, кто был обижен и прежде, остались и теперь беспомощными слепцами. Подумал ли об этом хоть кто-нибудь? Есть ли у народа старейшины, которые посочувствовали бы ему в бедствиях? Я приехал спросить об этом, — сказал он.

Базаралы не ответил на вопрос, а пошел встречным течением. Это не понравилось Кунанбаю. Он бросил на гостя уничтожающий взгляд. Главным доводом Кунанбая было то, что бедствие это ниспослано богом, начертано превратною судьбой.

— Джут не подчиняется людям. Кого за него винить? Разве не делятся те, кто имеет чем делиться? Но ведь всем не поможешь! Достойный удовольствуется малым. Нужно смиряться перед волей создателя!

Но Базаралы не убеждала и эта «воля создателя». Пусть народ стонет и бедствует по его воле, — ну, а если бы люди, называющие себя заступниками народа, оказали бы помощь? А они говорят только о покорности. Может, так покорно и лечь в могилу? Базаралы не мог сделать других выводов из наставления Кунанбая и прямо высказал это.

Кунанбай считал для себя унизительным спорить и пререкаться с Базаралы. Он только мрачно насупил брови и решительно закончил:

— Теперь моя совесть чиста и перед тобою. Я вижу, что щадить нечего. Одно скажу: Балагаз и Абылгазы сами напрашиваются на беду. Им плохо придется. Я предупредил — теперь не обижайтесь!

Базаралы понял, что разговор кончен. Он собрался уезжать. Перед самым уходом он снова обратился к Кунанбаю.

— У меня нет ничего общего с Балагазом. Что будет то будет. Но дело не в том. Вы всю жизнь тратите свои силы, чтобы словом и делом держать народ в страхе, а народ растрачивает свои силы, чтобы разубедить и смягчить вас. И все тщетно. Видно, нам не сойтись. Судьба судила лам вечные раздоры, — сказал он, надевая малахай.

Его слова остались без ответа. Он неторопливо встал, простился и направился к выходу. Нурганым и Кунанбай не сводили с него глаз. Сдержанный, сосредоточенный, несгибаемый, он ушел, и не было в нем ни тени беспокойства, стеснения или робости.

Кунанбай продолжал задумчиво смотреть на закрывшуюся, дверь, потом обратился к Нурганым:

— Удивительный он, этот Базаралы! Красив и умен, как ни один жигит в нашем крае! Только думы его — недруг его… Угораздило же тебя, несуразного, родиться от Каумена — короткорукого!.. Родись ты от сильного, ты был бы гордостью рода!

В словах Кунанбая звучали и восхищение и зависть.

Нурганым и так слушала Базаралы с напряженным вниманием. А слова мужа только подогрели в ней интерес к красивому и умному жигиту. Из зависти и восхищения Кунанбая она выбрала для себя второе. И, еще не понимая себя вполне, она почувствовала, что сердце в ней вскинулось, как молодой упрямый конь, рвущийся на волю.

4

Прошел слух о приезде начальства для проведения выборов. Кунанбай вызвал к себе Абая.

Всю осень Абай провел в одиночестве, увлекаясь домброй и музыкой. Играл ли он кюи «Желтая река Саймака», или «Плач двух девушек», или же «Песню жаворонка»— каждый звук их напева был полон глубокой мысли. О чем говорила домбра? Она возрождала и стремительный бег быстроногого верблюда Асана-Кайгы и медленную печаль Алшагыра. Но примирившиеся с тем, что они видели, не достигшие желанного, эти страдальцы минувших дней плакали в звуках его домбры.

Мысли Абая неотвязно возвращались к Кадырбаю. Он вспоминал каждое его слово и каждый свой ответ седому акыну. «Сколько горечи оставило нам прошлое!»— говорил тогда Абай. Он хотел сказать этим: «Великая горечь звучит в несбыточных мечтах акынов, в их песнях, в их музыке». Абай поверял все думы домбре, седой рассказчице преданий далекой старины.

Он забросил развлечения, перестал встречаться с молодежью. Недавно приезжал Ербол, звал его с собой и старался соблазнить друга играми и весельем, перечислял по именам новых красавиц девушек… Но Абай оставался равнодушным. Пока Ербол гостил у него, он сочинил новую песню: «Уймись, мое сердце, уймись!» Чуждая веселью, к которому звал друг, она была ответом на его призывы. И когда Абай спел свою песню, Ербол сразу же вступил в спор с ним.

— Неужели ты навсегда прощаешься с молодостью? Ведь тебе еще двадцати пяти лет нет! Что ты выдумываешь, я никак не пойму, — говорил он.

Абай только тихо рассмеялся. Как и раньше, он наедине с другом играл на домбре и пел одну песню за другой, изливая в них свои думы. Несколько дней подряд он повторял свое: «Уймись, мое сердце, уймись!»

С мыслью песни Ербол не соглашался, но слова ее находил красивыми, поэтому иногда и сам начинал подпевать Абаю. Целых десять дней оба жигита точно говорили юности, уходящей от них: «Прощай!»

Ерболу нужно было возвращаться. Расставаясь, Абай откровенно признался другу:

— Я старость и не зову, Ербол. Разве я не дорожу молодостью? Что в мире прекрасней юности? Ты и сам это знаешь. Но вместо ушедшего детства и юности я хочу найти молодость — разумную и плодотворную. И на этом пути меня ждут новые возлюбленные… Начни я рассказывать тебе о них — ты увидел бы, что грудь моя не вмещает мечтаний… Узнаешь потом!

Это звучало как исповедь.

Кунанбай вызвал к себе сына как раз в этот день. Ербол тотчас же уехал домой, а Абай отправился в Карашокы.

Приближались сумерки, когда он подъезжал к аулу отца. В логу, поросшем лозняком, он увидел встречного всадника — высокого, широкоплечего. Это был его младший браг Оспан; в сумерках Абай узнал его только тогда, когда они поравнялись. Абай удивился: видя Оспана изо дня в день, он просто не замечал, как тот вырос. Хотя ему недавно исполнилось восемнадцать лет, он уже стал выше и крупнее Абая.

Оспан подлетел на полном скаку, узнал брата, остановился и сразу же принялся рассказывать:

— Сегодня я случайно пошел к отцу. Он и спрашивает: «Ну-ка, отвечай: постишься ли ты, совершаешь ли пять дневных молений, соблюдаешь ли свой долг мусульманина?» Совсем как Мункир и Нанкир![113] Я хотел было честно признаться: я, мол, чист и от грехов и от постов, как дикий кулан в степи, — да не посмел, побоялся, что будет буря… «Да, говорю, все соблюдаю…» Отец был очень доволен, усадил меня рядом с собою и целый день продержал голодным. Ну и скука была! Делать нечего — и молился пять раз, хотя и без омовения,[114] и сказал, что тоже пощусь. А вечером сел с ним за трапезу воздержания и, чтобы утешить себя, съел все самое вкусное, что приготовили. Вот и скачу домой! Полюбуйтесь, ага, — вот тот самый Оспан, который сумел обмануть даже вашего отца! — И юноша громко расхохотался.

Смех его был так заразительно весел, что Абай тоже рассмеялся, но в его смехе сквозила и легкая издевка.

— Скажи ты отцу правду, вряд ли бы ты так радовался. Как хорошо, оказывается, лгать!

И, продолжая смеяться, он хлестнул коня. Оспан не нашелся что ответить, тоже стегнул коня и отправился дальше.

Приехав в Карашокы, Абай не сразу пошел к отцу. Сперва он направился в дом Кунке. Кудайберды, любимый его брат, давно болел. Абай решил прежде всего навестить его и узнать о его здоровье.

Кудайберды лежал на высокой постели, мучаясь кашлем. Приход Абая обрадовал его. Бескровное лицо больного покрылось румянцем. Он оброс длинной черной бородой, тело исхудало, кости резко выступали, жилы надулись темными узлами.

Изнуренный вид брата огорчил Абая. Он снял верхнее платье, подошел к Кудайберды и сел подле него.

Болезнь, подточившая силы брата, теперь овладела им окончательно. Абай видел его дней пятнадцать назад. За это время больной заметно сдал. Он взял руку Абая, сжал ее своими слабыми пальцами и погладил.

— Хорошо, что ты приехал, — сказал он.

Абай обеими руками пожал бессильную руку брата, притянул ее к себе и прижал к своей груди. Оба молчали, но они понимали друг друга без слов, сердцем. Немного погодя Кудайберды спросил тихо:

— Был у отца?

— Нет еще. Сперва зашел к тебе, — ответил Абай.

Из соседней комнаты прибежали трое мальчиков и отдали Абаю салем. Это были сыновья Кудайберды — Шаке, Шубар и Амир.

Абай подозвал мальчиков и нежно поцеловал их. Шаке и Шубар уже учились. Каждый раз, приезжая сюда, Абай расспрашивал их об ученье. Дети любили его. Сейчас они смело подошли к нему.

Глаза Кудайберды остановились на детях, окруживших Абая. Он не выдержал — и в волнении отвернулся к стене. От Абая не ускользнуло это движение. Он поговорил с мальчиками и немного погодя отослал их играть, а сам снова подсел к больному.

Кудайберды взглядом указал в их сторону.

— Что из них выйдет? Что будет? Они — братья тебе.[115] Кому из них какая судьба?.. Я остаюсь должником перед ними… — проговорил он. Казалось, он прощался с детьми.

Горячие слезы покатились из глаз Абая. Голос дрогнул.

— Этот долг я принимаю на себя. Баке! Пронесу их по жизни на своих плечах, как сумею!

Кудайберды сам же начал уговаривать его.

— Не плачь… Не надо плакать, — повторял он.

Несколько минут оба молчали. Кудайберды успокоился и повернулся лицом к Абаю, но при первом же движении его снова стал душить кашель. Абай поправил одеяло, накрыл плечи больного и заботливо укутал его.

Кудайберды перевел разговор на другое.

— Тебе известно, зачем отец вызвал тебя?

— Нет, Баке, пока ничего не знаю.

— Ну так я скажу тебе. Сегодня приехали чиновники, будут проводить выборы. Отец разместил их в ауле Жакипа. Говорят, в новых волостях будут новые власти — «управители». Отец хочет назвать им тебя. Понял? Что ты на это скажешь?

— А ты что скажешь? Что мне посоветуешь?

— Если хочешь знать мой совет, — сказал Кудайберды подумав, — откажись. Достоинство человека вовсе не в том, чтобы быть начальником. Мы уже убедились в этом. Власть портит человека и приносит ему не добро, а одни проклятья. Не губи зря свою молодость!

— Да, Баке, все, что ты сказал, верно, — ответил Абай не задумываясь.

— Такежан, кажется, добивается избрания. Вот пусть он и принимает волость, к своему удовольствию! — заключил Кудайберды.

До самой ночи Абай не уходил от брата. По просьбе больного принесли домбру, и Абай играл ему один кюй за другим. Мальчики пришли опять. Абай хотел, чтобы больной заснул, и начал рассказывать детям из «Тысячи и одной ночи». Мальчики ни на шаг не отходили от него и слушали его сказки затаив дыхание. Они были в восторге от своего дяди, который так хорошо играл на домбре и так замечательно пел. На ночь они улеглись в одну постель с ним. Между Амиром и Шубаром начались споры.

— Я лягу с дядей Абаем!

— Нет, я сам лягу! — И они с двух сторон залезли под одеяло к Абаю.

Пока оба не заснули, каждый старался обнять его и перетянуть в свою сторону.

Чиновник, приехавший на выборы, вчера посетил Кунанбая и долго беседовал с ним. Было ясно, что при выборах волостного управителя он будет прислушиваться к мнению Кунанбая.

С того дня, как вышел новый закон о волостных правлениях, Кунанбай твердо решил отказаться от должности. Когда существовало ага-султанство, управлявшее целым округом, Кунанбай прельщался властью. Потом последовало понижение — он стал старшиною Тобыкты, но даже и тогда все племя было под его рукой: «Разожмешь пальцы — на ладони, сожмешь — в кулаке».

Но теперь руки начальства протягиваются все дальше и глубже. Единого Тобыкты не существует — он разбит на три волости. Быть правителем одной трети — не велика честь! А отказавшись от должности и стоя в стороне, можно сохранить больше влияния на все племя. Это первое.

Во-вторых, управлять народом становится все трудней и сложней. Появляются непокорные вроде Балагаза. Нужно бороться с ними. Если преследовать станет он сам, возобновятся прежние распри. Тягаться с равными вроде Божея, — еще куда ни шло, но стать волостным управителем и бороться с зеленой молодежью ему не к лицу.

Им нужен правитель молодой, с крепкой хваткой.

Пусть борются между собой сверстники. Молодое поколение уже возмужало, власть надо передать ему, а свою волю проводить через других.

В-третьих. Кунанбаю уже седьмой десяток — и тот на исходе. Ему пора подобрать себе смену из своих же сыновей.

Он продумал все и остановил свой выбор на Абае. Здесь тоже был прямой расчет.

Абай вырос вне его влияния. Его поведение и речи доказывают, что в лице сына за плечами Кунанбая встал строгий судья. За последние годы это особенно бросается в глаза, а с тех пор, как отец женился на Нурганым, Абай совсем отдалился от него. В этом Кунанбай больше всего винил Улжан: «Таким холодным воспитала ты сына», — упрекнул он ее прошлым летом.

Но как бы сын ни чуждался его, отец знал, что Абай умен, деятелен и проницателен. Значит, нужно постараться привлечь к себе сына, который отдаляется все больше. Приняв на себя тяжелое бремя правления, Абай волей-неволей окажется в руках отца. Если намерения Кунанбая сбудутся и сын согласится, многие дела, которые не под силу большинству молодежи, будут вполне по плечу Абаю. Отец верил в него. Все эти обстоятельства и привели Кунанбая к такому решению.

Абай пришел, когда отец встал и напился чаю. Скатерть была убрана, покрытый коврами пол только что чисто подметен. Такежан опередил Абая, — он сидел тут же, в стороне, на одном колене, как набожный воспитанник медресе; Кунанбай приказал всем выйти, оставив только их двоих.

Он говорил с обоими, но чувствовалось, что все его слова были обращены к Абаю. Он говорил о наступившей старости; напомнил, что вся его жизнь — и в скромные дни и в годы блеска — была полна тревог, постоянной борьбы. А за что он боролся? — За будущее своих сыновей, своих детей. Теперь они возмужали. Пришел их черед самим распоряжаться своей судьбой. Кого они ни приобретут — друга ли, врага ли — приобретут его среди своих сверстников. Тайны настоящего дня им доступнее, чем старикам. Они быстрее найдут надежные пути борьбы. И стоять на страже всех этих дел могут по очереди оба его сына, которые сидят перед ним. Но сегодня должен стать один, а завтра — другой. Пусть не завидуют они друг другу, не оспаривают добычу. Нынче отец намечает Абая. Он считает правильным, чтобы Абай принял волость.

Уже давно Кунанбай не обращался к Абаю с такой длинной речью.

Сын немного помолчал, как бы в раздумье, потом откашлялся и ответил:

— Благодарю, отец, за ваше доверие. Вы правы, слагая на нас бремя жизни. Вы должны быть свободны от ее тягостей, — наступило время, когда вы вправе требовать покоя. Но если вы имеете в виду меня, то я сам не хочу быть волостным. Не по душе мне это. Такежан и старше меня и изворотливее, он больше подходит к этой должности. Пусть он и принимает волость.

С последними словами Абай повернулся к Такежану. Тот вспыхнул от удовольствия, но продолжал хранить вид покорного ученика. Он напоминал лицемерно набожного муллу на похоронах в ожидании богатых даров.

Кунанбай несколько раз устремлял на Абая пристальный взгляд и дважды переспросил его о причине отказа.

Первый раз Абай коротко ответил: «Не могу». Когда отец опять настойчиво переспросил его, он ответил подробнее.

Правитель народа должен быть зрелым человеком. А он, Абай, не чувствует себя подготовленным к этой должности. Власть в неопытных руках — что бритва в руках ребенка: или порежется сам, или изувечит других. Себя Абаю не жаль, но не жалеть народ, попадающий в зависимость от него, он не может. Вот почему он отказывается. Когда его знания будут достаточны, чтобы принести пользу народу, когда он почувствует, что он годен, он и сам, без просьбы отца, скажет об этом, — он дает слово. А пока пусть отец не настаивает…

Кунанбай сразу круто повернул в другую сторону и предложил должность Такежану. Того не пришлось долго упрашивать — он тут же дал согласие.

Через пятнадцать дней Такежан был утвержден в должности волостного — исразу же показал себя.

Советников у него оказалось много: с одной стороны Кунанбай, с другой — Майбасар и Жакип старались внушить ему свои наставления.

Новый волостной уже побывал **в**  городе. Кунанбай послал с ним салем Тинибаю, прося, чтобы тот руководил сыном в городских делах. Семипалатинский уездный начальник был с Тинибаем **в**  приятельских отношениях. При помощи этих связей Такежан **в**  первую же поездку устроил множество дел. Кунанбай заранее во все посвятил чиновника, приезжавшего на выборы. Основным было дело о Балагазе и Абылгазы.

Такежан, став управителем, так и горел от нетерпения показать всем свою власть и все свои силы вложил в борьбу с Балагазом и Абылгазы. По возвращении его из города новый семипалатинский уездный начальник отрядил следом за ним в Чингиз пять вооруженных стражников.

Жумагул, которого Такежан сразу после своего утверждения назначил посыльным, вместе с молодым жигитом Карпыком сопровождал стражников в качестве проводника. Он привел их **в**  волостную канцелярию глухой ночью, чтобы их приезд остался **в**  тайне. Такежан и Майбасар дали им в помощь еще десять жигитов и в ту же ночь направили в Жигитек.

Раньше Тобыкты имели дело с военными отрядами только в совершенно исключительных случаях. Поэтому, когда вооруженные стражники проезжали мимо аулов, страх нападал на всех, от стариков до малых детей.

В горах Чингиза отряд легко обнаружил Балагаза и Абылгазы. Но стражники, редко выезжавшие за город да еще незнакомые с местностью, сразу же проявили свою беспомощность. Они не могли скакать в гористой местности, хватались за седла и болтались, как мешки, далеко отстав от преследуемых. Каждая куча камней на вершине гор казалась им засадой. Они вытаскивали длинные трубы и подолгу смотрели в них. Жумагул, издали узнавший беглецов, выходил из себя от нерешительности стражников. «Разбить бы эту длинную кишку, так бы и дал по ней соилом!»— скрежетал он зубами. Но он ничего не мог сделать, а отряд все медлил.

Сообразив это, Балагаз остановил коня и, обернувшись, стал наблюдать за погоней. Впереди мчались иргизбаи: сразу можно было различить Жумагула, Карпыка и других жигитов. Беглецы решили не сдаваться.

Абылгазы и Балагаз направили своих товарищей по одному из узких ущелий Чингиза, а сами вместе с Адильханом остановились за утесом, поджидая преследователей.

Отряд Жумагула, уверенный, что противник далеко, скакал врассыпную, Балагаз пропустил Жумагула и Карпыка, а потом внезапно ринулся на них сзади. Нападающих оказалось трое против двоих. Березовые соилы и черные шокпары сделали всего два-три круга в воздухе. Сильные и ловкие, Балагаз и его товарищи в одну минуту сбили наземь обоих противников и ускакали, уводя с собой их коней.

Стражники не осмеливались больше преследовать врага, который сумел расправиться с их товарищами. Погоня сбилась в кучу, остановилась и повернула обратно. |

Потерпев неудачу, Такежан выместил злобу на мирных жителях, разграбив их имущество. Жумагул и Карпык с десятком жигитов налетели на аулы Караши и Каумена и угнали весь крупный скот. Той же участи подвергся и Уркимбай. У бедняков отняли последнюю дойную корову. До сих пор никогда ничего подобного не бывало. Как бы ни карали, карали только самого виновника, по пословице: «Чья рука содеяла, того и шея в ответе». Такежан совершил неслыханное дело: он посягнул на последнее пропитание стариков, старух и детей.

Весь Жигитек загудел, услыхав эту весть.

— Что творится на свете? Вон куда ветер подул! Видно, и правда, вину собаки на журавле вымещают! — негодующе твердили все.

Котибаки и бокенши, тесно связанные с жигитеками, тоже с возмущением встретили это известие. Всего несправедливее было то, что пострадал ни в чем не повинный Каумен: о его разрыве с Балагазом знали все. И Уркимбай тоже не имел никакого отношения к ворам.

Народ не знал достоверно, кто виновник допущенной несправедливости, но все были раздражены и озлоблены.

— Опять беда нагрянула, — толковали люди.

Волостную канцелярию Такежан перевел в свой аул в Мусакуле. Он окружил себя не только переводчиками и посыльными, но и советчиками вроде Майбасара и Жакипа — целой многочисленной свитой. Все они в свое время пострадали от Балагаза, а потому воспользовались случаем отомстить всему роду Жигитек.

Отряд в сущности и выслан был для того, чтобы припугнуть народ и пригрозить ворам.

Через три дня стражники уехали в Семипалатинск. Накануне они еще раз выезжали в горы, пытаясь напасть на след беглецов, но разыскать людей Балагаза им так и не удалось.

Такежан, проводив стражников, начал собирать приговоры, тщательно готовить бумаги и жалобы в Семипалатинск.

Абая возмущало уже и то, что Такежан затребовал отряд, а услышав о его дальнейших безобразных поступках, он не вытерпел и сел на коня.

В Мусакуле он застал и Базаралы. Тот в присутствии Абая напал на Такежана:

— Коли бороться, так борись с преступниками. Но зачем же обижать мирных людей, которые и без того еле перебивались? Верни скот, если не собираешься морить с голоду женщин и детей! Вся их жизнь — в дойном скоте, который ты угнал. Пойми ты это…

Но Такежан и разговаривать не стал.

— Это еще только начало! Я не остановлюсь, пока не поймаю Балагаза и Абылгазы! Горе сею не я, а они, — бушевал он.

Базаралы вскипел.

— Говори прямо: пока не поймаешь Балагаза, весь народ закуешь в цепи! — крикнул он.

— С каких пор ты стал третейским судьей? — злобно огрызнулся Такежан. — Кто тебя назначил? Ты бы радовался, что я не беру тебя заложником за Балагаза, — мало тебе этого? Коли так, то предупреждаю тебя: будет Балагаз и дальше бесчинствовать— ответишь ты! Не отвертишься!

Но угрозы не испугали Базаралы.

— Я-то думал, что разговариваю с разумным человеком, а оказывается, предо мной слепая секира… Напрасно и ходил к тебе! Достаточно было бы поговорить с твоим посыльным и вернуться домой! — резко бросил он и поднялся с места.

Абай хотел было вмешаться и сказать брату, что он не прав, но Такежан оборвал его коротким:

— Не лезь, не суйся!

В канцелярии Абай увидел заготовленные бумаги. На беду жигитеков, все было тщательно подготовлено: и печать, и приговор, и подписи. Сегодня же вечером «почта с пером» отправится в город. Абай узнал и об этом и поделился новостью с Базаралы.

— Эти тупицы затевают страшное дело… Они опять готовят Токпамбет и Мусакул. Но пусть народ не тревожится и не пугается: ветер еще не буря, Базеке! — сказал он.

Базаралы собирался уехать, так и не сумев помочь людям, лишенным последней скотины. Абай попросил его обождать, отвел Майбасара, Жакипа и Такежана в сторону и с гневом обрушился на волостного.

— Схватиться с равными ты трусишь, а с женщинами и детьми— ты герой! Ты отобрал последний глоток молока у тех, кто ограблен джутом. Как тебе не стыдно! Ты думаешь — начальство простит тебе, что ты весь народ на дыбы поднял? Попробуй теперь усидеть на месте! — припугнул он Такежана. Потом решительно обратился к Майбасару — Это все ваши советы? Хоть вы-то постыдились бы! Немедленно верните скот народу!

Такежана озлобило требование Абая, но спорить с ним он не решился. Он не забыл, как долго отец уговаривал именно Абая принять волость. Если на этот раз Такежан промахнется, а Абай окажется правым, — грозит большая опасность. Кто знает, как поступит тогда Кунанбай, — не передаст ли должность Абаю? Если бы знать мнение отца… Но от него пока нет никаких вестей, и неизвестно, одобрит ли он меры, принятые против жигитеков. Такежан воздержался от ответа брату и сделал вид, что обдумывает его слова.

Во всяком случае, угрозы Абая были серьезны. Такежан и Майбасар были еще склонны упорствовать, но Жакип задумался. Оставшись с ними наедине, он начал убеждать их:

— Дело Абылгазы и Балагаза мы передадим уездному начальнику. Скорей выправляйте бумаги и посылайте в Семипалатинск.

Лучше преследовать только самих буянов, а скот придется возвратить, — посоветовал он.

Вскоре стада были возвращены, — Базаралы добился своего. Но он рассказал жигитекам об угрозах Такежана и прибавил, что на Балагаза в город направляется большое дело. Несмотря на разрыв с братом, все это время он ежедневно посылал человека в аул Караши, осведомляя обо всем происходящем.

Прошло три дня, и весь Чингиз облетела потрясающая весть: «Ограблена срочная почта, отправленная Такежаном в Семипалатинск. Произошло это в границах Тобыкты, в овраге Мукыр. Теперь несчастьям конца не будет!»

Дела, которые Такежан смастерил на Балагаза и его товарищей, действительно были отправлены срочной почтой. Трое верховых везли бумаги, ими были набиты две переметные сумы. Жумагул, Карпык и еще один из жигитов, укрепив перья на шапках, вскачь понеслись из Мусакула. Дорогой, меняя коней, они устраивали суматоху и непрерывно твердили: «Срочная почта!.. Почта с пером!»

Нарочные ехали уже целые сутки. В следующую ночь они предполагали быть в Семипалатинске и уже подъехали к тесному оврагу Мукыр.

Внезапно они увидели перед собой встречных всадников. Те, поравнявшись, неожиданно схватили их за шиворот и сбросили с коней.

Трое осилили троих. Нападающие действовали молча; их лица были обмотаны черной тканью. Они отобрали у посыльных все сумки и ускакали прочь.

О жалобе Такежана и об отправке в город «почты с пером» Адильхан узнал в своем ауле. Даже не посоветовавшись с Балагазом и Абылгазы, он пустился вслед за посыльными. Сильный и ловкий, он из засады следил за посыльными и по пятам следовал за ними, а когда те остановились в пути, чтобы напиться чаю, он проехал вперед. Аднльхана сопровождали два смелых жигита из племени Найман. Втроем они легко выполнили свой план и вернулись в Чингиз.

В гневе Адильхан и не подумал о том, что ограбление казенной почты тяжко каралось законом. Но как бы то ни было — дело было сделано.

Ограбив почту, Адильхан скрылся в одном из аулов, на границе между кочевьями Сыбана и Тобыкты. Эти аулы давно служили Балагазу и его друзьям одним из убежищ. Балагаз впервые появился здесь в то время, когда люди, истощенные страшным джутом, дошли до того, что ловили капканами полевых зверьков. Балагаз роздал голодающим дойных коров и верховых лошадей.

Адильхан застал тут Абылгазы и Балагаза. Те, восхищенные его смелостью, решили, что раскаиваться в сделанном не стоит.

— Теперь волостной снова поскачет в город, начнется волокита, опять вышлют стражников. Дурак будет сидеть и дожидаться их! Дадим отдохнуть коням дня три-четыре, припасем на дорогу съестного и уйдем в Найман. Скоро наступят морозы. До лета пробудем там, а потом все успокоится, — решили они.

Но Кунанбай оказался хитрее, чем они предполагали. Он вызвал к себе Такежана и всех стариков рода Иргизбай, а также Байсала, Суюндика и других родовых старейшин.

— Теперь я не остановлюсь до тех пор, пока не загоню их в землю! Кто посмеет заступиться за них после такой дерзости? Пусть кто-нибудь попробует вырвать воров из моих рук! Сгною в ссылке — или я не Кунанбай! — сказал он, весь дрожа от гнева.

Он не советовался с собравшимися, он созвал их для того, чтобы сообщить им свое решение и получить их поддержку. Для большего впечатления он тут же приказал Такежану:

— Вызови стражников, — пусть покончат с бунтовщиками!

Старейшины разошлись. Все ждали прибытия вооруженного отряда. Однако Кунанбай говорил о нем лишь для отвода глаз: в ту же ночь, сохраняя строжайшую тайну, он снарядил отряд в тридцать жигитов. Это было как раз в ту ночь, когда Адильхан приехал к Балагазу и его товарищам.

Кунанбай отправил жигитов с шестью гончими собаками. Шокпары, кистени, сабли он велел спрятать под верхней одеждой. Сборы заняли не более часа — и жигиты отправились за Чингиз. Такежан и понятия не имел о местонахождении Балагаза. Кунанбай, хоть и не занимался розысками, точно указал его.

К утру его жигиты доскакали до аула, где скрывались Адильхан и его друзья. Дозорный Балагаза видел, что из-за хребта показались верховые с собаками, но принял их за охотников: пока не уляжется прочный снежный покров, за Чингизом всегда идет охота. Изгутты, возглавлявший отряд, спокойно довел его до самого аула.

Там он обнажил длинную саблю и со всем отрядом бросился в дом, где спали беглецы, не подозревая об опасности. Их было десять человек.

Изгутты плашмя ударил саблей Балагаза. Тот проснулся и в ужасе вскочил.

— Все пропало! Проклятие надо мной! — воскликнул он. Это был конец — все были схвачены.

Их вывели из дома и попарно усадили на коней. Каждого коня окружили пять-шесть человек. Изгутты с саблей не отходил от Балагаза.

Из десяти пойманных к вечеру бежать удалось одному Абылгазы. Он пошептался со своим товарищем, сидевшим на коне вместе с ним, и немного отстал от остальных. Жигит Кунанбая, ехавший рядом, после бессонных, полных тревог суток дремал на ходу. Свой шокпар он засунул под колено, не придерживая его рукой.

Когда всадники въехали в извилистое ущелье, загроможденное целой стеной утесов, Абылгазы выдернул шокпар из-под колена дремавшего жигита, скинул его самого с седла и одним прыжком перескочил на его коня. Упав на землю, жигит долго не мог прийти в себя. Очнувшись, он схватил за повод заморенного коня, на котором остался второй пленный, и закричал. Но Абылгазы уже успел умчаться.

Пока передние поняли, в чем дело, пошумели и сговорились, как поступить дальше, Абылгазы был уже далеко. Сумерки сгущались. Изгутты, боясь, что в погоне за одним упустит и остальных, приказал двигаться дальше и не останавливаться. Но теперь он сам ехал позади отряда.

Подъезжая к Карашокы, он послал к Кунанбаю сообщение о поимке воров и велел спросить, не желает ли Кунанбай видеть пойманных и допросить их.

Кунанбай дал короткое распоряжение:

— Отведите их в Мусакул. Скажите Такежану и писарю, чтобы сегодня же ночью направили их в Семипалатинск. Пусть рассадят их по телегам, дадут усиленную охрану, отвезут в город и сдадут в тюрьму. Пусть делают все без колебаний и оглядок!

Такежан немедленно и в точности выполнил приказание Кунанбая и глухой ночью отправил всех жигитов в семипалатинскую тюрьму.

Таким образом, народ узнал о поимке Балагаза и его жигитов уже тогда, когда те были далеко.

И Кунанбай и новый волостной напоминали кота, держащего в когтях мышь, который свирепо урчит, ощетинивается и сверкает глазами. О событии они говорили с негодованием, прикидываясь безвинно обиженными. Уже на третий день оба твердили не переставая:

— Так поступают только злейшие враги! Они уничтожили казенные бумаги, чтобы подвести под суд Такежана!

— Они хотят погубить Такежана! Это же чудовищное дело!

Но весь шум и гром этой бури поддерживался ими искусственно. Они собирали тучи и грохотали совсем с другой целью.

И раньше бывало много распрей и споров, но никогда еще дело не доходило до отправки противника в тюрьму, до высылки на каторгу в неведомые края. Все окружавшие Кунанбая понимали, что, когда народ опомнится и обсудит все случившееся, тяжелей всего будет принята весть об отсылке жигитов в тюрьму. Этим шумом волостное правление оправдывало неслыханное в степи наказание.

Когда Кунанбай сам стоял у власти, он никогда не прибегал к подобной мере, но в отношении Балагаза и его друзей он пошел на риск: их поведение было слишком вызывающим и ставило под угрозу общую веру в безграничность его собственной силы и власти. Он понял это и решился на крайнюю меру.

В деле Балагаза Кунанбай видел не простое конокрадство, — недавние слова Базаралы и действия Балагаза имели одни корни. И это подтверждалось тем, что Балагаз свои набеги устраивал не на кого придется, а по выбору — и преимущественно на род Иргизбай. И раз его люди не трогали бедняков — сочувствие к ним народа возрастало с каждым днем.

Что же получится, если весь народ, голодный и бедствующий, пойдет за ними? Кунанбая охватывала дрожь при одной мысли об этом. Эта опасность сама вела к необходимости беспощадных, быстрых и решительных действий. Кунанбай рассчитывал запугать народ, жестоко наказав бунтарей в назидание другим.

Но как он ни прятал свои замыслы, кое-кто уже начал догадываться о них.

Суровости Кунанбая народ не оправдывал и считал тюрьму и ссылку неслыханной жестокостью. Даже Байсал и Суюндик колебались: как пострадавшие от грабителей, они внутренне соглашались с такой крутой мерой, но оправдывать действия волостного у них тоже не хватало духу. Они затаились в своих аулах.

Кунанбай чутко прислушивался к тому, что происходило в Жигитеке, а особенно в ауле Байдалы.

Жигитеки негодовали. Услышав об отправке пойманных в тюрьму, Байдалы тоже возмутился. Он жалел их, осуждал принятые волостью меры и открыто заявил:

— Никогда не будет того, чтобы Кунанбай постыдился или посчитался с народом! Накажи он их своею рукою пли с помощью родичей — кто посмел бы заступиться за них? А как теперь он ответит народу? Он, точно волк, сам растерзал своего детеныша! Вся молодежь Жигитека будет видеть в нем палача!

Он ничего не боялся: пусть Кунанбай слышит его слова. Он повторял их многократно.

И Кунанбай услышал. Эту глотку следовало заткнуть. Приходилось думать о мерах, еще более беспощадных, чем прежде.

— Жигитеки сочувствуют воровству и покровительствуют ворам! Значит, должны быть в ответе и они! — передал он Такежану.

Такежан и Майбасар тотчас увеличили список виновных с девяти до тридцати человек. В число обвиняемых попали Караша, Каумен, Уркимбай, а также все те, кому прошлый раз был возвращен скот.

Но этого мало: туда же вписали и Базаралы. Составляя список, Майбасар обратился к Такежану:

— А тебе понятно, как была ограблена почта? Вспомни-ка!.. Когда готовил бумаги, Базаралы был здесь и все разузнал. Он тогда же полетел в свой аул и подговорил Адильхана. Я как сейчас слышу его слова, которые он бросил нам тогда при всех… Он — зачинщик всего! Прикидывается безобидным, а в душе коварнее всех!

Такежан тоже припомнил прежние обиды. Базаралы вечно перечит, клевещет, поносит. Он надменен и самонадеян. Если Балагаза вышлют, Базаралы завтра же станет его защитником и начнет мутить народ. И Такежан охотно поддержал Майбасара.

— Я согласен с вами, — сказал он. — Надо нажимать именно на него.

И Базаралы был включен в список.

До Байдалы дошли слухи о том, что Такежан собирается обвинить и жигитеков. Он тотчас вызвал к себе Базаралы. Они долго говорили с глазу на глаз, и Байдалы высказал мысль, которая уже давно мучила его:

— Вечно мне приходится каяться в своей беспечности. Сколько раз мне приходилось гореть в пламени, раздутом Кунанбаем, — и каждый раз он снова застигал меня врасплох… Сейчас повторяется то же несчастье. Разве не мы подпевали ему все лето, называя жигитов Балагаза ворами и преследуя их вместе с ним? Но сейчас я все обдумал, все взвесил: они не воровали, а совершали смелый подвиг… Они мстили за унижения… Встретил ли ты хоть одного голодающего, который проклинал бы их? Я не могу называть ворами близких мне мужественных людей. Поступок Кунанбая раскрыл мне глаза… Он замахнулся и на Каумена и даже на Уркимбая! Кто же останется? Думаешь, он пощадит кого-нибудь?.. Опять нам выходить на путь вражды? Он повторит зверства Такежана и Майбасара. Что он скажет?.. Это — салем рода Жигитек! Садись на коня и сейчас же съезди к нему. Говорить ты умеешь. И огня в тебе достаточно. Если он скажет, что от своего не отступит, — не щади его, выскажи все!

Базаралы и сам разделял мнение Байдалы и поехал, чтобы передать его Кунанбаю. Но сперва он направился не в Карашокы, а в Мусакул, так как ни ему, ни Байдалы имена, внесенные в список, достоверно известны не были: о Каумене и Уркимбае они знали только по слухам.

Дорогой Базаралы, подумав, решил заехать сперва в Жидебай.

Абай был дома. Он только недавно узнал о неистовствах Такежана и Майбасара и был возмущен.

— Они, точно одержимые, беса вызывают! Весь народ всполошили! — говорил он.

Абай только что послал в Мусакул Ербола, чтобы узнать, кто числится в списке.

Базаралы разговаривал с Абаем, когда Ербол вернулся мрачный а расстроенный. Абаи спросил о списке. Ербол замялся и замолчал, — его, видимо, стеснял Базаралы. Но Абай настаивал:

— Рассказывай все, что знаешь. Скрывать нечего… Тогда Ербол заговорил откровенно.

— Ох, уж эти Такежан и Майбасар. Они весь народ погубят! И не успокоятся, пока всех не сожрут! — возмущался он.

Он перечислил тех, кто был в списке: там оказались старики и жигиты, не имевшие никакого отношения к воровству. Больше всего поразило Абая то, что среди обвиняемых — Базаралы.

Абай весь побелел от волнения.

— Как?.. Что за вздор несут эти безумные слепцы!

О себе Базаралы услышал впервые. Он не выказал ни растерянности, ни страха. Он оставался спокойным, даже рассмеялся. Только бледное лицо его потемнело от гнева. Абай и Ербол с удивлением смотрели на него.

— Сегодня я слышал, как каялся Байдалы, — начал он, — а сейчас пришел мой черед. Выходит, и вправду я конь, отбившийся от табуна: я даже от брата отрекся, чтобы не посчитали и меня вором! Да и они не воры, не злодеи, Абай! Вы слышали обо всех их делах, — разве те, кого называют ворами, поступают так, скажите? — И он вопросительно посмотрел на Абая и Ербола.

— Они не воры! Ты прав!.. Они не грабители! — в один голос ответили оба.

— А если так, то о чем же я-то думал? Почему я не был с ними, не делил их горькую участь?

И Базаралы замолчал.

У Ербола тоже нашлось о чем пожалеть. После сегодняшней встречи с Такежаном он всю обратную дорогу думал об этом.

— Эх, Абай, ну почему ты не согласился быть волостным, когда отец тебя так уговаривал? Ты бы заступился за народ, не допустил бы такого ужаса… Что мы теперь переживаем, что с нами стало, а ты сидишь дома и от стыда глаз поднять не смеешь! Это — все, что ты делаешь для народа! Не могу я молчать, не могу терпеть! — вырвалось у него.

— Он прав, — поддержал Базаралы одобрительно, — хоть бы ты вступился за нашу правду!

Абай молчал. Он раскаивался не в том, что отказался принять волость, а в том, что в своем стремлении отделаться от настойчивых уговоров отца не возражал против избрания Такежана.

Такежан — родной его брат, ближайший родич, но для Абая он как чужой. Братья не раз сталкивались и раньше. Пропасть между ними становилась все шире, и теперь было уже ясно, что им предстоит вступить в открытый бой. Может быть, он уже начался. Если Абай искренне жалеет и сочувствует Базаралы и другим, он должен немедленно вмешаться в дело.

Обдумывая это, Абай некоторое время молчал.

— Базеке, — сказал он наконец, — посмею ли я называться человеком, если не заступлюсь за вас? Сила Такежана не в степи, а в городе. Тогда пусть город и решает наше будущее! Завтра я еду в Семипалатинск. И пока дело не кончится, буду вашим ходатаем.

Базаралы с искренней признательностью взглянул на Абая и поднялся обрадованный, точно получил все, о чем мог мечтать. Он заторопился ехать, отказался даже от предложенного угощения, сел на коня и направился в Карашокы.

В аул Кунанбая он приехал поздно вечером. В доме Нурганым посторонних не было, но Кунанбай, узнав, что приехал Базаралы, не разрешил жигиту заходить к нему.

— Проводите его в комнату для гостей и подайте туда угощение, — распорядился он.

Базаралы долго сидел один. Прислужница подала ему чай. Выпив его, он вошел к Кунанбаю, не спрашиваясь.

Кунанбай полулежал, облокотившись на груду подушек. Нурганым рассказывала сказку, растирая ему ноги.

Он холодно принял салем Базаралы, но тому было не до настроений Кунанбая, — он сел и сразу приступил к делу. Жигит начал твердо и уверенно. С открытым лицом, с открытой мыслью он заговорил резко, и каждое его слово будто оттачивалось с двух сторон, как обоюдоострый меч, негодованием и сознанием своей правоты. Нурганым, не сводя с него глаз, то бледнела, то вспыхивала.

Базаралы начал с поступка Такежана.

— Он готовит гибель и старикам и детям… Уж не считает ли он, что Кунанбай одряхлел и оглох ко всему? Что он, как старый орел, не может больше взлететь? Как Такежан и Майбасар осмелились при жизни такого отца на решение, какого не знавала степь?..

Кунанбай был немногословен.

— Ты был у Такежана, говорил с ним? — спросил он. Базаралы ответил, что у Такежана он не был, но узнал обо всем достоверно и сразу приехал сюда. Он перечислил людей, включенных Такежаном в список. Потом передал поручение Байдалы: «Такежан, точно волк, хочет растерзать своего же детеныша», — и пояснил от себя:

— Тот, кто пойдет в ссылку, в тюрьму, идет на верную гибель. Такежан может быть вполне уверен, что избавится от этих родичей. Так пускай он даст им на дорогу и саван, а здесь пусть выкопает могилу голодным детям, оставшимся на произвол судьбы! Неужели он не понимает, что такое зверство не пройдет ему даром?

Кунанбай почувствовал, куда метит собеседник. Эти слова ему не понравились.

— Если ты пришел, чтобы показать свою силу, то ее показывают не на словах. Ты возмущен Такежаном, — ступай к нему и меряйся силой с ним, — ответил он.

Говорить больше было не о чем, и Базаралы закончил прямым вызовом:

— Что же, пусть Такежан никого не щадит. Решиться на зло или сделать его — одно и то же. Но беспощадная ненависть и беспощадная месть — и это одно и то же. Отсюда и начнется вражда, которая пойдет из поколения в поколение, но виновны в ней будут не жигитеки. Тот, на кого падет проклятье, уже виден всем… — вот о чем ему оставалось досказать, и не только от своего имени, но и от всех жигитеков.

Кунанбай выслушал его.

— Хорошо! Это ты и сделал! Но — довольно. Пора остановиться.

Базаралы вышел. Кунанбай не стал дослушивать сказку Нурганым и подобрал ноги, которые она гладила. Он закрыл свой единственный глаз и нахмурил брови. Молодой жене весь вид его напоминал суровую, ледяную зиму. Печать старости отчетливо проступила на неподвижном его лице. Чужой и далекий, он сидел задумавшись.

Итак, он позволил Базаралы такую независимость, которой не стерпел бы ни в ком… Базаралы только что нанес ему настоящий удар — и сам вышел невредимым. Отвечать было нечего… Если подумать, Такежан и впрямь переходит всякие границы… Одно дело — прижимать кого-либо из жигитеков, другое — замахиваться на Базаралы… Неужели он не мог этого сообразить? Правда, и сам Кунанбай разделял ненависть Такежана к жигитекам, но на таких людей, как Базаралы, он не указывал. Сейчас ему даже хотелось пощадить Базаралы, но он быстро спохватился и отбросил минутное колебание. Базаралы пришел от рода Жигитек, принес злобу и месть всего рода — этого достаточно…

Поужинав в одиночестве в комнате для гостей, Базаралы лег спать. Гнев, накопившийся в нем в течение последних двух-трёх дней, как будто весь вылился в последних его словах, сказанных Кунанбаю. И если недавно его мучила бессонница, то сегодня он заснул, едва успел положить голову на подушку.

Ночью он внезапно проснулся в полной темноте, с тревогой почуяв чье-то прикосновение.

— Кто это? — спросил он.

— Не бойся, это я! — ответил тихий голос. Он узнал Нурганым.

— Что тебе здесь надо, сумасшедшая? — шепнул Базаралы, подняв голову.

Нурганым не смутилась. Она ответила спокойно и твердо:

— Молчи. Мое сердце давно с тобой… Сам мирза отдал его тебе…

И с крепким поцелуем она приникла к Базаралы. Жигит не проронил больше ни звука. Жаркие объятия слили их… Нурганым хотела встать и уйти, но Базаралы не в силах был расстаться с нею.

— Душа моя, ты внесла бурю в мое сердце. Зачем же ты уходишь? — и он снова обнял ее.

Но Нурганым тихо отстранилась.

— Где бы ты ни был, да хранит тебя судьба! Я — твоя и душой и желаньем, Базеке.

Она еще раз припала к нему горячим поцелуем и быстро вышла.

Казалось, она была здесь один миг, но для Базаралы за этот миг перевернулся весь мир. И Нурганым тоже унесла с собой радость, которая не вмещалась в ее груди, — радость первой молодой любви.

Если бы Кунанбай, восхищавшийся при Нурганым внешностью и умом Базаралы и только сегодня сказавший, что такого жигита надо щадить, даже если он и враг, — если бы многоопытный, расчетливый и осторожный Кунанбаи мог знать, каково будет действие его слов!..

5

Абаай и Ербол уже давно были в городе.

Обычно сыновья Кунанбая жили у Тинибая. Но Такежан приехал в Семипалатинск раньше Абая и, как всегда, остановился у свата. Узнав об этом, Абай и Ербол сняли квартиру у знакомого бездетного купца.

В городе не принято ездить верхом. Абай с детства привык к городской жизни и быстро применился к ее условиям: сытый серый конь, на котором Ербол приехал из аула, вихрем мчал двух друзей в легких санках. День был ясный, но мороз пощипывал сердито. Снег на улицах был плотно наезжен и поскрипывал под полозьями. Они ехали к известному в Семипалатинске русскому адвокату Андрееву, которого казахи называли «Акбас Андреевич».[116]

Абай сразу же горячо принялся за дело Балагаза. В городе было полно приезжих тобыктинцев, особенно жигитеков и иргизбаев. Такежан тоже прибыл со всей своей свитой, упоенный властью и правом преследовать виновных. Он засыпал судей, уездного начальника и генерал-губернатора бумагами, — надо было доказать вину тридцати жигитеков, внесенных в список.

До сих пор от жигитеков хлопотал по делу сын Божея, но ни сам он, ни его советчики не знали канцелярских порядков и тонкостей бумажной борьбы. Они жили в городе уже давно и ничего не могли добиться. Абай повернул все дело на правильный путь.

Он подал жалобы от семей Балагаза, Адильхана и других, сидевших в тюрьме. Во все места, куда шли бумаги волостного, стали поступать и жалобы жигитеков.

Сам Такежан плохо разбирался во всех ходах — Абай знал это, — но у Такежана был Тинибай, через которого открывались все двери. Тогда Абай послал человека с салемом к самому Тинибаю.

— Пусть Такежан — сын Кунанбая, но ведь к я из того же гнезда, — передавал он. — На этот раз наш управитель впутался в дела, которые позорят и его самого и его отца. Тинибай всегда был добрым другом. Пусть он не поддерживает на этот раз Такежана, который отстаивает сейчас ложную честь. Если Тинибай действительно желает Такежану добра, пусть лучше отговорит его от неблаговидных поступков.

Абаю удалось ослабить противную сторону: Тинибай сам пришел к нему и после долгой беседы с ним заметно охладел к Такежану.

Теперь Абай делал другой крупный шаг: он ехал просить известнейшего адвоката области принять на себя защиту Балагаза и его жигитов, собирать жалобы, поправлять их и пересылать по назначению.

Сани остановились у одноэтажного дома на самом берегу Иртыша, и Абай с Ерболом вошли во двор.

С седоголовым адвокатом они встречались сегодня первый раз. Лицо «Акбаса Андреевича» было не старое, но голова вся побелела и в бороде тоже пробивалась седина. Он был высокого роста, плотный, представительный, с крупным красивым лицом. Зоркие серые глаза смотрели сквозь стекла очков серьезно и проницательно **и**  придавали всему лицу вдумчивое, сосредоточенное выражение.

В комнате адвоката Абая поджидал черноусый курносый переводчик. Единственным качеством этого легкомысленного невежды было уменье болтать по-русски, почему он и состоял переводчиком при областном суде.

Первое, что бросилось в глаза Абаю, когда он поздоровался с адвокатом, были полки с книгами. Строгие ряды переплетов закрывали все четыре стены большой комнаты. В продолжение долгого разговора Абай не мог оторвать от них взгляда. Первый раз **в жиз** ни он видел, чтобы в одном доме, у одного человека могло быть столько книг.

Абай положил на стол свою жалобу. В ней оба они — и Абай и Ербол — оправдывали жигитеков, в особенности Базаралы, Каумена, Уркимбая и их близких.

Переводчик передал седому адвокату содержание жалобы. Тот спросил, от кого она. Услышав фамилию — Кунанбаев, Андреев быстро вскинул удивленный взгляд и стал перебирать бумаги, ворохом лежавшие перед ним на столе. Убедившись, что приехавший к нему жигит был однофамильцем с волостным управителем, он спросил об этом переводчика и поразился, узнав, что Абай и управитель — родные братья.

— Твой брат представляет на них обвинительные материалы **и**  требует кары, а ты приходишь за оправданием? В чем тут дело? — спросил он.

Переводчик передал Абаю слова адвоката.

— Да, мы с волостным родные братья. И именно поэтому я, как близкий родственник, лучше других вижу и знаю темную сторону всего дела. Я не могу молчать, видя несправедливость и насилие. Я не управитель и не ходатай за вознаграждение. С ответчиком Кауменом в родстве не состою, и мой товарищ, Ербол, тоже. Мы приехали как посторонние, беспристрастные свидетели. Так **и**  жалобу нашу подаем. Если начальство и суд хотят узнать правду, пусть расспросят таких, как мы. Мы просим, чтобы вы изложили все это в нашей бумаге, — ответил Абай.

Адвокат с интересом посмотрел на Абая: молодой выходец **из**  дикого племени, кочевник, говорил о долге, о человечности — и говорил так веско, убедительно.

Андреев был человеком широкообразованным и имел огромный опыт, но к казахам он приехал недавно и народа не знал. В молодости он жил в Петербурге и был связан с людьми, боровшимися против насилий царской власти, вследствие этого ему пришлось покинуть Петербург и скрываться от слежки. В провинции он смог вернуться к адвокатской деятельности и зажил спокойно. Долгое время Андреев провел на Волге и на Урале, а в последние годы переселился в Сибирь. Высокообразованный, горячий сторонник просвещения, он начал теперь собирать материал о жизни и обычаях киргизов.[117] Его влияние в городе было очень велико, с ним считались, хоть он и не был значительным официальным лицом.

Отвечая на вопросы Андреева, Абай то и дело бросал взгляд на полки с книгами. Он не мог удержаться от восхищенного замечания:

— Да, вот оно, самое большое сокровище в мире. И в каком храсивом наряде здесь эти богатые мысли!

Переводчик передал его слова адвокату.

Абай заметил на ближайшей полке несколько любовно переплетенных книг.

— Это книги законов? Что в них написано? — с любопытством спросил он.

Это были сочинения Пушкина. Седоголовый хозяин начал объяснять:

— Нет, не законы. Эти книги написаны поэтом… — И вдруг безнадежно махнул рукой: — Ты не поймешь! Это трудно объяснить!

Ему казалось, что у киргизов нет поэтов, а потому не может быть и слов для такого понятия.

Но Абай продолжал допытываться через переводчика. Тот начал переводить фразу, но, дойдя до слова «поэт», не стал утруждать свою голову, подыскивая подходящее казахское слово, и сказал:

— Акын… Книги акына…

Абая такой ответ удовлетворить не мог:

— Как вы сказали? Какого акына? — переспросил он, не поняв объяснения.

Переводчик пытался остановить его праздные расспросы.

— Ты не знаешь и не поймешь, — сказал он. Абая это задело, и он иронически заметил:

— Странно… Он — человек, и он думает. Я тоже человек, и тоже думаю. А понять друг друга никак не можем. Мысли наши путаются в наших же словах, как заблудившийся в дебрях, И выходит, что мы стоим друг против друга не как два человека, а как два животных. И он пугается меня, как крестьянский конь степного верблюда…

Ербол расхохотался. Андреев спросил переводчика, чем вызван этот смех. Абай посмотрел на переводчика с угрозой.

— Передай ему слово в слово, — сказал он.

Адвокат выслушал и рассмеялся.

— Верно! Он прав! Лошадь шарахается от верблюда, блюд сторонится лошади… Мы и в самом деле похожи на них! — И он опять

рассмеялся. — Однако не только мы с тобой такие. Вот стоит свод законов, а там, — он махнул рукой к окну, — киргизская степь с ее обычным правом. И они так же смотрят друг на друга, ничего не понимая… Ты хорошо сказал!

С этого начались их частые зстречи.

Между тем тревога в аулах снова усилилась. Несколько человек, включенных Такежаном в список, были уже арестованы и посажены в тюрьму. Ходили слухи, что Базаралы и Караша скрываются.

События зашли так далеко, что Байдалы тоже счел нужным приехать в город. Он обошел все канцелярии и наконец пришел к Абаю.

— Абай, свет мой, — признался он, — на улицах города даже наши кони пугаются. Тесно нам здесь. В дом зайдешь— ноги скользят. С начальством заговоришь — мычишь, как глухонемой, только руками машешь… Ничего не получается! Видно, для степняков город — как бездорожье. Вот мы и дрожим, точно старый верблюд на гладком льду!

Все невольно рассмеялись. Байдалы выражался забавно, но глубокая горечь звучала в его словах. С этого дня Абай сам всюду сопровождал ходатаев.

Он сблизился с «Акбасом Андреевичем» и вместе с ним обдумывал дальнейшие действия.

Правда, Такежан продолжал хватать людей, но с того дня, как вмешался Андреев, дело явно повернулось в пользу жигитеков. Абай дал в руки защитника новый материал, который круто повернул весь ход дела.

Беседуя с адвокатом, Абай доказывал ему, что нападения жигитов Балагаза нельзя назвать ни воровством, ни грабежом. Он привел множество примеров безвыходного положения голодающих. Народ остался без земли, перенес джут и, наконец, лишился скота… Абай объяснил своему собеседнику, почему джут всей тяжестью лег на плечинарода и миновал небольшую кучку счастливцев. Он рассказал и о том, что эти жигиты брали скот только у богачей и делились добычей с голодающим народом. Узнав все эти подробности, Андреев задумался. Ему вспомнились имена Робин-Гуда, Карла Моора, Дубровского. До поздней ночи он не отпускал Абая, продолжая расспрашивать его.

После этого судьба Абылгазы и его товарищей, сидевших в тюрьме, резко изменилась. Адвокат умело поддержал просьбы жен и детей, хлопотавших за своих мужей и отцов, и через несколько дней Каумен, Уркимбай, Базаралы и другие были освобождены. В Жигитек полетели! нарочные с радостными вестями.

Такежан немедленно послал Абаю гневный салеми «Пусть уймется, почему он мне вредит?»

— Мы можем считаться братьями перед отцом и матерью, — ответил Абай. — Но перед лицом смерти, перед бедствием, которое терпит по его милости народ, — мы чужие… Пусть не требует от меня объяснений…

Такежан срочно отправил нарочного к Кунанбаю, передал ему слова Абая и сообщил о его действиях. Отец послал Абаю салем: «Пусть немедленно возвращается! Не сам ли он отказался быть управителем? Так пусть же теперь не мешает Такежану и не подставляет ему ногу!»

Но его салем пришел тогда, когда Абай уже все закончил. Остановить дело было невозможно.

Однако областное начальство поддавалось не всем доводам адвоката. Оно освободило только тех, кто ни в чем не был замешан, а судьба Балагаза и Адильхана оставалась по-прежнему в цепких руках. Чем чаще власти слышали, что причиной преступлений были голод и нужда тем они становились строже. Крестьянские восстания, происходившие в России, грозным примером стояли перед губернатором, и он был готов принять самые строгие меры против зачинщиков «бунта».

Но на решительный шаг власти не пошли, потому что события происходили в отдаленных степях, которые им были незнакомы. Кроме того их останавливало огромное количество ходатаев. Приходилось соблюдать осторожность, чтобы не вызвать новых волнений в степи. Все же десять человек из тридцати попали под суд.

Сначала прошел слух о страшном наказании: Балагаз, Адильхан и их жигиты будут отправлены на пожизненную каторгу. Адвокат и Абай, использовав все средства, сумели облегчить дело: жигиты были приговорены не к каторге, а к высылке под Иркутск.

Родичи, жившие в городе, со слезами прощались с осужденными, но надежды на их возвращение не теряли.

— Подождите, еще вернетесь на родину, в свои аулы! — утешали они ссылаемых, стараясь поддержать в них веру в будущее.

Абаю пора было возвращаться домой. Он пришел проститься с Андреевым.

— Вы болеете душой за свой народ, хоть и молоды годами, — сказал ему адвокат. — Это — великое достоинство. Но если по-настоящему думаете о судьбе народа и о себе, вы должны стремиться к свету. Учитесь.

Он словно угадал самые затаенные мечты Абая.

— Я мечтаю об учении. Но только — где? В школу не поступишь — я уже перерос… Скажите мне, можно ли учиться иначе, без школы?

Адвокат успокоил Абая, сказав, что возраст не помеха ученью: есть люди, которые принялись за свое образование к сорокам годам, начали с самоучек — и стали крупными учеными; он называл их имена и объяснял, как можно учиться, не поступая в школу. Андреев дал ему слово, что найдет для него учителя. Абай должен твердо решиться засесть за книги и работать: если он готов на это, двери науки распахнуты перед ним.

Радость Абая не имела границ. Ему казалось, что узел, крепко стягивающий его жизнь, начал распутываться. Он поехал в аул, чтобы получить благословение семьи, собрать средства и как можно скорее уехать. Молодой задор охватил его.

В Жидебае он задержался ненадолго. Дильда и мать согласились легко, а других он не стал спрашивать. В Семипалатинск он отправил Мирзахана с лошадью, которую должны были там заколоть. Теперь вставал вопрос о деньгах. Для этого он выслал в город шкуры и несколько голов крупного скота, после чего собрался и сам.

Минувшим летом Дильда родила третьего ребенка. Крошечный Абдрахман уже умел смеяться. Это был первый ребенок, который пробудил в Абае отцовское чувство. Все дети Дильды были похожи не на Абая, а на мать: у них у всех были не смуглые, а светлые личики. Этот тоже был беленький, но тонкие черты продолговатого личика, чудесные большие глаза и ясно очерченные бровки все это было какое-то иное, свое, дорогое Абаю.

Абай простился с Дильдой наедине. Он не стал много говорить. В обоих жило искреннее чувство друг к другу. Дильда, сдержанная, скупая на слова, пожелала мужу только одного:

— Дома у тебя остается старая мать и маленькие дети. Не забывай о них, а для себя я ничего не требую. Незаставляй долго ждать, приезжай, когда будет можно! — И она улыбнулась.

Ни вздохами, ни слезами Дильда не выразила своего волнения. Она всегда была сдержанной, но, если у нее было что-нибудь на душе, она сразу высказывала это откровенно, без уловок и прикрас. Абай с участием взглянул на жену и погладил ее по плечу.

— Я еду не веселиться, а добывать человеческое достоинство, запомни это…

Он одел маленького Абдрахмана, взял его на руки и пошел к матери.

Улжан заметно постарела за эти годы. Она не сводя глаз смотрела на сына. Взяв из его рук ребенка, старая мать на минуту прижалась лицом к его головке и передала его Дильде. С легким вздохом она притянула к себе Абая и поцеловала его. На ее побледневшем лице отражалось все волнение материнского сердца.

— Свет мой, покойная бабушка называла тебя «мой единственный»… Для нее все остальные были одно, а ты — другое. Помнишь, как во время твоей болезни она молила о тебе бога: «Огради, боже, душу света моего от жестокости и беспощадности…» Она и ушла от нас с этими словами…

Улжан замолчала.

Абай помнил слова Зере: мать немного изменила их.

— Пришло твое время, — снова заговорила Улжан задумчиво, — легло перед тобой поле твоей битвы. Будь на нем батыром. Каким путем добьешься победы — теперь ты сам видишь лучше нас. Нам ли быть путами на твоих ногах? Дай бог тебе счастья!..

Абай, как и в детстве, обнял мать и без слов простился с нею. Весь аул высыпал на проводы. Абай уже сидел на коне, мать снова окликнула его.

— Абайжан, ты бы заехал по пути в аул Тойгулы! Отец со своими отправился туда на сватовство. Он просил, чтобы мы тоже всем аулом поехали за ним. Мне это трудно. Но если и тебя не будет, отец обидится. Погости там немного и поедешь дальше! — попросила она.

Абай обещал заехать, простился и тронулся в путь.

Аул Тойгулы, о котором говорила Улжан, был не по пути Абаю; он стоял в стороне, на склоне горы Орда, немного ближе к Семипалатинску, чем Жидебай.

Тойгулы — крупный бай племени Мамай. Этой зимой Кунанбай решил с ним породниться. Зима стояла хорошая, скот был упитан, поэтому Тойгулы заранее условился со сватами о времени их приезда. Теперь Кунанбай с целой толпой сородичей поехал справить сговор и погостить у свата.

Абай и Ербол приехали туда же. Кунанбая сопровождали Каратай, Жумабай, Жакип и другие старики. Все тридома Тойгулы были полны гостей, повсюду царило веселье, шум и смех. Абай с Ерболом вошли в дом и стали молча прислушиваться к общей беседе. Каратай, как всегда, говорил больше всех.

Потолковав о разных вещах, старшие начали сравнивать прежнее время с теперешним. Каратай рассказал о своей молодости, вспомнил, как жили отцы и деды, и заговорил о настоящем: люди мельчают и, как скот во время джута, стали тощими в достоинствах…

Абай усмехнулся и начал возражать:

— Прежнее время, вероятно, хорошо тем, что соседние роды непрерывно устраивали набеги и грабили друг друга? Старики, дети, женщины не могли ни спать, ни есть спокойно. Между Сыбаном и Тобыкты, между Тобыкты и Семипалатинском одинокому путнику опасно было ездить. Только и знай, что оглядывайся: как бы не ограбили, не отняли имущества, не убили!.. Хорошие времена, что и говорить!..

Но старики и слушать не хотели. Прошлое казалось им прекрасным: они восхваляли прежнюю широкую жизнь и богатство.

— И народ тогда был крупный и видный, — говорили они.

Кунанбай поддержал их и наконец привел убедительное объяснение:

— Каждое новое поколение все ближе подходит к концу мира. И человечество выдыхается, чахнет. Наше время было ближе к дням пророка, чем теперешнее. А ближе к пророку — и люди были лучше!

Абай сейчас же отозвался. Он почувствовал необыкновенный подъем, как акын перед состязанием. Все силы, накопленные им, жаждали открытой борьбы.

— Добро и благо не измеряются временем и пространством, — возразил он. — Вершина Алатау близка к солнцу, но на ней лежит вечный лед, а подножия ее пестреют цветами, покрыты зеленью, изобилуют плодами. Все живое благословляет их… Абуталиб, отец пророка, был еще ближе к нему, чем вы, — а ведь он так и умер гяуром.[118]

Гости, сидевшие кругом, рассмеялись, а старики, почувствовав всю меткость удара, молча взглянули на Кунанбая. Тот гневно крикнул Абаю:

— Довольно!

Абай с удивлением развел руками и замолчал. Смех мгновенно оборвался, в комнате воцарилось молчание.

Каратай в душе любовался Абаем. Он подтолкнул Жакипа, сидевшего рядом, и тихо шепнул ему:

— Гляди-ка, он шагу ступить не дает… Берет мертвой хваткой!

Вскоре подали угощение. Абай и Ербол стали одеваться в дорогу. Кунанбай вышел за ними.

Он окликнул Абая, отошел с ним в сторону на каменистый холмик. Отец с сыном остались одни впервые после долгого перерыва.

Отец холодно посмотрел на сына.

— Ты учился, приобрел знания, тебя воспитывал наставник. Мы росли невеждами. Но почему же знания не внушают тебе уважения к отцу при посторонних? Какие достоинства ты выказываешь, заставляя отца спотыкаться при людях, даже сбивая его с ног? — с упреком спросил он.

Значит, отец признавал себя побежденным…

Абай посмотрел на него: властное, окаменелое, его лицо теперь словно сморщилось и уменьшилось. Кунанбай весь сгорбился и высох, да и в упреках его звучало что-то детское, почти беспомощное. Но почтение к старшим — долг молодых; почтение к отцу — долг сына.

— Вы говорите справедливо, — ответил он. — Я виноват, простите меня!

Он думал, что разговор на этом и кончится. Но отец хотел сказать еще что-то. Немного помолчав, он заговорил снова:

— Я давно собирался поговорить с тобою при случае. Я замечаю в тебе три недостатка. Выслушай меня.

— Говорите, отец, — ответил Абай и внимательно посмотрел в лицо Кунанбаю.

— Первое — ты не умеешь различать, что дорого, а что настоящая мелочь. Не ценишь того, что имеешь. Расточаешь свои сокровища безрассудно. Ты слишком доступен и прост, как озеро с пологими берегами. А такую воду и собаки лакают и скот ногами мутит… Второе — тыне умеешь разбираться в друзьях и врагах и относиться к врагам как враг, а к друзьям как друг. Ты ничего не таишь в себе. Человек, ведущий засобою народ, не может быть таким. Он не сумеет держать народ в руках. Третье — ты начинаешь льнуть к русским. Твоя душа уходит к ним, и ты не считаешься с тем, что каждый мусульманин станет чуждаться тебя, — сказал Кунанбай.

Абай сразу понял, куда отец направлял удар, — этими словами он разил самую заветную мечту сына. Избрав свой собственный путь, Абай видел свою опору как раз в том, что сейчас осуждал отец.

Кунанбай правильно определил качества своего сына. Абай никому не хотел подчинять своей воли — никому и ничему в мире. Им овладело волнение, как давеча в доме. Он не мог молчать — даже из жалости к отцу — и заговорил:

— Я не могу принять ни одного из ваших упреков, отец. Я убежден в своей правоте. Вы говорите, я — озеро с пологими берегами. Разве лучше быть водой на дне глубокого колодца, которую достанет лишь тот, у кого есть веревка, ведро и сильные руки? Я предпочитаю быть доступным и старикам и детям, всем, у кого слабые руки. Во-вторых, вы указали, чем можно держать народ и каким должен быть человек, который его ведет. По-моему, народ некогда был стадом овец: крикнет чабан «айт!»—все вскочат, крикнет — «шайт!»—все лягут. Потом народ стал походить на табун верблюдов: кинут перед ним камень, крикнут «шок!» — ион оглянется, подумает и только тогда повернет. А теперь у народа нет его прежнего смирения, он смело открывает глаза. И сейчас он подобен косяку коней: он послушает того, кто разделит с ним все невзгоды — и мороз и буран, кто для него забудет дом, кто согласится иметь подушкой лед, постелью — снег… В-третьих, вы сказали о русских. Самое дорогое и для народа и для меня — знание и свет… А они — у русских. И если русские дадут мне то сокровище, которое я тщетно искал всю жизнь, разве могут они быть для меня далекими, чужими? Откажись я от этого— я остался бы невеждой. — чести в этом для себя не вижу…

Кунанбай внимательно выслушал сына и вздохнул. Не свойственная ему подавленность тенью легла на его лицо, но он не проронил ни звука.

Абай простился и тронулся в путь.

Кунанбай остался на холме один, задумчивый, удрученный. Он опять был побежден — и побежден не только сыном: побеждала жизнь, стремительная, сокрушающая. «Твоя сила иссякла, время твое прошло, пора уходить», — холодно и беспощадно говорила она ему голосом родного сына и оттесняла своим бурным течением.

Абай ехал той же равниной, которой он возвращался когда-то из медресе, истосковавшийся в городе по своему аулу и родным. Тогда степь зеленела, а теперь холодная снежная пелена покрывала ее просторы. Голые сопки и холмы однообразно белели кругом, все казалось полным безучастной тоски, тусклыми призраками минувшего… Когда-то при виде этой степи беспечное детское сердце наполнялось блаженной радостью и искало счастья здесь, в ее просторах, в родном ауле. Теперь он покидает их и возвращается в город. Он едет в надежде найти там все то, о чем мечтал и к чему стремился еще тогда…

Сейчас ему двадцать пятый год. Длинная вереница дней проходит перед его внутренним взором. Вот она, жизненная тропа, то уводящая в дебри, то увлекающая на перевал… Вот она взметнулась на подъем и вьется в вышине — извилистая тропа его жизни.

Да, он в вышине.

Слабый росток некогда пробивался в каменистой почве, потом вытянулся тонким стебельком — и одинокая жизнь зацвела на голом утесе. Теперь этот слабенький росток впитал в себя все соки жизни, окреп и стал стройным, сильным чинаром. Ни зима, ни морозы, ни дикие горные ураганы ему уже не страшны.